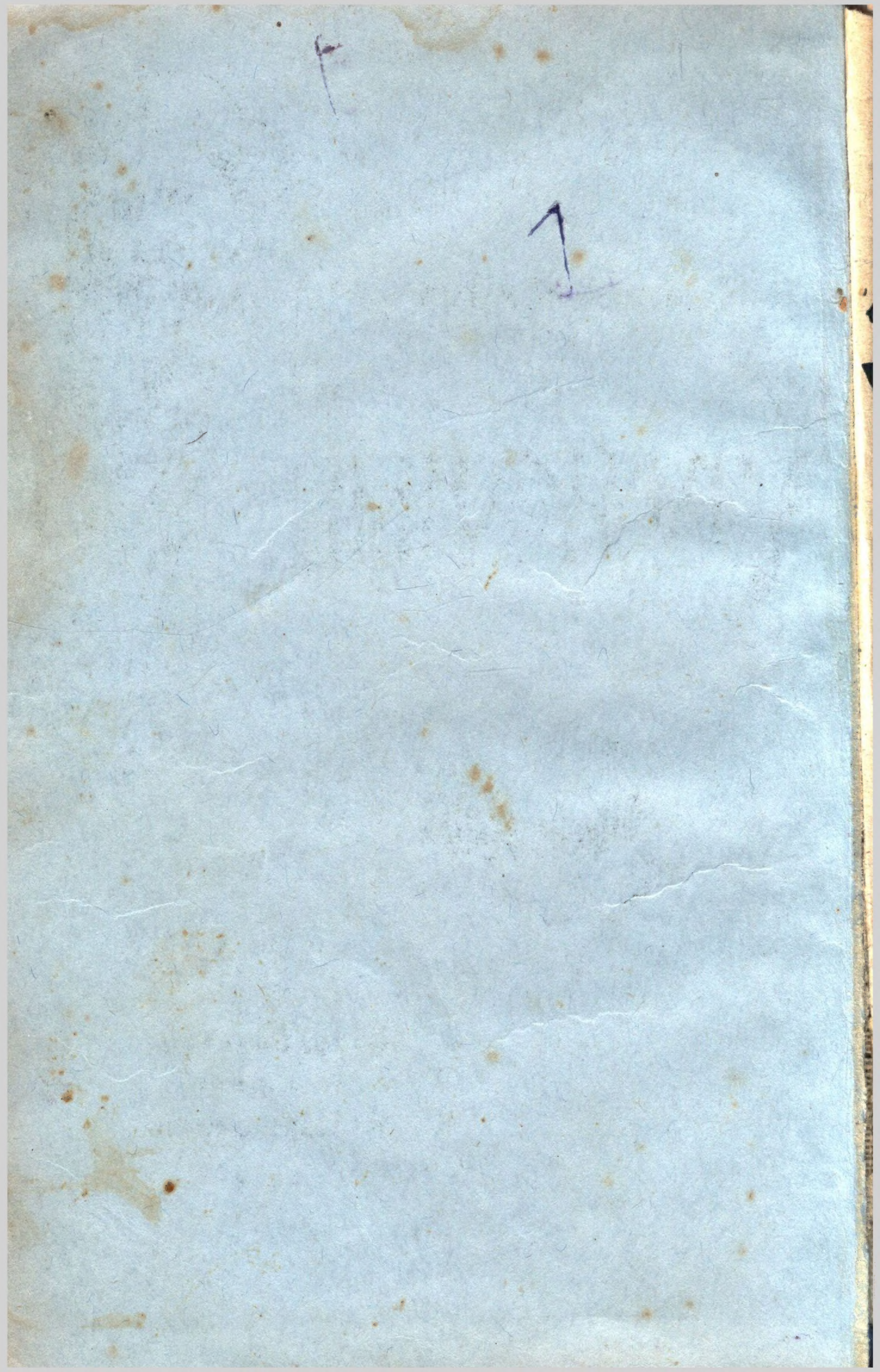
Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

ХУДОРОДНЫ



Д. Н. Мамин-Сибиряк

Худородные

Свердловское
Книжное
Издательство
1958

В этой книге собраны неопубликованные очерки Д. Н. Мамина-Сибиряка, написанные им в конце 70-х и начале 80-х годов. Очерки «Худородные» и «Семья и школа» до настоящего времени сохранялись в рукописном виде в архиве Д. Н. Мамина-Сибиряка, очерк «Сорочья Похлебка» был впервые напечатан в журнале «Урал», № 1 за 1958 год.

Все очерки посвящены одной теме, теме старой духовной школы, известной под названием бурсы. Они дополняют и расширяют наше представление об этом страшном и уродливом явлении российской действительности, которое ранее было изображено в «Очерках бурсы» Н. Г. Помяловского.

Очерки ценны так же, как отражение биографического, лично пережитого писателем. Ведь Д. Н. Мамин-Сибиряк в 1866—1868 годах учился в Екатеринбургском духовном училище, в 1868—1872 годах — в Пермской духовной семинарии.

Эти ранние по времени написания произведения уже позволяют судить о том, как формировалось гуманистическое мировоззрение замечательного писателя-демократа, как намечалось становление его художественного мастерства.

Все эти особенности делают публикацию очерков интересной и необходимой не только для литературоведов, но и для самого широкого круга советских читателей, любящих творчество «певца Урала».

Подготовка текста очерков, послесловие и комментарии кандидата филологических наук И. А. Дергачева.

СОРОЧЬЯ ПОХЛЕБКА

Изо всех зверей дикий человек есть самое страшное животное.

Бюффон.

I

Яркий солнечный свет заливал квадратный двор Пропадинского уездного духовного училища. Трехэтажное здание училища в одном углу двора, напротив него длинное здание бурсацкой столовой, инспекторский флигель в глубине двора и высокая кирпичная глухая стена, которой этот флигель соединялся с училищем, были просто накалены горячим майским солнцем, и на дворе было жарко, как в только что истопленной печи. Камни и песок, которым был усыпан весь двор, тоже пыхали жаром.

Человек тридцать бурсаков уныло бродили по солнечному припеку, как отравленные мухи. На всех лицах была написана смертная тоска, и бурса напрасно шаталась из угла в угол, изыскивая какой-нибудь новый способ убить время. А время для этой тридцатиголовой толпы самый беспощадный враг...

— Хоть бы изломать что-нибудь...— вслух думает двадцатилетний бурсак Отлукавого, которому до тошноты надоело слоняться по двору без всякого дела.

Отлукавого для своих лет порядочный верзила, но в его длинной вихлястой фигуре все устроено как-то нескладно, углом. Острые, поднятые плечи, впалая плоская грудь, длинные ноги и руки, большая угловатая голова — все свидетельствовало самым красноречивым образом о том, что Отлукавого прошел сквозь огонь и воду и медные трубы мудреной бурсацкой жизни. Длинное серое пальто болталось на Отлукавого, как на вешалке, и делало его еще некрасивее. Можно было рассмотреть, как на сутуловатых плечах выступали углы лопаток и верхние грудные позвонки. Из-под пальто выставлялась гряз-

ная холщовая рубаха, казинетовые панталоны были заправлены за сапоги. На тонкой жилистой шее с выдававшимся кадыком болтался суконный галстук солдатского покроя. Лицо Отлукавого невольно останавливало на себе внимание. Такие лица встречаются только в острогах и, по всей вероятности, на каторге. Прежде всего бросался в глаза неестественно серый с трупным оттенком цвет кожи, затем осунувшиеся щеки, темные круги под глазами, выдававшиеся скулы и точно обрубленный неправильный нос. На этом молодом помертвелом лице оставались живыми только одни голубые, очень добрые глаза, которые смотрели из-под разорванного козырька суконной фуражки усталым и озлобленным взглядом; так смотрят только слишком долго голодавшие животные. Резкой особенностью, которой Отлукавого отличался от других бурсаков, была его необыкновенная волосатость: волосы лезли отовсюду — из-под ворота рубашки, на щеках, на подбородке, на верхней губе, даже из ушей и ноздрей. Такая волосатость — опять признак многолетней голодовки и холодовки, как это, вероятно, всякому удавалось наблюдать на домашних животных.

— Право, хоть бы изломать что-нибудь,— повторил Отлукавого, стараясь выворотить выставлявшийся из стены кирпич.

Он долго работал над упрямым кирпичом, который никак не хотел выходить из стены добром. Пришлось отковыривать известку сначала ногтями, потом палкой. Наконец кирпич был добыт. Отлукавого внимательно рассмотрел его со всех сторон и с ожесточением швырнул им в проходившую около столовой собаку Нигера. Собака взвизгнула, а тяжелый кирпич рикошетом ударился в стену. Дальше уж решительно нечего было делать. Отлукавого с тоской посмотрел на училищный двор и на кучки бесцельно бродивших по нему бурсаков. Кончилось тем, что он подошел опять к этой же стене, положил на нее руки, уперся в них лбом и в такой позе стоял битых полчаса. Козлы и упрямые коровы иногда так же упираются лбом в стену.

— Эй, Отлукавого, иди-ка сюда!..— крикнул приземистый толстый бурсак, известный под именем Епископа.

— На что меня, ваше преосвященство? — отозвался Отлукавого.

— Да вот Фунтик хочет с тобой в городки играть...— отвечал Епископ; его широкая рожа при последних словах точно расплылась в одну сплошную улыбку, а вместо глаз образовались две узкие щели.

Фунтик, мальчуган лет девяти, стоял возле Епископа с опущенной головой и вовсе не походил на человека, который желает весело провести время с хорошим приятелем. Его детское с красивым овалом лицо теперь было бледнее полотна; на больших карих глазах выступили детские крупные слезы, но Фунтик собрал последние силенки, чтобы проглотить их. Только одна слезинка каплей повисла на пушистых ресницах и долго дрожала, как алмаз. Фунтик был еще новичком в бурсе, что сейчас можно было заметить и по его костюму, и по детскому личику, сохранившему остатки недавней детской полноты и здорового румянца. Вместо бурсацкой сермяжки на нем было надето чистенькое сатиновое пальто и такие же брюки.

— Так это ты хочешь со мной играть? — спрашивал Отлукавого разбитым чахоточным тенором, опускаясь на крылечко возле Епископа таким деревянным движением, как будто упала приставленная к стене лестница.

— Сам просил,— отвечал Епископ за Фунтика, добывая из кармана пять небольших камешков.— Хочет тебе щипков надавать...

Епископ хихикнул и вытер рукавом свою жирную рожу, покрытую прыщами.

Игра в городки началась сейчас же. Отлукавого раскинул по земле пять камешков, а шестой подбросил вверх. Все искусство заключалось в том, чтобы успеть, пока этот шестой камень летит кверху, схватить с земли один камешек и вместе с ним поймать брошенный. Чтобы играть всю партию, нужно было сначала перебрать все камешки по одному — это первый город, потом по два — это второй город, по три — третий, четвертый — по четыре, а последний городок — схватить все пять камешков вместе. Если таким образом партия была сыграна, камни передавались партнеру, но чаще всего она обрывалась на втором или третьем городе. Только очень опытные игроки брали по десяти городов сряду, что достигалось, конечно, только долголетней практикой. Отлукавого в течение восьмилетнего пребывания в бурсе

достаточно «наблошнился» в этой незамысловатой игре, и его костлявая широкая ладонь верным размеренным движением брала и ловила камни.

— Ого... два города смаху! — провозгласил Епископ, считая партию Отлукавого. — Дельно.

— Зачем под руку говоришь?! — крикнул Отлукавого, когда камень вылетел у него из руки. Может быть, Отлукавого мучила совесть обыгрывать Фунтика или он хотел продлить свое наслаждение ожидаемыми терзаниями маленькой жертвы, но он нарочно не поймал брошенного камня.

— Делай...— приказал Епископ, передавая камни Фунтику.

Ребенок дрожащей рукой начал игру, вытягивая губы и повторяя своим маленьким телом движения летавшего вверх и вниз камня.

— Ловко, Фунтик!— похвалил игрока только что подошедший Шлифеичка, небольшого роста бурсак с бесцветными глазами и вытянутым длинным носом; про такие носы говорят, что они смотрят в рюмку.— Ты не горячись, Фунтик,— прибавил Шлифеичка, усаживаясь около игроков на корточки.

Но Фунтик именно в этот самый момент потерял душевное равновесие, и маленькая рука сделала неверное движение.

— Мимо!..— крикнул Епископ, когда Фунтик не мог поймать городка.

Отлукавого в пять минут кончил всю партию.

— Ну, подставляй!..— скомандовал Епископ.

Теперь начиналась вторая половина игры, то есть расплата за проигранную партию. Возглас Епископа привлек внимание бродивших по двору бурсаков, и скоро около игравших собралась целая кучка любопытных. На первом плане стоял, фатально заложив руки в карманы брюк, маленького роста высохший субъект, с покрытым веснушками лицом, вздернутым носом и ястребиными серыми глазками. Это был знаменитый Патрон, самая отчаянная голова во всей бурсе. Около него виднелась неуклюжая и сутуловатая фигура первого бурсацкого силача, Дышло; из-за его плеч выглядывал своими черными выпуклыми глазами Атрахман. Смуглое, испитое лицо Атрахмана дышало ненавистью, а в широких, плотно сложенных губах чувствовалась реши-

мость. Фунтик молящим взглядом обвел эту безучастную публику и протянул вперед свою руку.

— Задавай ему горячих!— ревел Епископ, подкладывая под ладонь Фунтика пять камней.

Отлукавого бросил камень вверх и, прежде чем поймал его, успел больно ударить кулаком по руке Фунтика. Подложенные камни врезались своими острыми краями в ладонь, но ребенок стоически выдерживал испытание. Второй и третий удар заставили его закусить губу от невыносимой боли.

— Что, хорошо... а? Ведь хорошо?— захлебывавшимся от удовольствия голосом спрашивал Епископ свою жертву.

— Катай его!— поощрял Патрон.

Отлукавого незаметно воодушевился общим вниманием и с таким усердием ударил в пятый раз по руке Фунтика, что в ней хрустнули кости. Публика затаила дыхание и с наслаждением следила за выражением лица истязуемого ребенка. После ударов кулаком последовали щипки, то есть, пока камень летел вверх и возвращался назад, Отлукавого успевал захватить своими когтями кожу на руке Фунтика и больно ее щипнуть. Он делал это как-то особенно ловко, так, что рука покрылась сейчас же сине-багровыми волдырями.

— Теперь хорошо... а?— допрашивал Епископ, заглядывая в глаза маленького мученика.— Любишь щипки... а?.. Ведь ты пойдешь жаловаться Сорочьей Похлебке?.. Пойдешь ведь? Вон он смотрит из окошка...

Публика восторженно захохотала. Из окна инспекторского флигеля действительно смотрел на бурсаков сам инспектор Пропадинского училища о. Павел. Он был известен в бурсе под именем Сорочьей Похлебки. Кто дал ему такое название и по какому случаю — оставалось неизвестным, но это название как-то особенно приклеилось к о. Павлу. Теперь Сорочья Похлебка стоял у окна в белом пикейном подряснике и зорко наблюдал своими карими грозными очами собравшуюся кучку бурсаков. Большой рост и бледное выразительное лицо, оттененное волнами темных, как смоль, волос, делали заметным о. Павла в среде городского духовенства, и он пользовался особенным успехом у пожилых дам.

— Ты чего там смотришь, Поль? — спрашивала Со-

рочью Похлебку жена, молодая, тонкая, как щепка, женщина с гнилыми зубами.

— Посмотри, Фаня, как на дворе играют дети,— ответил Сорочья Похлебка; он называл бурсаков дома просто детьми, а в дамском обществе «моими детьми».

— Да, да... Как это мило! — восхищалась Фаина Петровна, выглядывая из-за локтя своего супруга.— Такой большой играет с таким маленьким... Настоящие дети!..

Пока счастливая чета любовалась детьми, Отлукавого уже доканчивал игру. Оставалось всего одно «колено», то есть драть избитую руку Фунчика ногтями. Эта операция привела в восторг всю публику, и, когда грязные когти Отлукавого оставили первые царапины на руке Фунтика и из них показалась кровь, Атрахман даже завыл от удовольствия.

— Валяй его...— шипел Епископ.

Бедный Фунтик не выдавал своих мучений ни криком, ни слезами, а только весь дрожал, как в лихорадке. Избитая, исщипанная и исцарапанная рука превратилась теперь в какую-то безобразную, сине-багровую вспухшую массу.

— Бедняжка...— плаксиво говорил Епископ, одной рукой гладя Фунтика по голове, а другой делая несколько отчаянных щипков.— Тебе больно... а?..

— Ббо-ольно...— простонал ребенок, не убирая руки, потому что последняя начинала терять всякую чувствительность.

Отлукавого тяжело дышал. Он очень устал от своей работы и злобными глазами смотрел на Фунтика. Жажда крови охватила его, и он старался придумать какое-нибудь новое мучение. Отлукавого бесило то, что Фунтик вытерпел всю операцию и не вскрикнул.

— Молодец,— похвалил Фунтика Патрон.— Эй, Епископ, оставь его... будет.

— А ты что мне за указчик?— прохрипел Епископ.

— Молчать... Всю рожу растворожу, зубы на зубы помножу.

По правилам бурсацкой чести сейчас же должна была произойти схватка между Патроном и Епископом или по крайней мере обмен несколькими оплеушинами, но как раз в этот трагический момент Атрахман крикнул на весь двор:

— Занятные часы... Марш в занятную...

II

Бурсацкая «занятная» находилась во втором этаже. Она своими пятью окнами выходила на двор.

Убожество занятной могло поразить свежего человека, но бурса давно свыклась с этими ободранными стенами, с избитым, как в конюшне, полом и с заплеванным потолком. Но всего замечательнее, конечно, были двери. Они были покрыты такими шрамами и царапинами, точно были изгрызены каким-то необыкновенно свирепым животным или только что выдержали несколько жестоких неприятельских приступов. Двери, пол, стены, потолок и несколько длинных столов и скамей, составлявших всю меблировку занятной, служили как бы живой летописью той жизни, которая происходила здесь изо дня в день, вернее сказать, летописью глухих страданий десятка поколений «духовного родопроисхождения». Дети, попадая в эту занятную, находили на стенах царапины, сделанные еще их отцами в припадке смертельной скуки и глухого ожесточения.

Весной убожество занятной делалось заметным даже для бурсы; вместе с лучами весеннего солнца врывалась сюда самая адская скука, какую, может быть, испытывают только заключенные в казематах.

Эта скука совсем дурманила буйные бурсацкие головы и повергала Сорочью Похлебку в непритворное отчаяние. Перочинные ножи сами собой резали книги и казенную мебель, кулаки сжимались для подзатыльников, иголки сами собой лезли в спины товарищей.

Когда бурса ворвалась со двора в занятную, десятки голосов, как колеса какой-то мудреной машины, загудели разом и поднялся такой содом, что человек, незнакомый с таинством совершения бурсацкой науки, мог подумать серьезным образом, уже не попал ли он в сумасшедший дом.

— Сколь легко и естественно любить и почитать родителей, столь же тяжек и непростителен грех непочтения к ним,— как-то залпом выговаривает Епископ, втягивая в себя воздух и закрывая глаза; он все время трет рука об руку, точно умывается, постепенно впадая в состояние зубрильного экстаза.

«Завтра Сорочья Похлебка непременно спросит из катехизиса»,— с унынием думает Епископ, открывая

глаза; полчаса такого «сверления» уже заставляет его голову кружиться, но Епископ переламывает накатывающуюся лень и додалбливает свою порцию науки.

Рядом с Епископом, заткнув уши пальцами и мерным движением всего корпуса, раскачиваясь из стороны в сторону, доходит свой урок из греческой грамматики Отлукавого. Глаза остановились на одной точке, выражение лица совершенно бессмысленное. Дышло сидит напротив и гудит, как залетевший в комнату шмель.

— Sat, satis, abunde, affatim [1],— повторяет он в сотый раз, начиная терять сознание.

Несколько столов, за которыми сидят маленькие бурсаки, представляют ту же печальную картину самого беспощадного зубрения. Из открывающихся ртов водопадом сыплются латинские слова, греческие спряжения, тексты священного писания; занятная до краев наполняется этим бесшабашным гулом, который образует целую атмосферу из бессмысленных звуков и обрывков фраз. Можно заметить, как эти мальчуганы напрягают все свои силы, чтобы втянуться с головой в бурсацкую науку и, наконец, прийти в то исступленное состояние, в каком по целым часам остаются Епископ, Дышло и Отлукавого. Фунтик долбит тут же свой урок из священной истории о благословении Спасителем детей и не понимает ни одного слова, механически запоминая одно слово за другим и склеивая из них целые фразы. Избитая рука Фунтика страшно ноет до самого плеча, но он боится даже посмотреть на нее. Епископ следит за ним все время и задаст жестокую взлупку, как только заметит что-нибудь.

Из всей зубрящей оравы выделяются только Патрон и Шлифеичка, которые не считают нужным готовить уроки к завтрашнему дню. Патрон уверил самого себя, что его завтра не спросят, а Шлифеичка уже вторую неделю не готовит уроков. Он этим выполняет свой план взбесить Сорочью Похлебку. Шлифеичка — один из первых учеников в бурсе и памятью обладает изумительной, но на него нападает иногда особенный стих — махнет на всю бурсацкую науку рукой и займется исключительно разными «художествами». Теперь он со своим вечно нюхающим носом забрался на шкаф с

---

[1] Довольно, достаточно... (*латинск.*)

книгами и оттуда неестественно тонким голосом неистово распевает бурсацкий сигналик гласа седьмого:

— Ле-те-е-ла пташеч-ка-а по е-ельнич-ку,
на-па-а-али на нее раз-бой-нички и убили ее!

Этот глас седьмой выходит у Шлифеички необыкновенно эффектно, с самыми дикими сольфеджио, тремоло и фиоритурами. Слезливо моргающие бесцветные глаза Шлифеички щурятся от испытываемого им удовольствия, и он с блаженным чувством свободы болтает ногами. Патрон не остается в долгу и с противоположного конца занятной отвечает Шлифеичке своим молодым неустоявшимся баском, который на низких нотах перехватывается, как у молодого петуха:

— Я-те, с... сын, ка-ди-лом-то...

Этот сигналик гласа четвертого, и Патрон ужасно надувается, чтобы «обрубать каждую ноту», как делает это соборный протодьякон Экваторов, этот недосягаемый идеал для всей бурсы. Патрон каждый день пьет сырые яйца в надежде, что у него со временем выработается нечто вроде протодьяконовского basso profundo, от которого стекла звенят в рамах и вскрикивают купчихи.

— Била меня ма-а-ти за пя-тый гла-ас!— неистово голосит Шлифеичка, закидывая голову назад, как завывающая собака.

— Преподобная мученица Шлифеичка, моли бога о нас,— неожиданно отвечает Патрон, который не может жить без того, чтобы кого-нибудь не поддразнить.

Епископ хотя и учил урок с остервенением, но его зоркий, как у щуки, глаз успел уже заметить фальшивое движение одного маленького бурсака. Это был серый, бледный мальчик лет двенадцати, с испуганным лицом и торчавшими щетиной волосами. Он что-то ощупывал у себя в кармане брюк и быстро выдернул руку из-под стола, когда заметил на себе пристальный взгляд Епископа. Это невольное движение погубило мальчугана. Епископ развалистой утиной походкой уже подходил к столу и, протянув руку, проговорил:

— Ну?

Мальчик замялся и смотрел испуганными глазами на Епископа.

— Без очков-то не слышишь?— закричал Епископ, оглушая мальчика громкой оплеушиной.

Мальчуган покорно достал из кармана завернутый в бумажку ножичек и подал его Епископу.

— Квинто!..— проговорил Епископ, как ни в чём не бывало опуская ножичек в карман.— Калю...

«Квинто» и «калю» на бурсацком языке равнялось табу австралийских дикарей, то есть раз эти роковые слова произносились над какой-нибудь вещью, она немедленно переходила в собственность сказавшего. Конечно, «квинто» и «калю» могли говорить только ученики последнего четвертого класса, а в младших классах этими словами пользовались только более сильные субъекты или отчаянные забияки.

— Ишь, подлец, прятал сколько времени!..— ворчал Епископ, пиная несчастного бурсачка носком сапога.

Выуженный Епископом ножичек действительно прятался самым тщательным образом в течение целого года по разным щелям, под шкафами, где-нибудь во дворе под камнем, и Епископ имел полное право оскорбляться такой осторожностью, потому что по драконовым законам бурсы маленькие бурсаки не имели права на какую-нибудь движимую собственность.

— Ваше преосвященство, заклевахом?!.— кричал Патрон, видевший проделку Епископа с ножиком.— Чур, пополам... Слышишь?

— Рылом еще не вышел,— огрызнулся Епископ.

— Я?.. Рылом?— пролепетал Патрон, подлетая кубарем к Епископу.— Ах ты, налим толстолобый... да я из тебя лучины нащепаю!

— Не подавись, смотри... Ты ведь нынче с ябедниками заодно. Чай пить к Сорочьей Похлебке пойдешь. Ведь пойдешь... а?..

Последние две фразы заставили Фунтика вздрогнуть и побледнеть, но Патрон уже в это время наскакивал на Епископа с задиром боевого петуха.

— Так я, по-твоему, ябедник?!— хрипел Патрон, вооружаясь табуреткой.— Ябедник?!

Епископ струсил и только для виду пробовал защищаться деревянной скамьей. По всей вероятности, ему пришлось бы очень плохо, но на этот раз его спасла счастливая неожиданность, именно, вся занятная вздрогнула от неистового крика Отлукавого.

— Дышло... ты... ты что это делаешь?— вопил Отлукавого, вскакивая со своего места в страшном волнении.

— Я?.. Ничего,— спокойно ответил Дышло, прикрывая рукой свой халатик, к которому пришивал медную солдатскую пуговицу.

— Как ничего? А пуговица?

— Пуговица моя... Возьми глаза-то в зубы, да и смотри!

— Вре-ошь!.. Ты ее сейчас отрезал от моего халата... Ведь я все видел.

— Ну, отрезал, а все-таки моя,— с прежним спокойствием ответил Дышло.— Калю.

Тратить слова дальше было уже совершенно напрасно, и Отлукавого как-то всем своим длинным телом бросился на Дышло. Как все очень добрые и бесхарактерные люди, Отлукавого мог приходить в бешенство от самой ничтожной причины и теперь с слепой яростью вступил в неравный бой. Эта несправедливость со стороны Дышло так поразила Отлукавого, что он испытывал что-то вроде столбняка все время, пока Дышло отрезывал и пришивал его пуговицу. Обработать Отлукавого на все корки, по всем правилам бурсацкой тактики, для Дышло было делом нескольких секунд, и Отлукавого растянулся на полу занятной во весь рост.

— Полевай его... дуй!— орал Шлифеичка, соскакивая со своего шкафа.

Дышло сунул несколько раз своим могучим кулаком в брюхо Отлукавого и оставил его. Таким образом драгоценная пуговица навеки была утрачена. Дышло «закалил» ее, как выражалась бурса. Отлукавого медленно поднялся с полу и с удивлением посмотрел кругом, все еще не понимая хорошенько, как все это быстро случилось: и пуговицы не стало, и в боку точно камень лежал.

— Чистенько сделано,— определил Патрон ход битвы тоном сведущего человека.— Ловко, Дышло...

— Сажени две дров, пожалуй, выйдет...— не без ехидства заметил Атрахман, подходя к Отлукавого.

— Уди!! — взревел Отлукавого, начиная махать длинными руками, как ветряная мельница.

— Да ты что, взбеленился? — удивлялся Атрахман.— Видно, на один бок наелся?

Маленькие бурсаки смотрели на происходившее единоборство с замиравшим сердцем, не смея дохнуть от страху. Дышло пользовался громадной популярностью в бурсе и теперь прибавилось одним именем больше число

его побед. Такое близкое присутствие героя заставляло маленьких людей особенно сильно чувствовать собственное ничтожество, и они испытывали некоторый священный ужас за неизвестное будущее. В занятной водворилось тяжелое молчание, как перед бурей, но эта надвигавшаяся гроза разрешилась одной ничтожной фразой, брошенной Шлифеичкой:

— А что, господа, разве покурим?

У всех отлегло от сердца. Дышло уже набивал злейшей солдатской махоркой свернутый из бумаги крючок; Атрахман и Патрон последовали его примеру. Шлифеичка достал из кармана маленькую деревянную трубочку, сделанную им своими руками, набил ее махоркой и подал Отлукавого.

— Ну, раскурим трубку мира,— проговорил он вычитанную из романа Майн Рида фразу.— И Дышло тоже покурит... Ведь покуришь, Дышло? Ну вас к черту совсем... Хоть и пал, да не под бабой лежал,— прибавил он в утешение Отлукавого.

— Эй, марш! — скомандовал Епископ двум маленьким бурсакам.

Те не заставили повторять приказания, потому что научились, как собаки, понимать Епископа по одному движению. Один сейчас же занял наблюдательный пост у окна, а другой отправился в коридор. Это устраивалось каждый раз из предосторожности от нечаянного нападения Сорочьей Похлебки. Курение табака и водка были в числе семи смертных грехов для бурсы, и она жестоко платилась за них своими боками и другими частями тела. Поэтому, вероятно, табак и водка, как всякий запретный плод, пользовались особенной популярностью в бурсе. Курили все без исключения, начиная с двенадцати лет.

— Прицеливайся! — скомандовал Епископ.

Курить открыто в занятной было нельзя, потому что дым мог обличить совершенное преступление, поэтому курили у душника, что на образном бурсацком языке называлось «прицелиться». Первым прицелился, конечно, Патрон, который как-то везде попадал в первую голову. Он с наслаждением затягивался вонючим табаком, поднимаясь на цыпочки к душнику. Накурившись до слез, так что голова пошла кругом, Патрон уступил место Отлукавого. Епископ терпеливо дожидался своей очереди,

но только что успел подставить свою толстую рожу с зажженным крючком к душнику, как в занятную вбежал стремглав поставленный на караул бурсак.

— Идет... идет... Сорочья Похлебка...— побелевшими губами шептал сторожевой пост.

Курильщики попались врасплох, несмотря на принятые предосторожности. Когда в дверях занятной показалась высокая фигура инспектора, бурса со страхом притаила дыхание.

— Занимаетесь...— медленно протянул Сорочья Похлебка, опытным взглядом меряя бурсу.

Уже по выражению бурсацких физиономий он сразу заметил, что дело неладно. Потянув в себя воздух, он только покрутил головой. Бурса пришипилась и замерла. Отлукавого держал в кармане дрожавшей рукой трубку мира, Епископ не успел выплюнуть бумагу, которой в общей суматохе набил себе рот. Чтобы отбить табачный запах, бурса жевала всевозможную дрянь: серу, фиалковый корень, какое-то особенно вонючее дерево, а в критических случаях просто бумагу.

— Опять, бестии, курили,— победоносно проговорил Сорочья Похлебка, улыбнувшись.— Ну, ты, протяженно-сложенный, дохни!— обратился он к Отлукавого.

Бедный малый дохнул прямо в нос Сорочьей Похлебке.

— Злейшая махра...— с ядовитой улыбкой заметил инспектор — Натянулся, как пожарный солдат... Ведь натянулся?

— Нет,— упрямо отвечал Отлукавого.

— А ты тоже нет?— проговорил инспектор, поворачиваясь к Патрону.— Дохни... Ах, каналья!

На очереди оставался Епископ, но он уже не мог дохнуть, потому что весь рот у него был набит бумагой, и он не смел ее выплюнуть.

— Хорош... нечего сказать!— умилился Сорочья Похлебка, заглядывая в рот Епископу.— Подавишься, бестия...

Дышло, Атрахман и Шлифеичка не успели еще прицелиться к душнику и поэтому дохнули в начальнический нос всей пастью.

— Ну-ну, довольно... Эк вы, сердечные, наперлись луком,— проговорил инспектор, делая гримасу.— Вижу, что еще не успели натянуться... Извините, что помешал.

Ну, друзья мои, так вы не курили?— обратился он к виноватым.

Все трое молчали, как зарезанные.

— Так ты не курил?..— повышая голос, закричал Сорочья Похлебка и, ухватив Патрона за волосы, поднял его своей могучей десницей «на воздуси».— Не курил, щенок?

— Нет, о. Павел, не курил,— смело брякнул Патрон, болтая конвульсивно ногами, как повешенный.

Несколько тяжелых оплеух оглушили Патрона, и он кошкой в три переверта полетел под стол. Отлукавого и Епископа постигла такая же участь, с незначительной разницей. Процедура наказания разгорячила Сорочью Похлебку, и он особенно жестоко «отполевал» Епископа, у которого толстая рожа только щелкала под ударами.

— Ах вы мерзавцы!..— ревел Сорочья Похлебка, задыхаясь от переполнявшего его озлобления.— Я еще с вами расправлюсь. Завтра же пропишу вам ве-лико-леп-ней-шую порку,— растянул он с особенной выразительностью последние слова.— Вы у меня будете помнить... я вам задам... я...

Сорочья Похлебка произвел сейчас же самый тщательный обыск, и на сцену появилась сначала трубка мира, а затем несколько готовых крючков и два кисета с табаком.

— Очень хорошо, очень хорошо,— говорил Сорочья Похлебка, загребая все эти corpus delicti [1] в свой карман.— Вы думаете, что я ничего не вижу, ничего не знаю... Ха-ха! Не-ет, голубчики, меня не проведете. Я вас всех насквозь вижу...

Последняя фраза слишком часто употреблялась Сорочьей Похлебкой, и поэтому бурса относилась к ней с иронией. Маленькие успехи кружили голову Сорочьей Похлебки, и в глубине души он сам верил, что все знает и все видит. Впрочем, в этом случае он повторял только ошибку других очень умных людей. Бурса в тысячу раз лучше изучила Сорочью Похлебку с тонкой наблюдательностью каторжников и, действительно, знала его насквозь, но он не знал бурсы, утешаясь маленькими победами. И теперь он возвратился к своей Фане на-

[1] Вещественные доказательства... (*латинск.*)

стоящим победителем, глубоко довольный своим успехом.

— Одначе... здорово взвеселил!— отозвался первым Патрон, нарушая мертвое молчание занятной.

— И точно черт его принес?!— удивлялся простодушный Отлукавого.

— Господа, у нас есть ябедник!..— провозгласил на всю занятную Епископ.— Не даром Сорочья Похлебка хвастается. Я вам говорю!

Этот возглас был ударом грома для всей занятной, и все со страхом переглянулись, особенно за теми столами, где сидели маленькие бурсаки. «Ябедник» — ужасное слово в бурсе. Вся история бурсы, все ее предания, душевный строй каждого бурсака в отдельности был против ябедника.

— У нас есть ябедник,— повторил еще раз Епископ самым многозначительным тоном, как капитан, открывший в своем корабле течь.

III

Занятные часы продолжаются обыкновенно с пяти часов до восьми вечера, когда сторож Архип, отставной солдат, звонил у дверей занятной в медный колокол. Сейчас из занятной бурса валила в столовую ужинать. Бурсацкий ужин еще меньше обеда мог утолить волчий голод бурсы. Подавались обыкновенно остатки щей, разбавленные водой и какая-нибудь каша. Весь питательный материал сосредоточивался главным образом в «экземплярах», как называла бурса ломти ржаного хлеба. Этими экземплярами по преимуществу набивалось бурсацкое брюхо, и они же уносились правдами и неправдами из столовой про запас. Превратившись в сухари, экземпляры в этом виде служили поддержкой питания. Но сегодня, после такой удачной вылазки Сорочьей Похлебки, вечно голодная бурса не обращала внимания даже на экземпляры. Все чувствовали себя очень сконфуженными, и даже проделка Шлифеички над поваром Семеном не произвела никакого эффекта. А между тем она была устроена не без ловкости. Когда Семен пошел разливать масло по чашкам с кашей, он немало был удивлен, что масла из бутылки едва достало на пять первых чашек, тогда как его должно было хватить на все десять.

— Подливай,— кричал Шлифеичка.— Видишь, не полная ложка...

Шлифеичка на дне своей деревянной ложки очень искусно продолбил боковую щель, так что масло через нее выливалось совершенно свободно.

— Наливай...— повторил Семен слова Шлифеички, проглядывая бутылку на свет.— Не запряг еще, не больно понужай.

— Ах ты, гарнизонная крыса!— выругался Шлифеичка, передавая ложку Епископу.— Да я из тебя всю крупу вытрясу...

— Кабы из тебя крупа-то завтра не посыпалась,— ухмыльнувшись, ответил Семен. — Инспехтур велел Сидору завтра пораньше насчет березовой каши спроворить... Надо полагать, будут смотреть, откуда у вашего брата ноги растут.

Шутка вышла плохая, и бурса совсем приуныла.

Бурсацкие спальни расположены в третьем этаже. Они днем всегда заперты, и только сквозь стекла дверей можно было рассмотреть ряды железных коек, прикрытых замасленными байковыми одеялами. Спальня четвертого класса называлась Лапландией, потому что солнце заглядывало в нее только два раза в год. В ней по ночам горел ночник, бросая на всю комнату неверный, дрожащий свет. В небольшой каморке, в противоположном конце коридора, мирно похрапывал знаменитый экзекутор Сидор. Бурса ненавидела и любила его: ненавидела за причиняемую его розгами боль, а любила за искусство драть. Драл Сидор художественно; как истинный артист, он немало гордился своей специальностью, которую постоянно совершенствовал, расписывая бурсацкие спины.

— Тебя за розгами послал Сорочья Похлебка?— допытывался у Сидора желавший все на свете знать Шлифеичка.

— Может, и послал,— сонным голосом ответил Сидор, почесывая отлежанный бок.— Полуду будем наводить...

— Да ты смотри, Сидор, не больно дери-то,— умильно просил Шлифеичка, заглядывая в глаза суровому экзекутору.— А то, пожалуй, обрадуешься с дуру-то... Ты уж тово...

— А масло будет?

— И масло будет...

— Чур, вперед; я в долг не верю.

Маслом в бурсе называли взятки Сидору.

В Лапландии сегодня собрался военный совет из знакомых уже нам действующих лиц, с той разницей, что они теперь были в одном белье. Эти белые изможденные фигуры можно было принять за арестантов или больных. В них было много общего: в складе фигуры, в цвете кожи, в болезненно напряженном взгляде, в разбитых нервных движениях. Особенно замечательны у всех были волосы: жесткие и мшистые, они сидели на головах отдельными оазисами, как шерсть на линявших животных. Можно было подумать, что вся бурса поголовно перенесла самый жестокий тиф и теперь поправлялась после него. Для медицины интересно было бы произвести ряд наблюдений над изменениями кожи, слизистых оболочек и особенно волос исключительно под влиянием продолжительных голодовок и холодовок. Пример арестантов не может идти сюда, потому что там люди взрослые, а здесь дети, которые попали в недра бурсы прямо с лона природы. В этих шерстистых волосах, украшавших бурсацкие головы клочьями, чувствовалось какое-то перерождение человека в более низшую, животную форму. О том же свидетельствовала необыкновенная поджарость бурсы, как у запаленных лошадей; один Епископ представлял исключение из общего правила и, как таковое, в счет не может идти.

— Закочевряжило!— проговорил Патрон, взлезая на койку Отлукавого.

— Забарандычило,— согласился Дышло, почесывая одну ногу другой, как лягавая собака.

— Эта самая Сорочья Похлебка по духу слышит,— размышлял вслух Отлукавого, растянувшись во весь рост на койке; можно было подумать, что под тощими складками казенного одеяла лежали палки или деревянная лестница.

— А, наплевать...— фатально проговорил Патрон, выпрастывая из длинных рукавов рубахи свои маленькие, цепкие, как у белки, руки.— Кожа наша, воля ваша; розги казенные, люди наемные — дерите, сколько хотите,— проговорил он эту готовую формулу отчаяния, сложенную, вероятно, где-нибудь на каторге.

— Ты чего давеча про ябедника-то говорил?— обратился к Епископу Отлукавого.

— Во сне увидал,— заметил ядовито Атрахман, блестя своими черными, как угли, глазами.

— А тебе не поглянулось, видно, как о ябедниках заговорили?— отозвался Епископ.— Может, знаешь, о ком я говорю.

— Да черт тебя узнает...— огрызнулся Атрахман.

— Вре-ошь, знаешь. Вас с Патроном на одно лыко да в воду.

— Значит, по-твоему, и я ябедник?! — запальчиво перебил Патрон, готовый хоть сейчас вступить в бой.

— Постой ты, Патрошка,— останавливал Отлукавого.— Вишь ведь в тебе комариное-то сало загорелось как... Ну, Епископ, договаривай, коли начал.

— Да чего мне договаривать, сами знаете,— мямлил Епископ.— Конечно, Фунтик ябедничает...

— Вот и врешь,— вступился Атрахман.— Говорю тебе, что врешь. Слышал?

— Ну, а ты скажи, почему ты знаешь, что Фунтик не ябедник?

— Нет, сначала ты скажи, почему он ябедник.

— И скажу...

— И скажи! Мы послушаем, как соврешь.

— А это было перед пасхой,— заговорил Епископ.— На последней неделе, когда говели. Как-то после вечерни я иду по коридору, а Сорочья Похлебка разговаривает с Фунтиком. Своими глазами видел... да! Я только подошел, они и замолчали. Какого вам еще ябедника надо?

— И вышел ты дурак, Епископ! — отрезал Атрахман.

— Конечно, дурак точеный,— согласился Патрон,— По-твоему, если меня отполевал давеча Сорочья Похлебка, так и я тоже ябедник... Подшаяло, ваше преосвященство, на чердаке-то!..

Выходка Патрона рассмешила слушающую публику, а Отлукавого залился совсем ребячьим смехом, глубоко втягивая в себя поджарый живот. Шлифеичка тоже очень ядовито хихикал себе в кулак и по пути шлепнул Епископа по самой макушке.

— Заврахомся? — спрашивал Патрон.— Нашел ябедника... Ты давно пристаешь к Фунтику, и все напрасно. Давеча вон в городки...

— Ну, в городки-то оно и следует поучить новичка,— резонировал Дышло. — Нас еще не так учивали... Помните Клешню или Чугунного Апостола? Меня замертво унесли после одних городков.

— Я нарочно и устроил городки под носом у Сорочьей Похлебки, — объяснял Епископ. — Пусть полюбуется на своего любимца... Не поглянулось, и прибежал в занятную.

— Опять врешь, — остановил Атрахман. — Разве впервой Сорочья Похлебка приходит в занятную? Окрести ногой хрюкало-то...

— Ты не лезь... говорю тебе. Не лезь, — шипел Епископ. — Я знаю, почему ты за Фунтика вступаешься... На пасхе кто ему пряников покупал?

— Я покупал, — сознавался Атрахман.

— Если покупал, так и не заступайся...

— Да ведь ты знаешь, зачем я Фунтику пряников покупал? Вместе покупали: я — Фунтику, ты — своей Матрешке...

— Теперь уже вы оба дураки,— решил Шлифеичка.— Вот вам завтра покажут таких пряников, что небо с овчину покажется... Я говорил с Сидором. Вперед масла просит...

— Подлец! — загудели голоса. — В прошлый раз давали двугривенный, какого еще ему масла?

— Мне все равно, не меня будут драть, — равнодушно проговорил Шлифеичка. — А что, братцы, разве запалим у форточки?

Через минуту одна белая фигура за другой прицеливались к форточке, а Патрон до того натянулся, что совсем опьянел.

— Важнецкая крупка, — молодцевато проговорил он, пошатываясь и сплевывая на сторону.

После курения у форточки бурсацкие головы приятно кружились, и никому не хотелось поднимать снова разговор об ожидаемой порке.

— Окно бы отворить, братцы... — проговорил Отлукавого, сидя на своей койке в старческой позе.

Шлифеичка распахнул среднее окно, из которого виднелся клочок неба и уголок Пропадинска. Кой-где в мещанских домиках слабо мигали желтые огоньки. Картину рассыпанных построек замыкала небольшая Вшивая горка, которая стояла уже в предместье; солдатские ка-

зармы выделялись желтой расплывшейся линией. Ночь была лунная, тихая, с легкой изморозью. Такие ночи в Западной Сибири необыкновенно хороши.

— Вакат скоро...— задумчиво проговорил Отлукавого, заглядывая в окно.

— Я к тетке поеду, — весело отозвался Патрон. — Она меня давно зовет...

— Да ведь у тебя нет никакой тетки? Ты как-то говорил...

— Как нет? Вот тебе раз... Да еще целых пара: выбирай любую да лучшую.

— Да не ври ты, Патрошка,— усовещал какой-то голос из глубины Лапландии.— По крайней мере расстегнись, а то ворот лопнет от вранья-то...

— Я?! Врать?!. Ей-богу, две тетки,— с азартом уверял Патрон, болтая руками.— Одна за дьяконом в Шляповом, а другая вдова... Я к дьякону поеду. Мы с ним и шкалик раздавим и всякое прочее. Отличный дьякон... Его еще в прошлом году лошадь ушибла. И черт его знает, как его угораздило: в висок задней ногой угадала!

Вся бурса доподлинно знала, что нигде такого «отличного дьякона» не существовало, но Патрон в настоящую минуту был глубоко убежден в его существовании и приготовился со всеми подробностями расписать своего мнимого родственника.

— Вот Епископу хорошо,— прервал вранье Патрона сосредоточенный Дышло.— Он каждый год ездит... Атрахман тоже. Нынче поедешь, Атрахман?

— Конечно, поеду... У меня двоюродный брат попом в Ключиках. Отличное село.

Бурса отдалась соображениям о предстоящем вакате, хотя все были круглые сироты, которым носу некуда было показать. Весенняя ночь расшевелила воображение, и действительность пополнялась вымыслами. Самые счастливые из разговаривавших, Епископ и Атрахман, прежде чем отправиться на лето к своим родственникам, долго раздумывали каждый раз о том, не лучше ли остаться в бурсе. Но училище так опротивело всем, что уже одна перемена места являлась спасением. Дышло, Отлукавого, Шлифеичка и Патрон были круглыми сиротами и со дня поступления в бурсу совсем не расставались с училищем. Они теперь вспоминали раз-

ные обрывки из детской жизни или мечтали о будущем. Даже жалкое детство, проведенное по заугольям у разных дальних родственников, теперь являлось в самом радужном свете. Дети богачей, вероятно, не вспоминают с таким удовольствием свое довольное, усыпанное игрушками детство.

— Я в дьякона поступлю,— фантазировал Патрон.— Дьякону всегда лучше жить, чем попу. Попа с требой таскают, поп подавай отчет благочинному — везде отдувайся, а дьякон — вольный казак. Он и хозяйством может заниматься, лошадей держать...

— А ты дьяконицу выбирай, Патрон, толстую,— советовал Шлифеичка,— чтобы спина у ней желобом... Хехе!.. Помнишь, там в «Малиннике» была одна нимфа?..

— Лучше всего на купчихе жениться,— продолжал Патрон: — лежи себе на печи да ешь пироги. Меня Сорочья Похлебка выключит скоро, я и женюсь... Он думает, что я пропаду без него. Хе-хе... Мы вот что сделаем с тобой, Отлукавого: женимся на двух сестрах. Ей-богу!..

Бурса вообще любила поговорить о женщинах. Главными аматёрами являлись Епископ и Атрахман; Дышло смотрел на женщин с хозяйственной точки зрения, как на очень полезную живность. Патрон и Отлукавого являлись рассказчиками самых пикантных анекдотов о женщинах, причем добрую половину прибавляли от «собственного чрева». Между прочим они любили уснастить речь кое-какими эпизодами из собственной тревожной жизни, героинями которых являлись кухарки и горничные Сорочьей Похлебки, а местом действия — училищный двор и небольшой садик за инспекторским флигелем. Такая ограниченность в пространстве и слишком однообразный состав женских персонажей ничуть не мешали быть этим рассказам такими забавными, что вся бурса каталась от разбиравшего ее смеха, особенно когда на сцене появлялся Сорочья Похлебка, конечно, в роли жестоко одураченного субъекта.

Один Шлифеичка представлял в этом случае исключение из общего правила, потому что женщины как-то не вязались с тем миром открытий и изобретений, в котором он жил

— Такая была потеха,— рассказывал Отлукавого немного в нос. — Летом совсем делать нечего, только

искупаться разе сходить... Ну, а Сорочья Похлебка нанял тогда новую стряпку. Помните, эту, деревенскую, в красных платках ходила. Широкая такая да здоровенная, ступа ступой. Я давно присматривался к ней, только повар Семен все мешал. Он жил с ней, каналья... Как быть? Вот и придумал я штуку. Сенька-то каждую ночь к ней ходил, в окно из садика лазал. Я взял купил полштофа водки, да и напоил его вечером-то, а сам надел его шинель да к стряпке. Ха-ха... Постучал в окно, а сам коленки подогнул, чтобы не узнала по росту-то. Ведь не узнала... за Сеньку приняла. Раза этак три к ней я ходил летом-то, и она меня все за Сеньку считала. В кухне темно, где тут разберешь. Только после они и разговорились, значит, стряпка с Сенькой. Стали разбирать дело, да и разодрались... Сенька приходит ко мне и давай жаловаться, что к стряпке оборотень ходит. Уж я хохотал, хохотал...

— А она толстая была? — захлебываясь, спрашивал Патрон.— И все как следует? — объяснил он уже при помощи рук на своей впалой груди.

— Говорят тебе, только что из деревни приехала,— облизывался Отлукавого.— Кабы не толстая была, так с чего бы Сенька стал ей на платье покупать... Тоже ведь парень не в угол рожей, на кривой кобыле не объедешь его.

— Он на платье ей покупал, а ты к ней ходил?.. Ловко!

— А вот со мной случай тоже был,— начал Патрон.

Атрахман не дождался рассказа Патрона и «тайно образующе» вышел из Лапландии. Он осторожно прокрался босиком по всему коридору и отворил дверь в спальню первоклассников. Тут было кроватей пятнадцать. Ребятишки, разбитые тяжелым бурсацким днем, давно уже спали, как зарезанные. Не спал только один Фунтик, у которого всю руку рвало до самого плеча. Он тихо плакал в своей кроватке, уткнув голову в подушку. Детское воображение унеслось в далекую деревушку Караваиху, где мать Фунтика жила просвирней. Она не плакала, когда отправляла его в бурсу, а только просила, чтобы учился он хорошо, молился чаще богу, не шалил, слушался старших... Отец Фунтика был священником и тоже раньше учился в Пропадинске. У них была своя лошадь, когда отец служил в Караваихе, потом со-

бака Султан... А когда отец умер — он простудился зимой — лошадь продали, из поповской квартиры мать переехала в избушку просвирни, а тут уже скоро его отправили в бурсу. Вот летом он уйдет пешком в Караваиху... Скрип двери и крадущаяся вдоль стены фигура Атрахмана разогнали эти детские невинные воспоминания и заставили Фунтика задрожать.

— Ах, подлец... ты когда это успел забраться сюда? — шепотом проговорил Атрахман, толкая кулаком Епископа, который лежал на кровати Матрешки.

Фунтик с головой спрятался под одеяло, когда Атрахман сел на его кровать.

IV

Бурса как по своей организации, так и по внутренней жизни, является такой же аномалией, как веред на теле здорового человека. Попадавшие в нее извращались нравственно и физически медленным и болезненным процессом. Самые стены бурсы, кажется, были пропитаны специфической бурсацкой закваской, которая безвозвратно заражала всякого, кто имел несчастье попасть сюда. Это была историческим путем сложившаяся зараза с замечательно выработанной организацией. Участь всех была одинаково печальна, потому что бурса губила одинаково всех. Новичок постепенно, изо дня в день, проходил тяжелую школу, пока из избитого, оскорбляемого и унижаемого не превращался в бьющего, оскорбляющего и унижающего. Это был железный закон.

Каждый новичок, переступая порог бурсы, попадал сразу между двумя жерновами. На одном конце стояли голод, холод и бурсацкая наука, а на другом — внутренняя жизнь бурсы. Начальство являлось только небольшим привеском в общей тяжести, которая наваливалась на новичка. Конечно, холод и голод в основе подрывали здоровье молодого организма и таким образом открывали широкое поле всяческим болезням; бурсацкая наука забивала в деревянную колодку молодую мысль, уродовала и развращала ее. Но всего хуже была бурса сама по себе, с ее историческими преданиями свычаями и обычаями. Переносили и холод и голод, и бурсацкое зубренье, но бурса засасывала всякого, как

гнилая трясина, в которой человек с каждым шагом вперед тонет все больше и больше.

Самое страшное зло бурсы заключалось в том, что она глубоко развращала душу ребенка, развращала шаг за шагом, с беспощадной последовательностью. Отлукавого, Шлифеичка, Дышло, Атрахман, Патрон и Епископ являлись ягодками на этом поле; Фунтик и Матрешка только еще начинали проходить школу, переданную потомству при посредстве мифических героев бурсы, Клешни и Чугунного Апостола. Как бы для того, чтобы окончательно отречься от всего остального мира, бурса клеймила каждого новичка особой кличкой, которая оставалась за ним на целую жизнь. Иногда эти названия решительно ничего не выражали, как, например, Атрахман, но в большинстве случаев давались очень метко. Так Отлукавого получил свою странную кличку по следующему поводу. Когда его, дьячковского сына, заперли в бурсу и он успел съесть несколько тысяч затрещин, с горя ли, с тоски ли по воле, а вернее всего от каторжной жизни и питания исключительно одними экземплярами, на новичка напала вошь и буквально покрыла все тело.

Такой необыкновенный даже для бурсы случай расшевелил любознательность таких философов, как Клешня и Чугунный Апостол. Они решили произвести над новичком несколько интересных опытов, то есть мыли его в бане с песком, подкуривали богородской травой и, в виде решительного медицинского средства, все тело оскоблили перочинным ножом. Но все было бессильно: вошь одолевала новичка, а так как это интересное насекомое на бурсацком жаргоне было известно под именем «отлукавого», то оно и перешло на новичка. Протесты против такого названия, конечно, ни к чему не повели, и в конце концов пришлось примириться с ним.

Патрон и Фунтик получили свои названия за маленький рост; Епископ — за толщину. Матрешками в бурсе называли особенно смазливых учеников, участь которых была самая печальная. В каждом классе всегда было по нескольку матрешек, так что эта кличка превратилась в нарицательное имя.

Знать один день бурсы равносильно знанию всей жизни бурсы. Дни здесь тянулись, как в каземате, с убийственным однообразием и походили один на другой, как две капли воды. Звонок Сидора будил всех в поло-

вине седьмого. После умывания и одевания все шли на молитву в один из классов, а потом в столовую, где ожидал чай с двухкопеечной булкой. Про этот чай бурса говорила, что он «немного пожиже воды». После чаю бурса шла в классы и там оставалась до двух часов. Учителя были все новые, за исключением учителя пения, соборного дьякона, которого звали Омегой. В классах не происходило кулачной расправы, а ограничивались двойками и единицами, что вело за собой неизбежную порку. Обыкновенно смотритель училища о. Мелетий являлся в конце каждой недели в класс со списочком в руках, вызывал провинившихся и уводил вниз, где Сидор с непреклонностью самой судьбы довершал образование строптивых. В исключительных случаях Сорочья Похлебка расправлялся собственноручно. Это однообразное течение классных занятий периодически нарушалось жестокими избиениями квартирных, то есть приходящих учеников духовного училища, которые в качестве отцовских детей жили на квартирах. Бурса, как один человек, ненавидела этих квартирных, брала с них дань жареным и вареным и, в заключение, колотила.

Как проводила свое время бурса после обеда и вечером, мы уже видели из предыдущих глав. Остается сказать только то, что у бурсы оставалось все-таки много свободного времени, а каждая свободная минута для бурсы была великим наказанием.

Между тем выдавались свободными целые дни, недели, даже месяцы. Можно было умереть со скуки, но бурса находила возможность устраивать самые пикантные развлечения. Любимым из таких развлечений был театр, а потом «наказание грешника». Театром заведовали Патрон и Шлифеичка; первый заведывал постановкой пьесы и даже сочинением таковой, а второй устраивал сцену, сочинял буквально из ничего декорации, занавес и костюмы. Любимой пьесой был известный «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольфий». Царя Максимилиана играл Отлукавого, который, по мнению всей бурсы, был отличный актер, а непокорного сына Адольфия изображал Дышло. Постановка такой незамысловатой пьесы требовала однако самого адского труда; Патрон и Шлифеичка поражали всех своей изумительной энергией. Появлялся даже лес на сцену, а нарезанная бумага заменяла снег. Последняя декорация, впрочем, относи-

лась к другой пьесе — «Разбойники» неизвестного автора. Самое эффектное место в последней пьесе заключалось в том, что Отлукавого в качестве разбойничьего атамана сначала убивал из ревности свою любовницу, одного из Матрешек, а потом зарезывался сам. Шлифеичка привязывал на последний случай к горлу Отлукавого бычачий пузырь с свежей голубиной кровью, публика замирала от удовольствия, когда великий артист, полоснув себя ножом по горлу, растягивался на полу, обливаясь кровью.

«Наказывать грешника» — это была уже выдумка бурсы от начала до конца. Зрелище устраивалось обыкновенно в глубине Лапландии, после ужина. В коридорах расставлялись часовые на всех опасных пунктах, чтобы обеспечить себя вполне относительно нечаянного нападения Сорочьей Похлебки. Лапландия тогда представляла оживленную картину; вся публика образовала широкий круг около трех кроватей, составленных в ряд. На помосте стоял складной черный эшафот, работы неутомимого Шлифеички. Епископ, в красной рубахе и плисовых шароварах, ходил по кроватям с плетью в руках: он играл сегодня главную роль, то есть палача.

В другом углу, на возвышении из деревянных табуреток, сидел Отлукавого в какой-то белой мантии с бумажной короной на голове. Около него, по бокам, стояли, в качестве телохранителей, Атрахман и Дышло.

— Мои верные телохранители, приведите ко мне грешника Сорочью Похлебку,— отдавал приказание Отлукавого.

Верные телохранители отправлялись в коридор и через минуту на двух шнурках приводили самую большую крысу, какую только можно было найти в бурсацкой кухне. Крысу привязывали к столу.

— Грешник, как тебя зовут? — спрашивал Отлукавого.

— Сорочья Похлебка,— отвечал за крысу Патрон.

— Чем занимаешься?

— Грызу экземпляры, а в свободное время напрасно беспокою учеников пропадинского училища. Ловлю их в табаке и водке, ставлю единицы из катехизиса Филарета, а потом дую их на все корки.

— Иногда не врешь ли?

— Постоянно вру, ваше королевское величество... Об-

манываю о. Мелетия, будто все знаю, что делается в училище; беру взятки с богатых попов, с купца, который доставляет харчи, с жида, который шьет бурсакам одежду,— со всех беру, и еще, кроме того, обкрадываю столовую. Говядину и масло ем сам, а бурсу кормлю пустыми щами и экземплярами.

Король на минуту задумывался, а потом обращался к верным телохранителям.

— Мои верные телохранители, что мне делать с грешником Сорочьей Похлебкой, который хуже Гришки Отрепьева и Стеньки Разина?

— Ваше королевское высочество, прикажите казнить Сорочью Похлебку!— в один голос отвечали верные телохранители.

— Отведите Сорочью Похлебку на лобное место и прикажите моему палачу Ваньке Каину закатить грешнику полтораста горячих, а потом четвертовать.

Крысу торжественно отводили на место казни, а король снимал свою мантию и корону и вмешивался в остальную публику. Крысу привязывали за четыре лапы к «деревянной кобыле», а потом королевский письмоводитель Шлифеичка прочитывал королевский указ:

«Грешник Сорочья Похлебка приговоривается его королевским величеством к смертной казни, во-первых, за то, что питается бурсацкими экземплярами, во-вторых, за то, что берет взятки, в-третьих, за то, что всем врет, и, в-четвертых, за то, что постоянно беспокоит наше королевское величество разными неприятностями. Приказываем нашему королевскому палачу Ваньке Каину закатить Сорочьей Похлебке полтораста плетей, а потом четвертовать».

Публика в немом ожидании не смела дохнуть. Ванька Каин разглаживал рыжую бороду, замахивался плетью и неистовым голосом кричал:

— Берегись, соловья спущу!..

Конечно, крыса издыхала от первых десяти ударов, и четвертовать приводили свежую. Епископ производил операцию четвертования по всем правилам искусства: отрезывал перочинным ножом одну лапу за другой, наслаждаясь жалобным писком обливавшейся кровью крысы. Публика упивалась этим кровавым зрелищем и иногда приходила в такой восторг, что требовала казни еще нескольких грешников. Раз таким образом был каз-

нен годовалый щенок, а в другой — Епископ с живой кошки содрал всю кожу.

Эти кровавые зрелища нравились бурсе гораздо больше «Царя Максимилиана» и «Разбойников». Страдания живого существа приятно возбуждали притупившиеся чувства бурсы. Маленькие бурсаки получали здесь первые уроки, что им следует делать, когда они сделаются большими бурсаками. Едва ли можно было придумать более удачную систему воспитания...

За вычетом этих немногих удовольствий, все свободное время бурсы всецело уходило на борьбу с начальством, то есть с Сорочьей Похлебкой. Это была подземная борьба, борьба слишком неравная, и все-таки бурса постоянно выходила из нее победительницей. Нужно сказать, что весь строй бурсы сложился под давлением одной исключительно идеи, именно, идеи вечной войны против начальства. В этом духе воспитывались десятки поколений, и, нужно отдать справедливость бурсацкой выправке, ябедники являлись такой же редкостью, как белые воробьи.

Сорочью Похлебку бурса особенно ненавидела, ненавидела, как один человек. И знала же бурса своего врага, решительно знала все, что можно знать о человеке, и, прежде всего, конечно, слабости и смешные стороны. До Сорочьей Похлебки был инспектором какой-то о. Игнатий, пьяница и зверь, но бурса относилась к нему снисходительнее. Она чувствовала и ценила в о. Игнатии цельного человека, уважала за характер.

А Сорочья Похлебка — это совсем другое дело: фальшь и ложь на каждом шагу, мелкие обманы и придирка, трусость и заискивание перед высшим начальством, открытый грабеж последних бурсацких крох. Бурса ненавидела в Сорочьей Похлебке не столько начальство, сколько дрянного человека, который продаст отца родного и нагадит вам за двугривенный. Философия бурсы сложилась по-своему: она уважала силу, хотя эта сила и давила ее, но мелкую подлость, которая бьет из-за угла, она ненавидела. Об о. Игнатии отзывались все-таки с уважением, хотя он и задрал до смерти двух бурсаков. Конечно, она воевала и с о. Игнатием не на живот, а на смерть, но ведь тогда она воевала в его лице с начальством.

Истинным героем этой борьбы с Сорочьей Похлебкой

являлся Шлифеичка. Не было такой каверзы, не было такой пакости, которую Шлифеичка не устроил бы, чтобы только досадить инспектору. Изобретательность Шлифеички была неистощима; при помощи самых простых домашних средств он добивался самых блестящих результатов. Например, что кажется проще инспекторской лошади, которая стоит в запряжке у подъезда. Лошадь очень почтенного возраста и крайне тяжелая на подъем; кучер — простоватый деревенский парень. Шлифеичке стоило только взглянуть на эту картину, и великолепный план был готов. С невинным видом он проходит на задний двор, срывает широкий лист крапивы и, положив его в карман, подходит к кучеру.

— Мы с тобой, парень, из одной деревни, — заговаривает ласково Шлифеичка, нюхая носом.

Кучер недоверчиво смотрит на оборваного бурсака и не знает, что ему делать: отвечать или нет. Но Шлифеичка уже выводит его из недоумения:

— Эх ты, кучер, да разве так повод привязывают! Дай я тебе по-городски его перевяжу.

Перевязав повод, Шлифеичка заставляет простоватого парня поддернуть немного лошадь за повод вперед и сам в это время заходит сзади посмотреть, не криво ли заложена лошадь. Поправляя шлею, Шлифеичка успевает подложить крапивный лист под хвост. Лошадь прижимает уши и начинает беспокоиться; лист жжет, а она еще сильнее прижимает его хвостом. В это время выходит Сорочья Похлебка, и Шлифеичка с миром удаляется восвояси.

Конечно, как только инспектор выехал со двора, лошадь начинает беситься, и дело кончается тем, что Сорочья Похлебка вместе с кучером летят в разные стороны, экипаж ломается, а взбешенная лошадь стремглав летит домой с одними передками. Вся бурса торжествовала целую неделю, пока Сорочья Похлебка щеголял с подвязанной рукой и подбитым глазом.

Не менее удовольствия доставил Шлифеичка всей бурсе другой штучкой. Инспекторша держала козу, которая часто ходила в кухню. Подманить козу кусочком хлеба, конечно, было плевое дело, а там уже Шлифеичка устроил так, что коза, как бешеная, принялась выделывать самые отчаянные па. Бурса помирала со смеху, глядя, как сторожа гонялись за бедным животным по

двору с метлами и разным другим дрекольем. И сама инспекторша не миновала рук Шлифеички: он ухитрился пришпилить ей сзади на пальто большую бумажку с надписью: «Сие место отдается». Сорочья Похлебка под разными предлогами передрал всю бурсу, чтобы узнать, кто устроил такую штуку с его Фаничкой, но, конечно, ничего не узнал. Уж кого другого, а Шлифеичку бурса никогда не выдала бы.

Если инспектор оставлял калоши в классе, Шлифеичка наливал в них воды; если попадалась под руку инспекторская шапка, Шлифеичка приколачивал ее куда-нибудь на стену гвоздем и т. д. В одно время у инспектора явилась мания посещать бурсацкие спальни по ночам. Нужно было его отучить от такой дурной привычки, и Шлифеичка добился своего. Инспектор, конечно, знал что бурса выставляет всегда часовых караулить его. Чтобы пробраться в спальни «тайно образующе», он обратил свое внимание на один заброшенный черный ход через левое крыло училищного корпуса. Действительно, бурса не ожидала нападения именно с этой стороны, попалась, как кур во щи, и, конечно, получила одну из самых великолепнейших порок. Тогда Шлифеичка пробрался с подделанным ключом в этот тайный ход и вымазал ручки у всех дверей самой отвратительной жидкостью. Инспектор попался на удочку, но через некоторое время опять возобновил свои ночные визиты. Только на этот раз он зажигал спичку, прежде чем браться за дверную ручку в темноте. Шлифеичка опять нашелся. Он вымазал старую швабру всякой гадостью и поставил ее у дверей так, что она упала Сорочьей Похлебке прямо в физиономию, когда он отворил дверь. Ночные визиты через таинственный ход прекратились, и бурса ликовала.

V

На другой день после того, как инспектор поймал бурсу «в табакокурении», он входил в правление училища с особенно таинственным видом. Отец Мелетий был уже там, и его седая борода совсем спряталась в каких-то бумагах. Рядом стоял чахоточный письмоводитель с зеленым лицом. Мельком взглянув на торжественную фигуру инспектора, о. Мелетий только причмокнул губами. Последнее означало, что старик сердится.

Между смотрителем и инспектором были контры.

Отец Мелетий хотя и кончил духовную академию, но был человек старинного покроя; инспектор с грехом пополам одолел семинарию, но считал себя передовым человеком и, кроме того, либералом. В качестве либерала, инспектор настаивал на исключении учеников из училища, как этого требовал новый устав; о. Мелетий не хотел слышать о таких исключениях и на свой страх придерживался старинки, то есть жестоко порол бурсу. Под пьяную руку, когда о. Мелетий «зашибал», он не раз говаривал:

— Я, о. Павел, когда учился в бурсе, в рогатке деревянной хаживал... да-с... А за неоднократное бегство из бурсы меня забивали в деревянную колодку и даже садили на цепь. И все-таки я выучился... потому что тогда вас не было, о. Павел. Ведь выключили бы вы меня десять раз, если бы попал к вам в руки... Да-а...

— Не угодно ли вам полюбопытствовать, о. Мелетий,— проговорил инспектор, отвечая на вопросительный взгляд старика.

Смотритель надел серебряные очки и осторожно развернул тщательно сложенную бумагу: в ней были завернуты трофеи вчерашней победы инспектора, то есть на первом плане трубка мира, несколько готовых крючков, два кисета с махоркой и т. д. Отец Мелетий внимательно осмотрел вещественные доказательства и опять чмокнул губами.

— Вижу...— немного печально проговорил старик.

— Я вам говорил...

— О чем вы говорили, о. инспектор?

— О том, что следовало еще тогда примерно наказать бурсаков.

— Мы их и наказали, а теперь сугубо накажем...

— Я вам и тогда говорил, о. смотритель, что следует исключать из училища. В других епархиях давно введена система исключений.

Отец Мелетий отрицательно покачал своей седой головой и еще раз причмокнул губами.

— В последнем номере «Епархиальных ведомостей» вы читали статью профессора Богомыслова по этому вопросу?— спрашивал инспектор.

— Читал... Что же из этого: написать статью легче, чем сделать.

— Да, все это так... Я с вами согласен. Но что будут про нас говорить в городе, о. смотритель? Ведь времена

бурсы Помяловского давно прошли, теперь другие требования... Наконец, эти телесные наказания просто варварство!

— По-вашему, лучше исключить бурсака, если он, примерно, покурил табачку?

— Конечно, о. смотритель... Мы должны стоять на высоте нашего положения и без всякого сожаления, как врачи, отсекать зараженный уд. Одна паршивая овца все стадо портит.

— А вы не думали о том, куда пойдет исключенный нами бурсак?

— А разве мы в этом виноваты? Мы должны позаботиться о спасении еще незараженных.

— Но ведь здравии не нуждаются во враче, и мы особенное внимание должны обратить на заблуждающихся. Исправлять их, а не исключать следует, о. инспектор... Пусть говорят и пишут, что угодно, я никогда не соглашусь с этим. Может быть, на том камени, который отвергает зиждущий, впоследствии и создается дом велии...

О. Мелетий и на этот раз настоял на своем, то есть не позволил исключить из училища попавшихся бурсаков. Было решено наказать их самым примерным образом. Инспектор, хотя и ожидал такого исхода и даже написал вперед донос на о. Мелетия владыке, но все-таки обиделся и заявил:

— Вы не хотите знать, о. смотритель, только одного: каких трудов мне стоит моя должность... Ведь я не знаю покоя ни днем, ни ночью. Кажется, нет такого средства, которого я не употреблял бы для вящего исполнения моих обязанностей. Но вы сами видите, что все это напрасно... То, что я делаю одной рукой, вы разрушаете другой.

— Я хорошо знаю, что вы стараетесь по службе,— уклончиво ответил о. Мелетий и прибавил про себя: — Заставь дурака богу молиться, так он и лоб себе разобьет...

Бурса уже, конечно, успела пронюхать о решении о. Мелетия и с стоицизмом ожидала сугубого наказания. Патрон уверял всех, что стоит только закусить до крови губу и тогда ничего не почувствуешь; Отлукавого сомневался в действительности такого средства и предполагал «надуться» перед самой экзекуцией, то есть набрать

больше воздуху и в таком виде отдаться в руки карающей Немезиды.

— Все равно, как барабан сделаешься,— добродушно уверял он.

Епископ трусил больше всех и потихоньку от всех смазывался каким-то таинственным составом, который, по его мнению, делал кожу совсем нечувствительной. Насколько Епископ не жалел других, настолько щадил свою собственную особу. Это общая черта всех тиранов и тиранчиков. В ушах Епископа уже раздавался свист лоз, и он отдельно от других пожертвовал Сидору масла.

Первый класс сегодня как раз был занят пением, и бурса на свободе могла обсудить свое положение, которое с каждой минутой приближалось к роковой развязке. Дьякон Омега, как всегда, был в самом благодушном настроении и гонялся за учениками с линейкой в руках. Шлифеичка успел завернуть живую мышь в бумажку и спустил ее в карман Омеги.

— Отец дьякон, позвольте платочка высморкаться?— просил Патрон, принимавший, конечно, самое живое участие в проделке Шлифеички.

Омега догадался, в чем дело, и быстро выдернул из кармана платок. Мышь вылетела из бумажки и стрелой помчалась под парты.

— Ах, шельма,— ругался Омега, бросаясь с кулаком на Патрона, который в это время успел уже не хуже мыши нырнуть под парты

Когда раздался звонок, бурса присмирела. После короткой перемены следовал класс латинского языка, которому учил инспектор. Значит, теперь должна была вырешиться окончательно судьба табакуров. Скоро в коридоре послышались знакомые тяжелые шаги, и бурса замерла в ожидании. Инспектор вошел среди мертвой тишины и после молитвы в торжественном молчании прошел на свое место. Он нарочно медлил, чтобы усилить впечатление. Потом достал из кармана батистовый платок, высморкался и, не торопясь, спрятал его опять в карман. Бурса подобрала животы со страху: такие приготовления не обещали ничего доброго. Она вздохнула свободнее только тогда, когда Сорочья Похлебка развернул журнал и начал выбирать глазами, кого спросить. «Хоть бы скорее спрашивал,— думал всякий.— Семь бед — один ответ».

Наконец, были вызваны на середину класса Дышло и Шлифеичка. Инспектор облокотился на стол и выпустил только одну частичку: «Ну?» Дышло, как заведенное колесо, начал молоть вызубренный урок:

— Sat, satis, abunde, affatim — значит, довольно или достаточно...

Инспектор отрицательно покрутил головой и посмотрел вопросительно на Шлифеичку.

— Sat, satis, abunde, affatim — значит, довольно или достаточно! — выпалил Шлифеичка залпом и остановился.

— Нет...— протянул инспектор и, обратившись ко всему классу, прибавил: — Не знает ли кто-нибудь, что значит sat, satis, abunde, affatim?

Ответом было мертвое молчание и боязливое переглядывание. Все опускали глаза, как только чувствовали на себе пристальный взгляд всевидящего инспекторского ока.

— Эх вы, и этого не знаете,— с улыбкой лениво протянул Сорочья Похлебка, не спуская глаз с опешивших Дышла и Шлифеички.— А между тем дело проще пареной репы. Sat, satis, abunde, affatim значит: «Сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим!»

Эта шутка покоробила бурсу, как самый скверный признак. Сорочья Похлебка не к добру шутил... Епископ читал про себя псалом: «Живый в помощи вышнего...» В это время растворились двери, и на пороге показалась благообразная фигура о. Мелетия. Он шел, слегка покачиваясь и придерживая полки серой камлотовой рясы левой рукой; в правой он держал список табакуров.

— Мне нужно с вами побеседовать, господа,— проговорил о. Мелетий, вызвав по списку Отлукавого, Епископа и Патрона.

Весь класс отлично знал, что значит побеседовать с о. Мелетием, и проводил глазами уходивших бурсаков с тем особенным чувством животного удовольствия, какое испытывает здоровый человек около умирающего. Это протестующий эгоизм человеческого тела, которое ничего не хочет знать, кроме своего собственного существования. В глубине души каждый человек думает: «И я ведь тоже умру, только лучше умереть завтра, чем сегодня»; для бурсы эта мысль в перифразе значила: «И меня ведь

тоже отдерут, только пусть отдерут лучше завтра, чем сегодня».

— На реках вавилонских, тамо седохом и плакохом,— провозгласил Шлифеичка, когда инспектор вышел из класса.

— Мелетий лозой обделает всех,— заметил сосредоточенно Дышло, ковыряя в носу.— Он им засыплет...

Внизу, в помещении карцера, «грешников» ждал уже Сидор с пуком лоз. Патрону пришлось первому испить горькую чашу, и он с неизменным своим фатализмом растянулся на поставленной посреди карцера деревянной скамье. Лоза засвистела в воздухе, но Патрон терпеливо переносил удары. В этом маленьком синеватом теле жил геройский дух, и уж не розгой можно было покорить его.

— Если бы у тебя было такое терпение да на добрые дела,— наставительно проговорил о. Мелетий, когда Патрон, получив свою порцию в пятьдесят лоз, торопливо застегивал некоторые подробности туалета.

— Я не курил, о. Мелетий...— посинелыми губами проговорил Патрон.

— Хорошо, хорошо... Не разговаривай, если не хочешь получить столько же.

Отлукавого, не дожидаясь приказания, сам растянулся на роковой скамье, напрасно стараясь надуться, как барабан. Он с первого десятка закряхтел, а потом принялся кричать каким-то диким, неестественным голосом. Несмотря на вперед полученное масло, Сидор работал с особенным усердием, и кончики розги больно впивались в самые нежные части тела, оставляя багровые полосы. Он только что получил особую инструкцию от начальства и старался оправдать возложенное на его искусство доверие.

— Не курил! Не курил!..— орал Отлукавого, дрыгая ногами.

Когда очередь дошла до Епископа, он заплакал и начал отбиваться руками и ногами от Сидора.

— Позвать сторожей! — скомандовал инспектор.

Явились сторожа и в один прием растянули жирное епископское тело на скамье.

— Ой-ой!.. Не буду! Никогда не буду! — залился Епископ тончайшим, каким-то бабьим голосом.

— Для того и... восемь... наказываем... девять... чтобы... десять... впредь не делал... одиннадцать...— спокойно говорил о. Мелетий, отсчитывая удары.

VI

После экзекуции бурса присмирела и находилась в самом скверном расположении духа. Искусственно равнодушный вид мог обмануть только самых неопытных. Потребность сорвать на ком-нибудь полученную обиду чувствовалось с особенной живостью, и только ждали подходящего случая. Главное, ужасно хотелось насолить Сорочьей Похлебке.

— То есть, кажется, не знаю, что я с ним сделал бы!— кричал Патрон.

— Из-за полена углом хочешь, видно, хватить? — смеялся над маленьким человеком Атрахман.

Шлифеичка напрасно ломал свою хитроумную голову, чтобы изобрести какое ни на есть средство и отомстить Сорочьей Похлебке. В числе других проектов он, между прочим, предложил раздавить его, как крысу в западне.

— Как же это ты устроишь? — недоверчиво спрашивала бурса.

— Уж устрою...— задумчиво говорил Шлифеичка, что-то рассчитывая по пальцам.— Нужно достать десяток кирпичей, доску, веревку и несколько гвоздей...

— И дело в шляпе?

— Лучше не надо... Если и не убьет, так все-таки заметку оставит. Будет помнить до морковкина заговенья.

— Однако, как-же ты все это устроишь?

— Очень просто... Доску нужно прибить к потолку у самых дверей, так, чтобы она падала сама на шалнере. Потом нужно вколотить гвоздь, а через него пропустить веревку, а веревкой и привязать тот конец доски, который упадет. Ну, а на доску накладем кирпичей... Как Сорочья Похлебка только станет отворять двери, кирпичи и посыплются к нему на голову.

— Да ведь доска привязана будет веревкой? — недоумевал крепкий на голову Дышло.

— И пусть привязана, а тут все развяжется. Понимаешь, такой узел сделаем, что как дверь будет отворяться, она сама и развяжет узел.

Бурсе этот грандиозный проект очень понравился, но привести его в исполнение ей не пришлось. Это случилось как-то само собой, невзначай.

В субботу, сейчас после всенощной, в домовой училищной церкви, когда ученики парами выходили в коридор, инспектор долго стоял на амвоне, отыскивая кого-то глазами. В его голове тоже созрел план, только не против бурсы, а против о. Мелетия. Бурса должна была явиться только средством в выполнении этого плана. Дело в том, что донос, поданный инспектором на о. Мелетия, получил обратное действие, то есть владыко пригласил о. Павла к себе, отругал его за непочтительность к старшим и особенно к непосредственному начальству и потребовал, чтобы он, о. Павел, извинился перед смотрителем. Хотя все это и происходило домашним образом, келейно, но это не мешало о. Павлу чувствовать всю тяжесть полученного афронта. Не зная, что ему предпринять, он обратился к келейнику владыки, всесильному человеку, и тот за некоторое посильное приношение дал благой совет: во-первых, не унывать, а, во-вторых, подставить ножку о. Мелетию во второй раз, но уже более серьезным образом: тогда владыко «отринется» от Мелетия.

Проводив глазами уходивших в столовую бурсаков, инспектор в раздумье отправился по коридору домой. Когда он спускался уже в нижний этаж, из одной двери выскочил Фунтик. Он опешил от страха и немного попятился назад.

— Ты чего тут делаешь? — спрашивал ласково инспектор.

— Я... я забыл платок...

Мальчик смешался и покраснел. Инспектор улыбнулся и, оглянувшись осторожно кругом, ласково проговорил:

— Когда все лягут спать, ты приди ко мне... Или лучше приходи сейчас после ужина. Да сделай так, чтобы никто тебя не заметил. Понял?

— Понял.

— Придешь?

Фунтик потупился и едва слышно ответил: «Приду...»

— Ну, а теперь ступай скорее в столовую,— уже громко приговорил инспектор.— Бурсаки съедят всю кашу без тебя...

Когда Фунтик и инспектор ушли, из ближайших дверей показалась торжествующая физиономия Епископа. Он подслушал весь разговор.

— Так вот оно как..— прошипел Епископ, направляясь к столовой своей развалистой походкой.— Ловко...

Все время ужина Епископ хранил упорное молчание и ни на кого не смотрел.

— Чего ты надулся, как мышь на крупу? — спрашивал Епископа Шлифеичка.— Погоди уксусом-то торговать...

Епископ величественно промолчал, набивая рот гречневой кашей.

После ужина, когда бурса разошлась по спальням, Епископ с таинственным видом сообщил Патрону:

— Вот иди сюда к окну и смотри во двор.

— Да чего я там не видал? — окрысился Патрон.

— Говорят тебе: смотри...

На дворе делалось уже темно. Патрону скоро надоело неподвижно сидеть на подоконнике, и он начал обнаруживать признаки крайнего нетерпения. Но в момент, когда Патрон готов был уже совсем оставить свою позицию, Епископ многозначительно ткнул его в бок и прошептал:

— Видишь?

— Вижу...— прошептал Патрон, провожая глазами маленькую фигуру, которая осторожно кралась около стены по направлению инспекторского флигеля.

— Узнал?

— Фунтик?

— Да...

Фунтик в это время боязливо оглянулся кругом и быстро исчез в дверях подъезда. Епископ и Патрон терпеливо ждали, когда он покажется обратно.

— Видел, как он крался около стены-то? — спрашивал Епископ.

— Надо его хорошенько проучить...

— А вы с Атрахманом тогда еще заступались за него,— корил Епископ.

— Да ведь черт его знал, что он ябедник...

— А вот я так знал...

— Так бы и говорил раньше, если знал.

— Эй вы, полуношники, чего тут делаете? — окликнул

бурсаков вылезший из своей коморки Сидор.— Брысь в спальню!

— Молчать, гарнизонная крыса! — зашипел Епископ, вспомнив коварное поведение Сидора.— Масло взял, подлец, а как больно драл... Мы тебе ноги переломаем, Сидорка. Слышишь?

— Масло я точно что получил... это верно,— сознавался Сидор, почесывая в затылке.— Только мне инспехтур тогда строго-настрого заказал отполировать вас начистоту... Уж я не виноват, братцы!

— Ах ты, кислая шерсть! Нет, брат, тебе теперь вот какое масло будем давать,— проговорил Епископ, показывая фигу.

— Что же, вам же будет хуже,— ухмыльнулся Сидор.— Ну, брысь по местам... Чего тут разговаривать попусту!

Епископ и Патрон все-таки дождались, когда Фунтик вышел от инспектора и, крадучись, пробрался в свою спальню. Известие, что поймали ябедника, произвело поразительный эффект в Лапландии. Бурса, как оглушенная рыба, не знала даже, что следовало предпринять по такому исключительному случаю.

— Да ты расскажи, как ты их подкараулил? — догадались, наконец, спросить Епископа.

Рассказ Епископа только усилил впечатление. Очевидно, что здесь крылся целый заговор, а не случайная ябеда. Если Сорочья Похлебка обратился прямо к Фунтику, значит, он рассчитывал на него, значит, и раньше у них было кое-что. Бурса удивлялась собственному легкомыслию, а больше всего тому, как это раньше не подумала об этом и даже осмеяла мнительность Епископа. Чувство наболевшей злобы теперь нашло себе выход, и бурса наслаждалась перспективой возмездия.

Припомнили, кстати, разные случаи из прошлого, когда Сорочья Похлебка нападал на бурсу врасплох. Теперь было ясно для всех, как это происходило. Негодование росло с каждой минутой, и никто даже не задал себе вопроса, зачем звал инспектор Фунтика. Презрение к Сорочьей Похлебке было так велико, что все глубоко верили в самые несообразные и дикие предположения.

— Хорош, однако, гусь!..—с негодованием восклицал Патрон. Он в своем лице переживал все то несмываемое оскорбление, которое нанес Фунтик не только бурсе в ее

настоящем составе, а всему прошлому бурсы, самым заветным и дорогим для нее преданиям.

— Что мы с ним будем делать? — спрашивал Отлукавого.

— Известно, что...

— Чугунный Апостол и Клешня одного ябедника завязали в мешок и вывесили на целую ночь за окно,— рассказывал Дышло. Он вообще в критических случаях жизни не столько полагался на собственную логику, сколько на силу прецедентов.— А другого купали в бочке с водой... Тот было и подох, да потом откачали.

— Захлебнулся?

— Да.

— Хорошо и подушечками сначала попробовать,— осклабляясь, заметил Епископ,— а пожаловаться не на что. Главное — знаков не оставляет!

— Нет, тут мало подушками,— возражал Патрон.— Нужно такую встряску прописать, чтобы и другим заказал ябедничать-то...

— Мы его на воздуси подымем! — провозгласил Шлифеичка.

— На воздуси, да хорошенько,— подтвердил Атрахман, который чувствовал теперь особенное озлобление к несчастному Фунтику.

VII

За Фунтиком был устроен самый тщательный надзор, так что бурсе положительно был известен каждый его шаг, каждое слово. Епископ выслеживал зверя с особенным старанием. Мальчик, ничего не подозревая, продолжал держать себя, как и раньше, хотя не мог не заметить, что товарищи по классу как будто сторонятся от него. Даже Матрешка, пользовавшийся общим презрением, и тот точно избегал Фунтика.

«Неужели кто-нибудь видел, как я ходил к инспектору?» — мелькнула в голове мальчика мысль, и эта мысль оледенила его.

Собственно, инспектор ничего не узнал через Фунтика. Мальчик отказался полным незнанием, а когда инспектор пригрозил ему розгами — расплакался. Тем дело и кончилось. Но это не помешало инспектору пригласить Фунтика во второй раз и, конечно, при такой же таинст-

венной обстановке. Таким образом, несчастный ребенок попался среди двух огней: не послушаться инспектора — придется плохо, послушаться — еще хуже. Но Фунтик уже настолько проникся идеями бурсы, что даже не мог себе представить, как он будет рассказывать что-нибудь про товарищей, то есть ябедничать. Однако пришлось идти к инспектору и во второй раз. Фунтик знал, чем он рискует, но разве он мог не идти? Бедный ребенок с крепко бившимся сердцем прокрался опять в инспекторский флигель и тихо кашлянул в передней.

— Это ты? — тихо спросил инспектор. — Иди сюда... Да не бойся ничего, я тебя не дам в обиду.

Маленький уютный кабинет инспектора был убран, как игрушка. Окна были закрыты спущенными сторами; на письменном столе, под зеленым шелковым абажуром, горели две стеариновые свечи. Свет от них мягко падал на кучку бумаг, которые лежали на одном конце стола, и ярко блестел на красивом пресс-папье из уральских камней. В бронзовой пепельнице дымилась сигара, которую инспектор только-что успел вынуть изо рта.

— Ну садись... — предложил инспектор, указывая Фунтику на стул.— Опять ничего не знаешь?

— Нет.

Инспектор пытливо посмотрел на испуганное, побледневшее личико Фунтика и подумал: «Нет, его не следует запугивать, а то ничего не добьешься...»

— Ты, пожалуйста, не бойся меня,— старался он успокоить своего гостя.— Я ведь не для себя хлопочу, а для вас... Ведь большие ученики бьют маленьких? Ну, например, тебя? Да? О, я по глазам вижу, что бьют...

— Нет, не бьют,— твердо ответил Фунтик.

— Ах, какой ты... Зачем ты обманываешь меня? Этакой маленький, а обманываешь.

— Я не обманываю...

— А водку пьют? Ведь пьют... а?

Сколько инспектор ни пытал Фунтика, однако и на этот раз ничего не мог добиться от него.

— Ну, ступай теперь домой,— сказал он, наконец, когда уже самому надоело продолжать бесполезный допрос.— Да, смотри, не попадись кому на глаза, а то тебя еще, пожалуй, и поколотят...

Фунтик отправился в обратный путь. Осторожно миновав столовую, он вошел в маленькую дверь, которая

вела в нижний коридор и отделялась темными сенями от лестницы вверх. Фунтик не успел сделать двух шагов по сеням, как в темноте чья-то сильная рука схватила его прямо за лицо и зажала рот. Потом несколько рук подхватили его маленькое тело и, как перышко, быстро потащили в верхний этаж. Фунтик хотел крикнуть, попробовал освободить одну руку, но это усилие было просто жалко в тех железных клещах, в которых находилось теперь маленькое тело Фунтика. Мальчик понял, куда его тащат, и от страха закрыл глаза. Когда его втащили в третий этаж, он заметил только, что тащившие его бурсаки были все в одном белье, босиком и в бумажных масках, из которых страшно сверкали темные отверстия для глаз.

— Я не ябедничал!...— вскрикнул Фунтик, когда его втащили в Лапландию и, как кошку, бросили на кровать.— Я...

Этот детский крик, крик самого отчаяния, жалко потерялся в глухом шуме засвистевших в воздухе подушек. Наказание подушками в бурсе считалось одним из самых страшных. В каких-нибудь полчаса с самым крепким человеком делалась страшная рвота, а потом обморок. Фунтик очень скоро замолк под ударами подушек.

— Стой! — крикнул Епископ.

Бедный мальчик лежал на кровати без чувств. Один из бурсаков набрал воды в рот и спрыснул его. Фунтик очнулся и страшными глазами посмотрел кругом: пароксизм рвоты несколько облегчил его, и он слабевшим голосом крикнул:

— Я не ябедник!.. Я не ябедник!

— На воздуси поднимай! — скомандовал тот же голос.

Двенадцать рук схватились за одеяло, на котором лежал Фунтик, и ребенок полетел под потолок. Он с криком хватался маленькими ручонками за края одеяла, за державшие одеяло руки, но каждый раз опять летел кверху и с новой силой, со стоном падал в одеяло. Вся комната и метавшие люди давно кружились в глазах Фунтика, и он с каждым взмахом начинал стонать слабее и слабее.

— Отпускай...

Двенадцать рук в последний раз подбросили Фунтика кверху, а затем быстро выдернули из-под него одея-

ло. Маленькое тело перевернулось несколько раз в воздухе, а затем прямо грудью пало на край железной кровати. Фунтик захрипел и мертвым движением сунулся прямо головой на пол. Изо рта у него хлынула кровь, мертвенная бледность разлилась по лицу. Палачи растерялись в первую минуту, а затем начали приводить в чувство маленького мученика.

— Я... не ябедник... — едва слышно прошептал Фунтик, хватаясь руками за разбитую грудь.

Его вспрыснули несколько раз водой, обтерли кровь и снесли в спальню первого класса.

— А ведь мы его тово... — задумчиво говорил Шлифеичка, почесывая в затылке.— Кабы плохо не было...

— Чего плохо-то?

— Да ударился он о кровать прямо грудью, и кровь пошла... Пожалуй, еще помрет.

— А пусть дохнет, — решил Епископ. — Собаке собачья и смерть...

Как бурса ни бодрилась и ни утешала себя, однако она провела очень тревожную ночь, с нетерпением ожидая, что скажет утро. Шлифеичка проснулся первым и сейчас же побежал в спальню первого класса. Фунтик лежал с посинелым лицом и с запекшимися губами.

«Умер»,— мелькнуло в голове Шлифеички, и он опрометью вылетел из спальни.

— Братцы, Фунтик-то умер... — побелевшими губами прошептал Шлифеичка, влетая в Лапландию. — Своими глазами видел... синий лежит... кровь...

Бурса опешила. Все переглянулись. Епископа передернуло.

— Как же это так? — растерянно заговорил Отлукавого. — Вдруг...

— Вот что, братцы, — предлагал Патрон, — главное, не тухни и не сдавайся Сорочьей Похлебке. Знать ничего не знаем, и кончено! А если кто развяжет язык, тому голову отвернем. Согласны?

— Согласны!

— Ну, теперь держись только крепче за землю, а чему быть — того не миновать...

— Эк, подумаешь, угораздило... а?! — проговорил Отлукавого, сердито поглядывая на Епископа.

В это время в коридоре загремел утренний звонок,

Сидор подходил по порядку к дверям и долго звонил своим медным колокольчиком. В спальнях, все зашевелилось и загудело, как белый муравейник. Заспанные фигуры, в одном белье, на босу ногу торопливо бежали в умывальную и на ходу утирались полотенцем.

— Сидор, у нас больной... — нерешительно остановил сторожа маленький бурсак.

Сидор, как деревянный манекен, зашагал в спальню первого класса. Маленький бурсак привел его к кровати Фунтика. Сидор даже отступил при виде ужасной картины.

— Да кто это? — спросил он, протирая глаза.

— Фунтик...

Сидор разом опомнился, по-солдатски сделал налево кругом и быстро полетел с докладом к инспектору, который еще спал.

— Убили, ваше благородие!.. — растерянно проговорил Сидор, когда инспектор вышел в переднюю в расшитом шелками халате.

— Кого убили? Кто убил?

— Не знаю... убили.

— Дурак! Да где убили?

— В спальне первого класса...

— Когда?

— Не знаю... Надо полагать, ночью. Я ничего не слыхал...

Инспектор быстро надел подрясник и сапоги и без шляпы побежал через двор в училище. Всю бурсу известие об убийстве уже облетело, как молния.

Инспектор приложил ухо к груди Фунтика. Жизнь еще тлелась в этом разбитом маленьком теле, хотя дыхание едва было заметно. Сидор был немедленно отправлен в инспекторский флигель за гомеопатической аптечкой, а Фунтика в это время перенесли в нижний этаж, в угловую комнату, которая официально была известна под именем больницы. Больного раздели и сейчас же осторожно натерли арникой; он на секунду открыл отяжелевшие веки и опять впал в прежнее состояние.

— Он жив, — проговорил инспектор, отсылая сторожей. — Вероятно, упал с лестницы... Грудь, кажется, разбита.

Холодные вспрыскивания и нашатырный спирт заста-

вили Фунтика очнуться. В этот момент в больницу торопливо входил о. Мелетий.

— Вот, полюбуйтесь... — жестко заметил инспектор, смеряв о. Мелетия нахальным торжествующим взглядом; он давно уже успел сообразить всю выгодность своей позиции, то есть, что бурса теперь окончательно была в его руках, а вместе с ней и о. Мелетий.

— Что с ним такое? — торопливо спрашивал о. Мелетий, наклоняясь над Фунтиком.

— Бурсаки избили... Посмотрите на грудь.

О. Мелетий осторожно раскрыл ворот рубашки больного и даже отступился: во всю ширину груди Фунтика шла синяя полоса с багровым подтеком. Смотритель причмокнул губами и несколько раз потер рукой вспотевший лоб.

— Если бы мы исключили их, этого не было бы,— продолжал инспектор.— Я предупреждал вас, а теперь дело уголовством пахнет.

— Да ведь он жив?

— Дня два, вероятно, протянет...

— А не знаете, кто его избил так?

— Нет... Видите, в каком он положении. Впрочем, может быть, очнется, тогда можно будет спросить.

Холодная примочка к голове и несколько вспрыскиваний, действительно, заставили Фунтика очнуться. Ребенок безучастно посмотрел кругом мутными глазами и попросил пить.

— Что у тебя болит? — спрашивал о. Мелетий, наклонясь к больному.

Фунтик не понимал вопроса и смотрел на о. Мелетия остановившимся взглядом. Потом он как-то вздрогнул всем маленьким телом и тихо застонал.

— Тебя били бурсаки? — спрашивал инспектор.

Фунтик испуганно оглянулся кругом и отрицательно покачал головой.

— Нет... — едва слышно вылетело из его разбитой груди. — Упал... с лестницы...

Инспектор улыбнулся и проговорил:

— Видите, он боится сказать правду...

О. Мелетий ничего не ответил, а только покачал головой. Положение выходило очень некрасивое. Конечно, инспектор донесет о всем случившемся владыке, а там заварится такая каша, что и жизни будешь не рад. Од-

нако, хотя инспектор и торжествовал над несчастным о. Мелетием, но не рассказал ему, как он приглашал к себе Фунтика по вечерам.

VIII

Неожиданная болезнь Фунтика для училищного начальства явилась божеским наказанием, хотя о ней из чувства самосохранения старались не говорить никому. Даже доктора не пригласили. Инспекторские крупинки были дешевле и удобнее. Все дело могло кончиться домашним образом. Инспектор слишком понадеялся в первую минуту на подвернувшийся случай подставить ножку о. Мелетию. Фунтик несколько раз приходил в сознание и каждый раз повторял, что он сам упал с лестницы и ушибся. Таким образом, в руках инспектора не было главной нити. Произведенное строжайшее следствие ни к чему не повело, потому что вся бурса заперлась, как один человек.

— Очень может быть, что он упал с лестницы,— повторял несколько раз о. Мелетий.

— Предположим, что упал, — соглашался инспектор. — Но каким образом он добрался с разбитой грудью до своей койки?

— Очень просто: сгоряча даже смертельных ран люди не чувствуют... В «Епархиальных ведомостях» напечатан был один такой случай с солдатом, которому оторвало ядром ногу, а он подумал, что оступился в яму.

— Все это сказки, о. Мелетий. Уж поверьте мне, что это дело бурсаков. Я знаю их хорошо и насквозь вижу...

— Если вы так хорошо их знаете, отчего же вы не предупредили этого случая?

— Я предупреждал вас...

— Да ведь вы с пустяками все приставали... Из-за табаку хотели исключить учеников, а это совсем другое дело.

— Одно с другим вяжется, и я всего знать не могу. Я не бог... Это дело необходимо скорее доложить владыке, пусть он рассудит нас. Необходимо очистить училище от плевелов, о. Мелетий.

— Знаю, знаю... Много раз слыхал,— задумчиво

говорил смотритель.— Вот меня не будет, тогда очищайте... Хоть всех гоните. Только сиротские слезы вам не пойдут впрок, о. Павел.

Отец Мелетий очень хорошо понимал всю ложность той системы, которая практиковалась в преобразованных духовных училищах, из которых гнали учеников на все четыре стороны сотнями. Этой мерой хотели поднять нравственный и умственный уровень духовно-учебных заведений и в то же время оставляли внутреннюю жизнь бурсы и бурсацкую науку нетронутыми. Бурсацкая закваска оставалась и только меняла форму. Отец Мелетий понимал, что это гонение на бурсу не приносило никому пользы, а губило многих. Все-таки, как ни плоха была бурса, а из нее выходили люди, очень небольшой процент, но все-таки выходили. Новая система лишала сирот духовного звания разом двух прав — права на воспитание и права на образование. Отец Мелетий никак не мог помириться с такой несправедливостью, которая являлась следствием какой-нибудь детской шалости; он предпочитал старую систему, которая, несмотря на всю видимую грубость и даже жестокость, была неизмеримо гуманнее. Собственно, последняя система, то есть система исключений, упрощала только обязанности начальства и учителей до минимума.

Это неопределенное положение дела скоро разрешилось. К вечеру Фунтику сделалось хуже, и он начал бредить. То, что скрывалось в этой маленькой душе, теперь выплыло наружу и вылилось в бессвязном детском лепете. Смотритель и инспектор были единственными свидетелями этой тяжелой исповеди.

— Я не ябедничал... я не ябедничал! — отчаянно вскрикивал Фунтик, хватаясь ручонками за раму кровати; ему казалось, вероятно, что бурса хочет опять поднимать его «на воздуси».

— Слышите о. Мелетий?— шептал инспектор.— Его считали за ябедника и колотили.. Я все знаю, я вам говорил.

— Дышло... не тронь меня... больно,— умолял Фунтик, обращаясь к о. Мелетию. — Я не хочу играть в городки... у меня рука болит...

— Посмотрите руку, — говорил инспектор, вынимая из-под одеяла покрытую синяками и глубокими цара-

пинами руку Фунтика. — Места живого нет... Ах! Разбойники!..

— Но ведь эта рука, как видите, избита по крайней мере дня три назад,— заметил о. Мелетий, внимательно рассматривая глубокие царапины, оставленные ногтями Отлукавого.— И вы этого не знали... Как же это так случилось?

— Атрахман! Заступись за меня,— шептал больной.— Отлукавого так больно меня колотит... Я не ябедник, мама... мама! Я не ябедничал Сорочьей Похлебке!..

— Это кто же такой Сорочья Похлебка: вы или я? — с удивлением спрашивал инспектор, поднимая брови.— Я, кажется, не заставлял никого ябедничать. У меня совсем другая система.

Отец Мелетий записывал карандашом в свою книжку имена, которые выкрикивал Фунтик, и на полях против каждого имени: «бил», или «не бил». Против Сорочьей Похлебки был выставлен знак вопроса.

— Вот жертва вашей системы, о. Павел, — резко ответил смотритель, указывая на Фунтика. — Вы хотели из этого мальчика сделать шпиона, а бурса только предупредила вас... Подумайте, кто настоящий его убийца?

— Все будет зависеть от владыки... — глухо ответил инспектор, зеленея от злости.— Я всегда говорил...

Бурса притихла и замерла. Все со страхом посматривали в конец коридора, где налево была дверь в больницу. Бедный Епископ трусил больше всех; Дышло и Атрахман отнеслись ко всему безучастно. Шлифеичка был занят каким-то новым усовершенствованием изобретенной им для Сорочьей Похлебки мышеловки. Патрон фатально махнул на все рукой и ходил по училищу «гоголем», заложив руки в карманы и равнодушно поплевывая по сторонам. Такое расположение духа Патрона было прервано только вмешательством Отлукавого, который в одну из таких прогулок подставил ему свою длинную ногу. Патрон кубарем покатился по полу и, поднявшись, с перочинным ножом бросился на своего обидчика. Отлукавого дико хохотал, размахивая своими длинными руками. Патрон забрался на парту и с этой высоты успел нанести ножом глубокую рану... в икру длинной ноги Отлукавого.

— Ай да Патрон! — хвалила смельчака бесшабаш-

ная бурса. — С парты да прямо в ногу попал... Молодец мужчина!..

— Отходит... Фунтик отходит! — пронеслось по училищу, когда по коридору о. Мелетий прошел в эпитрахили с требником в руках.

— Семь бед — один ответ, — шептал Патрон, подмигивая побледневшим приятелям.— Чего вы трусите, дураки?..

— Драть будет Мелетий всех,— со вздохом заметил Епископ, боязливо оглядываясь кругом.

Маленькие бурсаки, не смея дохнуть, сидели в занятной и неистово «сверлили» свою порцию науки к завтрашнему дню. Им уже было известно, что Фунтик ябедник и что его поднимали на воздуси. Авторитет старших бурсаков теперь поднялся на небывалую высоту: в глазах маленьких бурсаков это были сказочные герои и богатыри, которым все возможно. Никому и в голову не приходило открыть начальству имена убийц и обстоятельства дела. По обычаям бурсы одно слово ябедник ставило человека вне закона, и теперь никто не жалел Фунтика.

— Кончился... — проговорил Сидор, отворяя двери в занятную.— Вот ужо, будет вам, подлецам, баня. Ступайте к инспектору, спрашивает старших.

Старшие, не глядя друг на друга, поднялись с мест и покорно последовали за Сидором в один из классов. Там инспектор и смотритель ждали их со спокойным видом людей, решившихся добиться своей цели. Епископ успел заметить пучки свежих розг у печки и двух сторожей у дверей; у него екнуло сердце от страху. Бурсаки кучкой предстали пред грозные очи начальства; впереди всех храбро стоял Патрон, рядом с ним Отлукавого. Остальная братия смиренно пряталась за ними.

— Я все знаю... решительно все,— начал было инспектор, но о. Мелетий остановил его движением руки.

— Кого у вас зовут Дышлом? — спросил о. Мелетий, заглядывая в свою книжку.

Бурса глухо молчала, переминаясь с ноги на ногу.

— А Патроном?

— Это вот его, ваше высокоблагословение,— ответил Сидор, указывая на Патрона.— Настоящий Патрон, как есть...

— Врешь, гарнизонная крыса...— проворчал Патрон.

— Епископ... — читал о. Мелетий в книжке. — Который Епископ?

Бурса опять молчала; но Сидор показал Епископа. Таким же образом были раскрыты остальные клички.

— А Сорочьей Похлебкой вы кого называете: меня или о. инспектора? — спрашивал о. Мелетий, причмокивая губами.

— Инспектора, — смело ответил Патрон.

— Так-с... — протянул о. Мелетий. — Ну, мы с тебя, Патрон, и начнем. Сидор...

— Чего изволите?

— Будь готов...

— Слушаю-с...

— Ну-с, Патрон, расскажи, как было дело, — начал о. Мелетий. — Вы все ведь били Фунтика. Да?

— Нет, Фунтика никто не бил, о. Мелетий,— бойко ответил Патрон, глядя прямо в глаза смотрителю.

Сколько ни лупили геройское тело Патрона, он стоял на своем и все твердил, что знать ничего не знает. Его, наконец, отпустили. Дышло и Отлукавого испили ту же горькую чашу и тоже не выдали себя. Очередь оставалась за Епископом, Атрахманом и Шлифеичкой. Отец Мелетий посмотрел на них испытующим оком и внушительно проговорил:

— Вы видели, как наказывают нераскаянных грешников... А вас я накажу сугубо, поэтому признавайтесь за благо-время. Если сознаетесь, я не буду сегодня наказывать вас...

— Я, ей-богу, отец смотритель, ничего не знаю... — плаксиво заговорил Епископ.

— Я спал, — отозвался Атрахман.

— У меня болела голсва...— врал Шлифеичка, расстегивая вперед пуговицы казенных невыразимых...

Отец Мелетий посмотрел на эту отчаянную троицу, покрутил головой и еще раз справился с своей книжкой.

— Хорошо, я с вами еще побеседую на днях, — проговорил он, чмокая губами. — Подумайте хорошенько на досуге о содеянном преступлении.

Такой оборот дела настолько поразил всех, что бурсаки только переглянулись между собой.

— А вы,— строго обратился о. Мелетий к Дышло, Патрону и Отлукавого, — вы будете попеременно читать

над покойником все три дня... Раскайтесь во всем, время еще не ушло, а то хуже будет.

IX

Покойник лежал в больнице, на длинном обеденном столе, который принесли из столовой. Маленькое пожелтевшее тело Фунтика как-то жалко терялось под грубыми складками казенной простыни, восковое лицо с запекшимися синими губами и обострившимся носиком еще хранило в себе следы предсмертной муки, застывшей в сдвинутых бровях и залегшей черной тенью около глаз и вокруг рта. Бурса, в первую минуту, когда увидела покойника, немного смутилась, но это нерешительное состояние продолжалось всего одну минуту.

— Дураки... — прогудел Дышло, сплевывая сердито в сторону.

— А что?— спрашивал Отлукавого, неприязненно и со страхом поглядывая на посиневшую руку Фунтика, которая выставлялась из-под савана.

— Дураки... Нужно было на нитку его посадить, — угрюмо ответил Дышло.

— А ведь действительно... Ах, черт его возьми! — согласился Патрон. — Сначала подушками, а потом на нитку... В голову тогда не пришло.

— При Чугунном Апостоле всегда ябедников на нитку садили, — припомнил Дышло.

Последнее наказание было одним из самых жестоких измышлений бурсацкого мозга и практиковалось в течение десятков лет. Оно заключалось в следующем: брали длинный крепкий шнурок, продевали его виновнику сквозь язык и в таком виде водили ябедника по всему училищу в течение целого дня.

— Важнее бы вышло,— размышлял Отлукавого.— Можно было на нитке водить Фунтика по двору под самым носом Сорочьей Похлебки...

— Поймали оха, теперь не воротишь, — фатально проговорил Патрон.

Начальство ожидало раскаяния со стороны преступников, но результат получился совершенно обратный. Только один Отлукавого испытывал несколько времени что-то вроде угрызения совести, а Дышло и Патрон все время чувствовали себя правыми, даже больше — как люди, честно исполнившие свой долг. Бурса по этому

исключительному случаю проявила свою сущность во всей ее нравственной красоте. Сознание не могло прийти на помощь этим искалеченным людям, которым были чужды самые простые человеческие чувства. Бурсацкая закваска давно вытравила в них все человеческое...

В продолжение трех дней, пока покойник лежал в больнице, он еще раз должен был сделаться свидетелем самых отчаянных сцен. Днем из боязни внезапных вылазок Сорочьей Похлебки, читальщики держали себя осторожно и читали над покойником с грехом пополам. Зато ночью, когда все засыпало в училище, бурса начинала ходить на головах. Появлялись на сцену Епископ, Атрахман и Шлифеичка, а вместе с ними врывалась самая кипучая струя бурсацкой жизни. Епископ облекался в ризу и начинал служить, художественно передавая теноровые возгласы Сорочьей Похлебки; Отлукавого набивал кадило углями и вместо ладана по больнице разносился густой дым жестокой солдатской махры. Это кощунство над покойником и над религией доставляло бурсе постоянное удовольствие, вроде того, какое она испытывала, наказывая «грешников». Мысль о будущем являлась редко и обыкновенно резюмировалась коротко и ясно: «Мелетий будет кожу оттягивать...»

— Пусть дерет, на спине-то не репу сеять, — каждый раз повторял Патрон, встряхивая своей отчаянной головой.

Бурсу смущало немного только одно обстоятельство, именно, почему Мелетий не отодрал сразу Епископа, Атрахмана и Шлифеичку. Догадкам и предположениям не было конца.

— Вот погодите, дайте Мелетию только похоронить Фунтика,— говорил Отлукавого,— тогда он вам три шкуры спустит...

— А вы чем святее нас? — огрызался Епископ.

— Мы? Мы получили свою порцию, а вас Мелетий оставил на прок. Ужо так взлупит, что небо с овчинку покажется.

— И пусть лупит...

Через три дня Фунтика похоронили, и бурса замерла в ожидании грядущей экзекуции.

В течение этого времени училищное начальство со своей стороны переживало самые тревожные минуты. Вопрос сводился на то, кто кого перетянет. Планы инс-

пектора — воспользоваться смертью Фунтика, как средством подставить ножку о. Мелетию, — приводились к исполнению опытной рукой архирейского послушника. Сам инспектор не показывался на глаза владыке, предпочитая оставаться в тени до поры до времени. Между тем по городу начинали уже ходить самые упорные слухи об убийстве какого-то бурсака, и архирейская челядь нюхала чутким носом, не будет ли какой поживы из такого исключительного случая. Все дело кончилось тем, что инспектор успел, наконец, подать владыке донос на о. Мелетия, которого, между прочим, обвинял в смерти Фунтика. Смотритель был вызван в архирейский дом и здесь получил строжайший выговор за слабое управление училищем, а также и необходимую инструкцию, как поступить с убийцами.

Бурса какими-то, только ей известными путями успела проведать весь ход этого дела, за исключением резолюции владыки. Последняя оставалась загадкой. На второй день после похорон Фунтика все дело разъяснилось. Смотритель и инспектор заявились в четвертый класс самым торжественным образом. У бурсы екнуло сердце при одном взгляде на величаво таинственную фигуру Сорочьей Похлебки. Отец Мелетий был бледнее обыкновенного и смотрел кругом покорным, убитым взглядом.

— Не угодно ли будет вам, о. смотритель, прочитать резолюцию,— предложил инспектор, меряя класс уничтожающим взглядом счастливого победителя.

— Нет, уж лучше вы сами прочитайте, о. инспектор, — ответил о. Мелетий, опуская виноватые глаза.

Инспектор откашлялся, еще раз оглянул притихшую бурсу, медленно развернул несколько листов бумаги, свернутых трубочкой, и прочитал с чувством и внушительными паузами резолюцию владыки о немедленном увольнении из училища с единицею в поведении Отлукавого, Дышло и Патрона. Бурса в первую минуту хорошенько не поняла смысла витиевато написанной резолюции и переглянулась, ожидая продолжения, то есть порки. Инспектор поймал этот нерешительный взгляд и пояснил:

— Телесного наказания больше не будет, а воспитанники будут увольняться по мере необходимости. Теперь, для первого раза, увольняются только трое, а пос-

ле... Ну, да сами увидите, что будет после,— прибавил инспектор с самодовольной улыбкой.— Кто попадется в табакокурении, а тем паче в употреблении спиртуозных напитков — немедленно будет уволен из училища. Так и знайте... Лентяям будет то же самое: не хочешь учиться — ступай дрова рубить. Поняли?

Класс ответил мертвым молчанием — все переглянулись, все еще не понимая хорошенько значения инспекторской речи. Мелькнуло несколько недоверчивых улыбок и вопросительных взглядов.

— Как же это так, братцы, — проговорил в раздумье Отлукавого, когда начальство вышло из класса.

— Чего, как же?— задорно спрашивал Патрон.

— Да тово... учились-учились, теперь нас же и по шеям.

Отлукавого в первую минуту никак не мог освоиться с мыслью, что с сегодняшнего дня более не будут нужны ни греческие спряжения, ни латинская грамматика, ни катехизис Филарета. Питание исключительно одними бурсацкими экземплярами, шумная жизнь занятной, мертвящая скука классных занятий и запретные наслаждения по ночам в Лапландии — это был своего рода заколдованный круг, вне которого бурса испытывала себя лишней и ни к чему негодной.

— Нет, ты вот что мне скажи, — кричал Патрон, — поднимали на воздуси Фунтика все, а исключают нас троих... Это несправедливо!

— Подлецы, — гудел Дышло.

— Это все Сорочья Похлебка... Епископа первого надо было исключить, а потом Атрахмана, — размышлял Патрон, отгибая два пальца на руке. — А я еще думал в дьякона после посвятиться, толстую дьяконицу подобрать... Вот тебе и дьяконица!

— Прежде драли,— задумчиво говорил Дышло, припоминая разные случаи из тревожной жизни Клешни и Чугунного Апостола; голова Дышло была уже так самим богом устроена, что мыслительный процесс совершался в ней путем подбора приличных случаю фактов. Мысль Дышло ползла от факта к факту, как по лестнице, и решительно отказывалась подниматься над землей. Это был реалист до мозга костей; он прирос к земле, как растение.

В настоящую минуту все трое исключенных думали

по-своему: Патрон был возмущен несправедливостью начальства и ни на мгновение не задумывался о том, что его ждало за стенами бурсы, — это был человек минуты, всецело растворявшийся в настоящем; Дышло был смущен тем, что не мог подыскать в летописях пропадинской бурсы подходящего прецедента настоящему случаю; если бы таковой прецедент отыскался, он отнесся бы к своему увольнению совершенно равнодушно. Отлукавого, добродушная, увлекающаяся натура, был поражен неожиданностью: он уже сросся с мыслью о жестокой лупке Мелетия и вперед пережил грядущее испытание; теперь Отлукавого чистосердечно жалел оставляемую бурсу и в порыве откровенной грусти вырезал перочинным ножом на многострадальных дверях занятной, на поучение грядущим поколениям:

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест...

Когда исключенные бурсаки вышли за ворота училища, они остановились в раздумье, куда им идти. Раньше об этом как-то никто не подумал.

— Валяй к Порше,— храбро проговорил Патрон, побрякивая медными деньгами, которыми уволенных снабдила бурса на прощанье.

Порша «держал» знаменитый кабак «Малинник». Бурса частенько обращалась к нему по части запретного плода и теперь весело направила свои стопы под гостеприимную кровлю «Малинника».

— А... господам кутейникам, сорок одно с кисточкой! — издали приветствовал Порша бурсу.

— Мы к тебе, Порша... Давай полштофа...

— Н-но?

— Верно!

— Разве здесь пить будете?

— Здесь.

— А начальство будет за это смотреть, откуда у вашего брата ноги растут?..

— Нет, теперь, брат, уже шабаш... все равно.

— Н-но?! — недоверчиво протянул Порша.

— Верно... Нам теперь наплевать на Сорочью Похлебку. Мы теперь вольные казаки, Порша.

— Та-ак... вольные. А чего вы, вольные казаки, жевать-то будете? Рукомесла-то за вам никакого нет...

— Ну, наливай, будет разговаривать-то! — командовал Патрон.

Порша опытной рукой разлил водку по стаканам и улыбающимся взглядом еще раз окинул оборванную троицу. Отлукавого несколько времени не решался выпить своего стакана, вытягивал шею и ежил худыми плечами.

— Первая колом...— говорил Патрон, молодцевато выпивая свою порцию. — У меня покойный отец, бывало, нальет полштоф водки в деревянную чашку, накрошит хлеба да ложкой и хлебает... Ей-богу!..

Через полчаса бурса захмелела и долго горланила песни. Отлукавого и Дышло сидели, обнявшись, в углу и во все горло пели известную бурсацкую песню:

Ах, жестокая фортуна,
Коль мя тяжко обманула...

Патрон вылезал из кожи, стараясь выдержать басовую партию, но скоро охрип и, пошатываясь подошел к стойке. Он несколько времени смотрел на Поршу мутным остановившимся взглядом, потом улыбнулся самодовольно-растерянной улыбкой и проговорил коснеющим языком:

— Порша... а мы ... тово...

— Чего?

— Говорят тебе... ябедника убили... Ве-ерно!.. Ей-богу! Подняли его на воздуси... тррах!.. Он о койку... ябедник-то. Ну, и того — помре... А нас... по шеям... Только, брат, не всех... Епископа помнишь?.. Атрахмана?.. Ну, они остались... потому, Сорочья Похлебка глупее еще тебя... Дда-а...

— Ах вы еретики этакие,— ругался Порша.— Да разве можно человека убивать?

— Мы не человека, Порша, а ябедника убили... Нас, брат, еще не так колотили!.. Ничего... А Сорочья Похлебка... вот мы ей теперь п-пок-кажем... да! Эх жаль, Шлифеички с нами нет, лихую бы шутку придумали... А я, брат, в дьякона хотел, сырые яйца целый год пил...

Поздно вечером три темные фигуры, пошатываясь, подходили к училищу. Они обошли его кругом и перелезли через стену со стороны инспекторского садика внутрь двора. Через четверть часа три окна разлетелись вдребезги, а бурса улепетнула через стену, счастливая своей местью Сорочьей Похлебке.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

У меня был брат. Родители решили, что отдадут нас не в училище, а в гимназию. Это решение было объявлено нам с братом, и мы начали готовиться во второй класс гимназии. Около того времени к нам, в завод, приехал ревизовать приходское училище директор той гимназии, в которую мы готовились. Мой отец был законоучителем в этом училище, а потому ревизор обедал у нас. Отец рекомендовал ему нас, как будущих кандидатов во второй класс. Директор жал отцу руку и говорил, что очень будет рад видеть нас у себя в гимназии. Он даже обещал отцу, что вместо двадцати рублей за право учения он будет брать с нас только по пятнадцати. Директор уехал, мы были довольны таким участием с его стороны и с надеждой смотрели на будущее.

Однажды отец получил письмо. Он долго читал его вместе с матерью в другой комнате, но нам было слышно, как они о чем-то долго и горячо спорили. Наконец и нас вызвали туда же. Отец сидел на стуле у окна, мать сидела на диване, глаза у нее были заплаканы.

— Ну-с, так что же мы будем делать?— говорил отец, глядя вопросительно на мать.

— Я, право, не знаю, как лучше,— отвечала она тихо, не смотря на нас.

— Я не хотел их отдавать в училище, я готовил их в гимназию.

Мы с братом стояли у дверей и не понимали, что все это значит.

— Ну, куда вы желаете, в гимназию или в духовное училище?— обратился он к нам.

Мы переглянулись и ничего не отвечали.

— Дело в том,— заговорил отец,— что наш дедушка не соглашается с нами и не советует отдавать вас в гимназию. Значит, если я отдам вас туда, он не будет нам помогать, и мне будет нечем содержать вас двоих. Кроме этого, если я умру, то в гимназии вам не дадут готового содержания, и вы будете должны идти куда угодно, на все четыре стороны; в духовном училище в этом случае вас примут на бурсу и будут учить на казенный счет до окончания курса. Затем, содержание в гимназии гораздо дороже, чем в училище, и притом нужно платить за право учения. На все это нужно много денег, которых мне взять негде.

Мы слушали, плохо понимая суть дела, потому что не знали пока разницы между училищем и гимназией. Мать смотрела на нас, и слезы катились по ее щекам, она понимала эту разницу...

Совещание, происходившее в угловой комнате нашего дома, кончилось, и наша участь была решена окончательно, то есть вместо гимназии мы должны были поступить этой осенью в духовное училище. Я думал про себя, что везде люди учатся, значит, особенно беспокоиться не о чем...

Три летних месяца мы готовились вместе с Тимофеичем в пустой школе, наконец, подошли последние числа июля месяца.

В одно прекрасное утро на нашем дворе стояли два экипажа, совсем готовые в путь. В нашем доме была большая суматоха по случаю нашего отъезда. Лошади были запряжены, пожитки наши сложены. Мы отправились все в церковь служить напутственный молебен. О. дьякон, родитель Тимофеича, воссылал к небесам прошения о сохранении рабов божиих в путь шествующих. Рабы божии стояли на клиросе и пели. Тимофеич и брат смеялись и подталкивали друг друга во время службы. На меня молебен произвел сильное впечатление, и я молился от всего сердца, испрашивая себе всяких благ. Молебен кончился, дома уже все было готово к отъезду. Тимофеич ехал вместе с нами, его пришли провожать родные. Мы еще раз помолились вместе все, по русскому обычаю посидев несколько минут перед молитвой. Отец, брат и Тимофеич ехали на переднем экипаже, а я с мамой и братишком маленьким — на заднем. Посыпались прощания и всевозможные пожела-

ния благ на Тимофеича и на нас. Мать Тимофеича стояла и тихо плакала, смотря на отъезжающее детище. О. дьякон тоже прослезился и утирался бумажным клетчатым платком, но с его лица все-таки не сходила улыбка.

— Учись, братец, человеком будешь,— говорил он, улыбаясь сквозь слезы, на прощанье своему сыну.

Под градом сыпавшихся на нас благословений мы, наконец, тронулись в путь. Тимофеич всем махал рукой и горел от нетерпения, как бы скорее ехать. Через полчаса родное гнездо скрылось за горой, и мы тихим шагом потянулись по пыльной летней дороге.

Дорога шла между гор, то спускаясь, то поднимаясь. День вышел жаркий, лошади скоро устали. В гору мы все, кроме мамы, выходили из экипажей и шли пешком. Такое путешествие всем нам нравилось, и никому в голову не приходило печалиться. До города было верст полтораста с лишком, и нам нужно было ехать по крайней мере дня три. Дорогой отец много рассказывал нам.

— Вы счастливы,— говорил он нам,— вам не придется испытать того, что мы переносили. У вас будут книги, у нас их не было; у вас будут хорошие учителя, у нас только зубрили. Вы уже в годах и можете жить своим умом, а нас отдавали учиться восьмилетними ребятишками. Нас плохо одевали, плохо кормили, жили мы в сырых и темных комнатах; вам этого не придется испытать и потому вам легко будет учиться.

Мы слушали, навострив уши. Отец дополнял наши сведения, говорил, что не нужно трусить на приемных экзаменах, а то все наши знания пойдут прахом. Он нам говорил, что если мы будем хорошо учиться и перейдем в семинарию, то из философского класса можно будет выйти и поступить в университет и что в университете можно выучиться на казенный счет. Мы слушали и думали о приемных экзаменах.

На четвертый день нашего путешествия из-за соснового бора показался город. Мы с братом в этом городе уже бывали, так как наш дед с материной стороны жил от этого города всего в шестнадцати верстах. Красиво раскинулся город перед нашими глазами. День был солнечный, все кругом ликовало. Ярко белели на солнце городские дома, церкви и общественные здания. Тимофеич долго смотрел на город, он, видимо, был по-

ражен представившимся зрелищем. В нашем заводе не было ни одного каменного дома, и наша небольшая деревянная церковь, вся потонувшая в зелени черемух и лип, выглядывала оттуда только одной верхушкой колокольни с высоким шпилем, покрытым белой жестью.

Мы заехали в город, нас сразу охватило городским шумом. Мы невольно притихли, нам всем троим сделалось как-то не по себе от обступивших нас зданий, от едущих и идущих мимо нас людей. Мы глазели по сторонам, как настоящие провинциалы, пальцами указывали на предметы, особенно нас заинтересовавшие. Нам говорили, что пальцами указывать нехорошо, и мы ограничивались только растворением ртов и невольными восклицаниями, вырывавшимися порой из нашей груди.

На следующий день отец всех нас троих повел к смотрителю училища на приемный экзамен. Смотритель встретил нас довольно ласково. Такой прием ободрил нас, и мы приступили к экзамену. Смотритель принимал нас в своей квартире, в небольшой чистенькой гостиной. Начался экзамен. Смотритель сидел на диване; около круглого стола, стоявшего перед диваном, разместились мы. Отец стоял за нами и в минуту опасности выручал нас. Мой брат отличался и отвечал лучше всех. Меня с Тимофеичем подкузмили славянские спряжения. Но мы все-таки все трое были приняты, экзамен сошел для нас очень и очень счастливо, и мы весело отправились в квартиру, где остановились. Отец остался у смотрителя.

Итак, мы были учениками уездного духовного училища. Инспектор привел нас в класс и указал наши места. Мы, как новички, забрались на самую заднюю парту. Около нас кипела самая живая и бойкая толпа, нас окружили со всех сторон, и мы, как пойманные зверьки, искоса оглядывали новых товарищей. Вопросы сыпались на нас градом, и мы не знали, кому отвечать, но вошел учитель, и нас оставили. Я внимательно слушал, что говорил учитель, я старался запомнить его слова, но дело не клеилось у меня, и к концу класса разболелась сильно голова. Кончились классы, и мы шли домой. Помню, как около нас бежали ученики, толкались, кричали, барахтались, падали в пыль на дорогу. Мы шли тихими стопами, как и следовало новичкам. Тимофеич весело поглядывал по сторонам, он чувствовал, что здесь

дело пахнет ребрами, а за этим он не постоит, значит, и дело в шляпе...

После обеда мы отправились осматривать город. У всех троих были деньги, и мы могли их тратить, куда угодно. Мы долго ходили по рынку. Тимофеич купил себе яблоко, а брат накупил себе и мыла, и помады, и гребенку, и многое другое, так что в его кармане сделалось пусто. Он еще что-то хотел купить и попросил у меня денег, но я ему не дал. Сам я себе ничего не купил, потому что берег деньги.

Отец уехал к деду на три дня. Мы утром ходили в класс, вечером занимались у себя в квартире. Брат и Тимофеич преуспевали в науках, а мне не везло, у меня каждый вечер разбаливалась голова, и я не приготовлял свою порцию науки. Через три дня приехал отец узнать, как идут наши дела. Он справлялся о нас у учителей, расспрашивал обо всем нас. К вечеру у меня разболелась голова, и я не мог заниматься. Я лег спать с отцом. Я рассказывал ему все подробно, он меня слушал. Я ему говорил, что не могу понять учителей, что мне трудно вечером готовить урок, что у меня болит голова, и в заключение заплакал. Отец внимательно слушал меня и потом заговорил. Он много говорил, но я не помню всего. Он говорил мне, что ему жаль меня, потому что я такой «худяк», что мне трудно учиться здесь, но что он все-таки должен отдать меня сюда. Так как мне всего было двенадцать лет, а в четвертый класс, в который мы поступили, можно было поступать и восемнадцати лет, то отец решил увезти меня домой еще на два года.

На другой день я уехал домой, брат с Тимофеичем остались в городе...

— Что, братец, видно, убоялся бездны премудрости и возвратился вспять?! — смеялся, по приезде моем домой, о. дьякон, но я соображал, что мне очень выгодно на время убояться этой бездны и пожить дома.

Скоро промелькнули два года в кругу родных, и вот я снова, только теперь уж один, предпринимаю путешествие в училище.

Я помню, было ясное, морозное, осеннее утро. Обоз, с которым меня отправили, двигался до крайности мед-

ленно. Ночью выпал иней, колеса скрипели, дорога замерзла, и меня всю ночь, часов шесть сряду, немилосердно трясло на одной из телег обоза. Утром, наконец, когда обоз полз через сосновый бор, показался город, весь залитый утренним светом. Ярко белели городские дома на утреннем солнышке, высоко к небу поднимались колокольни, блестели шпицы, кричали отчаянно галки. Обоз добрался до постоялого двора. Люди, лошади, телеги, голуби — все перемешалось в одну живую кучу. Я рассчитался с ямщиком и поскорее выбрался из этого живого ада на улицу.

Мне нужно было добраться до квартиры, которую хвалил мне брат. За пятнадцать копеек «ванька» довез меня до места моего странствования, я и со своим имуществом очутился перед большим, старым, деревянным домом с мезонином на верху. Неприветливо смотрел на меня большой дом своими окнами, но мне было не до этого, мне нужно было отыскать свое будущее жилище. Я поднялся на второй этаж и очутился в небольшой, довольно грязной прихожей, где и встретился лицом к лицу с самой хозяйкой квартиры. Это была женщина лет сорока, небольшого роста, с сморщенным лицом. На одном плече у нее было надето какое-то рваное казинетовое пальтишко, в руках она держала пучок лучины. Она пытливым оком окинула мою особу. Я начал свою рекомендацию, что так-де и так, мой брат нахвалил мне вашу квартиру, не оставьте, пожалуйста...

— Ваш брат?..

Я назвал фамилию.

— А, знаю, знаю, он иногда приходил сюда, такой высокой, тоненькой?

— Да.

— Знаю, знаю. Место будет, пойдем.

Из прихожей хозяйка повела меня в большую комнату.

— Вот твои товарищи,— заговорила хозяйка, указывая на толпу мальчиков,— ты будешь пятнадцатым... Прошу любить да жаловать!— обратилась она к ним.

Я сунул свои пожитки в первый угол и оглянулся кругом. Комната была большая и светлая, но в ней было что-то, что сразу отталкивало. Это происходило, вероятно, от того, что комната была давно не белена, на полу был сор и грязь. С первого раза мебель труд-

но было разглядеть, потому что, прежде всего бросался в глаза стоявший около стен ряд ящиков, принадлежавших ученикам. Это все придавало комнате такой вид, что как будто кто-то собрался совсем переезжать отсюда, но еще остался по непредвиденным обстоятельствам на некоторое время. Я огляделся и решил, что жить здесь еще можно. А товарищи уже обступили кругом и допрашивали меня обо всем самым подробным образом. Я отвечал, как умел, и в свою очередь узнал, что классы уже начались и что пора идти в училище. «В училище, так в училище»,— думал я и, поправивши немного свою амуницию, вместе с другими поплелся в класс.

Вот и училище. Большая вывеска золотыми буквами докладывала, что это «Духовное уездное училище». Прошли ворота, зашли на широкий училищный двор. Я оглянулся назад, и мне вдруг сделалось жаль чего-то, мне захотелось воротиться назад, но это было уже поздно, нужно было явиться к смотрителю училища.

О. смотритель, у которого я два года тому назад держал экзамен, принял меня довольно ласково. Он подробно расспрашивал меня обо всем и дал наставление вести себя хорошо.

— А теперь можешь идти в свой класс,— закончил он.

Пройдя большой двор и поднявшись во второй этаж, я очутился в конце длинного коридора, в который выходили двери всех классов. Я зашел в свой класс и был сразу окружен со всех сторон. Меня допрашивали обо всем, осматривали, щупали, и только недоставало, чтобы посмотрели мне в зубы.

— А сколько отец ввалил смотрителю-то?— допытывался особенно нахально один из обступивших.

Я оглянулся. Предо мной стоял приземистый, плотный мальчик, лет пятнадцати. Бойкая физиономия крепко сидела на широких плечах, тонкие губы сжались в какую-то своеобразную вызывающую улыбку, которая так гармонировала ястребиным глазам, в упор смотревшим на меня.

— А тебе что за дело!— ответил я.

— Поди, закатил штуки три красненьких-то!..— При воспоминании о «красненьких» глаза моего оппонента даже как будто немного заискрились, губы искривились в улыбку.

— А хлеба принес? — продолжал он допрашивать.

— Какого хлеба?

— Да вот того самого, который люди-то едят. А завтра принесешь?

— Не знаю.

— А если не принесешь, мы тебя побуткаем!

С последними словами он отошел, но, сообразив что-то, воротился назад и с самым простодушным видом обратился ко мне.

— Ты рябков едал?

Я не знал, как отвечать на такой странный вопрос, и смотрел на спрашивавшего во все глаза. Он разрешил мое недоумение, звонко щелкнув меня по носу и во мгновение ока скрывшись в толпе. Такой оборот дела был слишком неожидан для меня, и потому я счел за лучшее усесться за парту, чтобы не случилось чего похуже.

Я подошел к ближайшей парте — не пустили, ко второй — тоже, к третьей — тоже. Я, наконец, озлился и, ухватившись обеими руками за попавшуюся парту, старался удержать за собой позицию, не обращая внимания на щелчки и щипки, которые сыпались на меня самым щедрым образом. Вероятно, я недолго бы удержался на месте, так как мои неприятели ожесточались все более и более, и в конце концов мне бы пришлось ретироваться самым постыдным образом, но, к моему счастию, в коридоре показался инспектор, и я остался на захваченном месте.

Моментально все очутились на своих местах за партами. В классе водворилась мертвая тишина, так что было бы слышно не только как полетела муха, но самое ее желание лететь. Все съежилось, сгладилось, уничтожилось, все сразу сделалось тише воды, ниже травы. Инспектор зашел в класс, прочитали молитву. Сели. Тихо. В классе была пустыня, словно те шестьдесят голов самого отчаянного народа перенеслись за тридевять земель и даже там от страху притаили дыхание. Инспектор сел. Необыкновенное затишье передало и мне ту панику, под влиянием которой находился весь класс. Мне с каждой новой минутой делалось все более и более жутко, необъяснимый страх забирался в душу и давил дыхание.

Инспектор — священник высокого роста, с бледным

выразительным лицом, которое так эффектно оттеняли черные густые волосы, красиво раскинувшиеся по широким плечам. Он сидел неподвижно на своем месте, ни один мускул не шевельнулся на его лице. Большие черные глаза неподвижно остановились на учениках. Подобное олимпийское состояние продолжалось всего несколько минут, но как они долги показались всем. Наконец, инспектор поднялся и прошелся несколько раз по классу. Все ждали, чем все это кончится.

— Плотников!— резко, отчетливо раздалось среди мертвой тишины.

Плотников поднялся и уставился глазами прямо на инспектора, точно цыганская лошадь, которую доучили до той степени, что она окончательно одурела и может только вытянуть шею, остановить глаза и в этом положении застыть.

— Иди сюда, к столу!

Плотников подошел и встал недалеко от стола, как жертва.

— Ты, Плотников, любишь табак курить?

— Нет!— как ножом отрезал Плотников, а у самого от страху передернуло физиономию, и глаза боязливо забегали по сторонам, точно отыскивая место, где бы поудобнее провалиться сквозь землю.

— Это ты очень хорошо делаешь, что не куришь. А подойди-ка ко мне поближе, да дохни на меня...

Плотников подошел и наклонился над инспекторским носом, но дыхание, вероятно, замерло в груди, и он очутился в положении человека, стоящего на краю пропасти и уже наклонившегося над ней.

— Дохни, не бойся!— поощрял инспектор.

Какой-то замогильный вздох вырвался из груди Плотникова и попал прямо в инспекторский нос. Инспектор поднялся, не говоря ни слова, взял Плотникова одной рукой за волосы, поднял немного от земли и заглянул в искривившееся от страшной боли лицо.

— Так ты меня обманывать, а?.. В который это раз... Ах ты шельма эдакая!— При последних словах Плотников полетел на пол и, перевернувшись раза два, подкатился к партам.

— Так ты не куришь? — спросил инспектор задрожавшим голосом, снова взяв Плотникова за волосы.

— Нет!— отчетливо ответил последний.

При таком ответе физиономия инспектора окончательно исказилась, глаза сверкнули, и он с какой-то яростью накинулся на несчастного Плотникова. Слышно было среди общей тишины, как страшные пощечины сыпались на беднягу, как инспекторские руки переходили от волос к ушам и от ушей к волосам. Плотников не издавал ни одного звука, его голова болталась на плечах, точно чужая, при каждом ударе.

— Вон, негодяй! — закончил инспектор, и Плотников вышел из класса, легонько пошатываясь на ногах.

Весь класс прильнул к партам. Я от страха и глаза закрыл, а сердце в груди так и бьется, так и стучит, точно хочет выскочить. Инспектор большими шагами ходил по классу, он, видимо, был взволнован.

— Петров!

Петров встал.

— Заведеев!

Встал и Заведеев.

— Если да вы,— начал инспектор, грозя указательным пальцем и прищурив левый глаз,— попадетесь мне еще раз! Смотрите, я с вами разделаюсь! Я вам покажу, я вам задам! Вы будете у меня помнить...

Петров и Заведеев, опустив свои головы долу, с трепетом в сердце внимали инспекторскому голосу, превратившись с одной стороны во внимание, а с другой — в безграничное смирение и покорность.

После такого вступления инспектор принялся спрашивать урок. Весь класс вздохнул свободнее, гроза проходила. Мой сосед повернулся ко мне и шепнул тихонько:

— Дай ножичка!

Я подал. Сосед осмотрел нож, рассмеялся и положил его в карман: Я удивился, для чего он у меня просил нож, но у стола поднималась новая история, и нож выскочил из моей головы.

Какой-то бедняга пронадеялся на авось, не приготовил урок, и теперь казнился пред инспекторским лицом. Инспектор выжимал его по всем правилам искусства, но выжимаемый не давал ни капли знания и молчал, как рыба. Я со страхом ждал нового избиения, но дело на этот раз обошлось гораздо проще.

— Довольно, убирайся! Рассчитаемся после...

Это «после» относилось к концу месяца, когда каждому воздавалось по делам его.

Пробили звонок, и первый класс кончился. Инспектор торжественно вышел из класса.

Боже мой, какой страшный гвалт поднялся сейчас же по его уходе! Точно произошло смешение языков, так все разом поднялись со своих мест, заговорили, забегали, заголосили на все лады. После долгого неподвижного сиденья всякое движение было необходимостью.

Мой сосед уселся на корточки на парте и что-то рассказывал собравшимся около него товарищам. Я вспомнил про нож и попросил его назад.

— Какой нож?

— Да тот, что в первые-то часы тебе дал.

— Когда это, чего ты врешь-то?! Ты, братец, видно, спал, да во сне много видел, а с меня спрашиваешь!

— Ты сам врешь. Отдай, мне нужен нож!

— И мне нужен.

— Он мой.

— А я его калю.

Я последнего слова не понял, но все-таки видел, что нож мне не отдают, а потому решил действовать энергично.

— Давай же, говорят тебе, а не то...

— Што «не то»?

— А вот пойду, да скажу инспектору, вот тебе и не то! — озлобился я.

— Так ты, значит, хочешь идти к инспектору на меня ябедничать, а? Братцы, слышите, что он говорит,— он хочет к инспектору....

— Конечно пойду, зачем не отдаешь мою вещь?— горячился я, позабыв всякую осторожность.

— Ну, нет, брат, видно, квинто!

Слова «калю» и «квинто» были изобретением бурсы. При тех смутных понятиях о праве собственности, которые царили в бурсе, эти слова имели такое же значение, какое у дикарей «табу», то есть, если эти слова произносились над какой-нибудь вещью, то это значило, что она переходила в неотъемлемую собственность сказавшего. Я не знал таких порядков и продолжал настаивать:

— Если не отдашь, я, право, пойду...

— Врешь, не пойдешь...

В подтверждение своих слов я вышел из класса и пошел по коридору. Взявший нож струсил, закричал, чтобы я воротился. Нож был у меня, и я сел за парту на свое место.

Эта выходка с моей стороны была в высшей степени неуместна, так как бурса больше всего ненавидела ябедников. Я и сам знал, и мама мне не раз говорила, что я не должен жаловаться на своих товарищей, что лучше стерпеть оскорбление, чем пускаться на такую штуку; но я не хотел жаловаться, а хотел только постращать, а все знания, относительно мнения бурсы о ябедниках, в минуту озлобления совсем выскочили у меня из головы, и я сделал именно так, как не должен был делать ни в каком случае. Дело было сделано, и поправить его было нельзя — бурса почуяла во мне своего врага. Притом такие пустяки, как какой-нибудь ножичек, и из-за него жаловаться... Это крайне удивительно показалось всей бурсе. Она размышляла в этом случае так: ведь рано или поздно кто-нибудь закалит этот нож, так, значит, из-за чего было идти жаловаться. В моей голове такие мудрые соображения никак не хотели укладываться, я знал только одно, что это — моя вещь, и никто не имеет права отнимать ее у меня. Подобное мнение с моей стороны было большим и непростительным заблуждением, как оказалось после.

Ко мне подошел старый приятель, делавший со мной договор о хлебе. Он сел за парту рядом со мной. Вся его фигура была до того характеристична в эту минуту, что так и просилась на полотно. Сколько непонятного злорадства, какой-то затаенной ненависти пробивалось в каждой черте его физиономии, в каждом движении. Но мне было не до наблюдений, так как дела, видимо, принимали дурной оборот.

— Так ты ябедничать, а?!. Ты и на меня скажешь?!. Скажешь ведь? А хлеба-то принесешь завтра, а?

Я хотел отодвинуться от него, но с другого конца парты меня не пускали.

— Подлец ты, вот что я тебе скажу!

С этими словами я получил звонкую пощечину. Драться я не мог, потому сначала, что мой противник был сильнее меня, а затем потому, что дело пришлось бы иметь со всей бурсой, так как она была кровно ос-

корблена в лице одного из своих представителей. Я это отлично понимал и потому не бросился на врага, так как ни победы, ни пощады нельзя было ждать. Я наклонился над партой, чтобы задушить слезы, которые подступали к горлу. Это была первая пощечина в моей жизни, и я не мог отомстить ее, поэтому в довершение полного моего унижения, мои глаза наполнились слезами.

— Ах ты, нюня! — ругнул меня кто-то.

В класс вошел учитель. Я долго не мог успокоиться, потому что размышления самого печального свойства не переставали толпиться в моей голове. Я принужден был кусать губу до крови, чтобы снова не заплакать. Урок был греческого языка, и учитель спросил меня. Я отвечал хорошо для первого раза. Это ободрило меня несколько, но класс кончился, и я снова остался среди моих врагов.

Я еще никогда не чувствовал себя так скверно, как в эту минуту. Мне страшно хотелось куда-нибудь убежать, провалиться сквозь землю, скрыться куда-нибудь, но нужно было сидеть. Мои товарищи не забыли меня и решили поездить на мне. Какой-то большой детина подошел ко мне, схватил за руки и, как перышко, вытащил на середину класса. Сопротивляться не было никакой физической возможности, но я употребил последние усилия, рванулся, но не тут-то было, я был в крепких руках, которые, как клещи, держали мою шею.

— Садись, робя! — закричал кто-то.

В одно мгновение на моих плечах очутилось несколько человек. При диком хохоте и завываниях всего класса потащили меня за шею по комнате. Я упирался, барахтался и, наконец, пал на пол, силы окончательно изменили мне. Наконец меня оставили, и я, пошатываясь, побрел за свою парту. Все были веселы, все были рады чему-то. Пред самым моим носом, как из земли, вырос давший мне пощечину.

— Что, славно? Еще не так проедемся, вперед не ябедничай. Мы тебя еще побуткаем, погоди!..

Я ничего не слыхал, что он говорил мне. Я не плакал, я даже не думал, что со мной и вокруг меня делается, я положил свою голову на парту, как совершенное ненужную более мне вещь, и в таком положении пробыл до самого конца классов. Я не видал учителя, не слышал, что он говорит. Я опомнился только тогда,

когда вышел на улицу. В каком-то тумане бродили мои мысли, я не мог ничего сообразить хорошенько, что со мной делается. Только одно я чувствовал и понимал до боли ясно, что мне гадко, скверно теперь, как никогда еще не бывало.

Осенний день вышел на славу, теплый, ясный. Тихо и как-то задумчиво смотрел на все этот день, он точно прощался с кем. И среди этой тишины и света судьба еще взяла одного человека под непосредственное свое покровительство и дала ему первый урок той мудрости, которая зовется умом-разумом.

Пришли на квартиру. Отобедали. Время от двух часов до пяти вечера считается свободным, и каждый может делать, что ему угодно. Некоторые из учеников ничего не делали и в смертельной скуке слонялись из одного угла в другой. Другие занимались чем-нибудь, что не требовало умственных усилий,— сшивали тетради, обкладывали книги, что-нибудь переписывали и т. п. Большинство же прямо после обеда взялись за книги. Возьмет человек книгу и снует с ней из угла в угол, повторяя во всеуслышание какую-нибудь одну фразу до тех пор, пока она вся целиком не засядет в голове. Потом тоже проделывалось с другой, с третьей и т. д. фразами, и из этих уже фраз составлялся целый урок. Это, господа, голое зубренье...

В комнате стоит глухой шум, точно в пчелином улье или какой фабрике, где все стучит, шумит, вертится. Вот посредине комнаты ходят трое. Закатив глаза, закрыв уши, не переводя духу, стараются они попеременно изобразить вслух, что говорит апостол Павел, Кирилл Иерусалимский и т. д., даже на вопрос, как понимать то или другое, как объяснить,— ответ заучивался наизусть, от слова до слова.

— Ни бо волею бысть, когда человеком пророчество...— слышится из самого дальнего угла, но дальше нельзя ничего разобрать. Видно только, как человек покачивается из стороны в сторону, шевелит губами, закрывает по временам глаза.

— Кто были провозвестники божия откровения?— задает себе один по книжке вопрос.— Адам, Ной, Авраам и др. в полноте же и совершенстве...

— Что ж ты врешь-то!— замечает кто-то.

— Где вру?

— Ну-ка, кто были провозвестники?

— Адам, Ной, Авраам и др., в полноте же и совершен...

— Ну вот и соврал! Я говорил, что врешь... Посмотри-ко в катехизис-то: Адам, Ной, Авраам и др., в совершенстве же и полноте.

— Да это все равно!

— Кабы все равно было, так и было напечатано, а то, видно, не все равно!

Против таких веских аргументов трудно устоять, и приходится заучивать, как напечатано в книжке, потому что сам воздух, окружавший бурсу, был пропитан известной фразой, что «умнее книжки не скажешь».

Время шло. Шум в комнате усиливался все более и более, потому что все больше и больше растворялось ртов, все больше и больше из этих растворенных ртов сыпалось текстов священного писания, грамматических правил, греческих, латинских и славянских слов, которые наводняли комнату невообразимым шумом. Машина была в полном ходу и производила столпотворение на четырех языках в пятнадцать ртов, так как мой еще не участвовал. Представить себе подобную картину, во всей ее силе, может только очевидец: нет красок, нет слов, нет звуков, чтобы изобразить ее настолько ярко, чтобы она была понятна каждому.

Пробило пять часов.

Время от пяти часов до восьми называется «занятными часами» или просто «занятными». В это время все должны сидеть на своих местах, непременно сидеть, даже и в том случае, когда урок приготовлен раньше. Время это самое скучное для учеников, потому что в продолжение дня они порядочно утомятся, а тут необходимость сидеть еще больше увеличивает утомление и нежелание сидеть.

— Удинцев, что у вас задано к завтрашнему дню? — спрашивает старший одного из вновь поступивших.

Удинцев встал, так как сидя отвечать старшему не принято по бурсацкому этикету. Это был мальчик лет десяти, смуглый с умным правильным личиком, с розовыми щеками, с прямым взглядом карих, детских еще глаз. Началось спрашивание. Удинцев не совсем тверд в знаниях. Лицо старшего, прилично случаю, принимает

грозное выражение. Нужно заметить, что самому старшему едва минуло пятнадцать лет.

— Почему не выучил?— спрашивает старший грозным голосом.

Молчание.

— Почему не выучил, спрашивают тебя?!,— воспламеняется старший, точно кто его поджигает.

У мальчика готовы со страху слезы брызнуть из глаз.

— Так ты не хочешь отвечать!— и звонкая пощечина раздалась среди общей тишины.

Удинцев стоит, левая щека горит, крупные слезы дорожкой бегут по лицу.

— Учи, я тебя спрошу немного погодя!— говорит, уходя, старший.

— При многих переходных и непереходных глаголах...—гудит мой сосед в десятый раз одним и тем же тоном, так, что даже во рту пересохло и язык начинает явно заплетаться у него.

Я сидел и смотрел на все, что творилось вокруг меня. Урок к завтрашнему дню был небольшой, но дело было в том, чтобы приготовить его по бурсацкому методу. Дело плохо двигалось вперед, потому что мне в первый раз привелось зубрить, да притом несколько страниц зараз. Учу, учу,— ну, думаю, теперь знаю. Начну повторять — не выходит, забудется одно какое-нибудь проклятое слово, и опять снова. Долго я бился таким образом и, наконец, весь урок, как тяжелый камень, засел в моей голове по всем правилам искусства. После такой тяжелой операции осовелыми глазами смотрел я кругом, какой-то сумбур стоял в голове, скверно и смутно было в душе.

— Я завтра в шесть часов встану утром,— говорит про себя мой сосед, находившийся в таком же состоянии, как и я.

— Разбуди меня, пожалуйста!— взмолился я таким голосом, каким не просит и утопающий вытащить его из воды.

— Ладно!— великодушно согласился мой сосед.

Товарищи по квартире встретили меня гораздо лучше, чем товарищи по классу. Причиной этого было то обстоятельство, что в классе самый задорный и драчливый элемент составляли бурсаки, которых не было на квартире. Забияками бурсаки были по той простой причине, что холодно и голодно было им жить на белом свете, а где же

набраться голодному человеку деликатных манер. Говорят, что сытый голодного не разумеет, может быть; с другой стороны, голодные отлично понимают сытых и всех тех, которые близки к подобному состоянию. Бурсаки видели во мне одного из таких сытых, которые плохо знали, что такое холод и голод, и воспользовались первым случаем, чтобы дать понять в самой элементарной форме, что такое бурса в своей сущности, чем пахнет от нее.

Долго, ужасно долго тянутся для всех эти проклятые занятные часы. Выходить из-за стола могли только ученики последнего класса.

Вот Ермилыч соорудил из крупки папироску, или крючок, как говорят бурсаки, и «прицелился» с ней к душнику печки. С наслаждением тянет он от запретного плода, тянет до слез, тянет до того, пока голова не закружится. Около него стоят человека три и ждут с ангельским терпением своей очереди затянуться. В сенях слышатся шаги. Ермилыч, как ужаленный, отскакивает от печки и бледнее полотна бросается на свое место. Вместо ожидаемого инспектора является хозяйка и зовет ужинать. Все с шумом поднимаются со своих мест, ходят, разговаривают, хохочут. Товарищи смеются над Ермилычем:

— Что, Ермилыч, испугался, а?

— Попадись-ко сам,— отвечает Ермилыч, стараясь улыбнуться, но от недавнего страха губы складываются во что-то очень печальное.

Прямо после ужина начинается общая молитва. Один читал в переднем углу молитву, остальные стояли полукругом за ним. По временам чтение прерывалось пением каких-то псалмов. Я не мог молиться этой официальной молитвой, потому что привык молиться про себя. Молитва кончена, постели постланы, все ложатся спать. Кроватей не полагается, поэтому весь пол в несколько рядов покрыт телами, находящимися в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Но спать никому не хочется, движение нужно молодому телу, но двигаться по головам своих ближних довольно трудно. Идут разговоры.

— Из чего это стекло делается?— спрашивает кто-то.

— Конечно, из соломы,— категорически заявляет старший с такой ноткой в голосе, в которой слышится прямой упрек, что и этого-де не знает человек.

— А какой зверь хвостом пьет?— задачит кого-то Ермилыч, болтая ногами.

— Бобер!— слышится откуда-то, и голова, хихикнув, скрывается под одеялом.

— Тебя не спрашивают, так не сплясывай! — ворчит Ермилыч.

Из-под одеяла показывается кончик носа и часть лица, самая наивная, плутоватая улыбка пробивается в каждой черточке этого лица.

— Ах ты, Шиликун, уже я до тебя доберусь,— смеется Ермилыч над головой, протягивая в ее сторону руку, но голова Шиликуна снова исчезла.

— Ты чего меня трогаешь?— обозлился кто-то.

— А ты, небойсь, стеклянный, разобьешься, пожалуй!..

Но «стеклянный» таким объяснением не удовлетворился и в ответ зацепил обидчика прямо за «холку», то есть за волосы. Дерущихся разняли и, положив обоих, заставили успокоиться. Не спится, руки так и чешутся у всех. Начинается тихая возня в одном месте, которая постепенно усиливается и переходит в общую свалку. Все пошло в дело: подушки, одеяла, руки, ноги и физиономии. Хозяйка, наконец, не может более терпеть, и ее голос слышится из соседней комнаты.

— Да докуда вы будете беситься-то!— вопиет она.

На минуту все утихает, но немного погодя бой загорается с новой силой. Хозяйка клянется Христом богом, что не будь она, если завтра же не пожалуется на всех самому инспектору. Все знают, что это старая песня, которая ни к чему не приведет. Слышится смех.

— Ну, довольно. Спать пора!— решает за всех старший.

Тихо. Слышится усиливающийся храп засыпающих.

Я не спал. Приподнявшись на подушке, я уставил глаза куда-то в угол и в таком положении предался размышлениям. Я был теперь один, с глазу на глаз только с самим собой. В моей голове забродили, зароились мысли, и тихо выплывало наружу все то, что раньше спряталось среди общего шума. Я невольно задумался над своим новым положением. С моей головой начинало делаться что-то очень странное, она начала отказываться служить своему господину верой и правдой, и я долго не мог справиться с своими мыслями, они путались в моей голове, уходили куда-то в сторону, не давая того, что было нужно. Одно было ясно, как день, что попал я в плохие места и попал крепко, что плохо придется здесь жить. Боль-

но отзывалось в моей душе сознание своего положения, и я начал падать духом. И вот незаметно с печального настоящего моя мысль скользнула на прошедшее, недавнее милое прошедшее. Что-то тяжело закопошилось в моей груди, что-то заныло, защемило в ней. И ярко, живо до малейшей подробности встало предо мной мое прошлое, живым укором стояло оно где-то вдали... Теперь только я почувствовал со всей силой все значение и цену этой жизни, теперь только я понял, что я отрезанный ломоть от своей семьи, что я совершенно один, что я совершенно беззащитен среди новых людей. Я отлично понимал, что брошен на произвол людей, которым нет ни малейшего дела до меня, и что я рискую десять раз погибнуть, и никто, ни одна душа, не подаст мне помощи... А те люди, которым я дорог, были так далеко-далеко от меня. С страшною болью сжималось мое сердце от таких мыслей, которые бежали, как спугнутые птицы, без цели, без направления. Я был бессилен в первый раз в моей жизни, я понимал, я чувствовал свое бессилие и горько-горько плакал. Какая-то жгучая, безысходная тоска охватила меня, болезненно билось сердце, с отчаянием уткнул я свою голову в подушку и в таком положении забылся. Душевная буря готова была разорвать грудь от муки, но я закусил подушку и лежал. Какая ненависть поднималась в моей душе к этой новой жизни, какое отвращение к этим новым людям. Безумная, отчаянная любовь ко всему прошлому проснулась с страшной силой, выросла и загорелась так больно, что не было кажется более сил выносить ее, и я пал духом, пал до полного отчаяния.

И летят, летят болезненно настроенные мысли, летят далеко, летят туда, где стоит старый дом и так приветливо смотрит на всех своими большими окнами... Возьмите своего сына, зачем вы его сюда послали?!. Посмотрите, как ему больно, тяжело... Неужели вам не жаль его, вашего сына?!.

Тяжелый, беспокойный сон прекратил мои мучения...

Снилась мне глубокая котловина, образовавшаяся среди гор. В ней на самом дне расположилось небольшое селение. Ночь. Месяц тихо и кротко льет печальный свет на заснувшую землю. От гор падают длинные, черные тени, они закрывают все, что делается в котловине. Вон стоит наш старый дом, в нем огонь. В небольшой угловой

комнате сидит отец и составляет отчет благочинному. Вот он отклонился от стола, его мысль улетела от работы. Тихо крадется и ползет по его лицу тяжелая дума,— это он думает обо мне, ему жаль меня. Глубокая грусть светится в его спокойных серых глазах, но... нельзя, нельзя иначе,— вот что говорят эти глаза. Снова наклонился он над своей работой, заскрипело перо, заняли голову другие мысли и отлетели тяжелые соображения.

В другой комнате этого же дома, при свете месяца, видна другая фигура, стоящая на коленях перед иконой,— это моя мать молится за меня. Долго и жарко молится она за своего Колю, за своего дорогого сына, просит заступницу, чтобы вразумила, защитила. И долго ее губы шепчут молитву, много земных поклонов положит она в этот вечер.

Из-за туч выглянул месяц и осветил спавший город. Один луч попал в ту комнату, где спали ученики духовного училища. Душная атмосфера комнаты делалась все хуже и хуже, зловонный воздух портил молодую грудь. Трудно дышать этим зараженным воздухом, высоко поднимается грудь, рот раскрывается, как у больного, слышатся вздохи и стоны...

Бедные дети!

Так прошел для меня первый день училищной жизни. С этого дня началась новая жизнь, которая не имела ничего общего с моим прошедшим, которая с страшною болью разорвала разом те нити, которыми я так крепко пристал было к родной почве.

Дальше шло время, тянулись часы, тянулись дни, и я глубже и глубже опускался на дно новой жизни. Непосредственная практика выдвинула передо мной все пружины, которые были главными двигателями всего механизма училища.

Пружиной первой величины, основной силой, страхом и трепетом, животом и смертью всего, что осмеливалось дышать в стенах училища, был о. Василий, инспектор училища. Этот человек имел магическую силу над учениками, одно его имя наводило страх, его вид нагонял неотразимую панику на самые буйные головы, какие была способна выдвинуть из своей среды бурса. Стоило явиться о. Василию перед своими чадами, и папироска застывала

в руке, предатель-калач прилипал ко рту и никак не хотел идти далее, слова замирали на губах, словно они были привинчены. Широки были границы инспекторской власти, в этих границах он мог делать, что хотел. Он возвышал одних, приводил к падению других, он «мордил» первым, «натягивал» на вторых, и все это он делал по наитию своей инспекторской души.

За колоссальной фигурой инспектора во всеоружии его власти смиренно стоял длинный ряд его безответных подчиненных. Из этого ряда на первый план выдвигаются квартирные хозяйки, народ все простой и покорный, бившийся, как рыба об лед, из-за куска хлеба. Вот, например, Татьяна Ивановна Родина, хозяйка той квартиры, на которой я жил. Татьяна Ивановна была старая девица. Она всегда носила темные платья, темно-синий платок на голове, казинетовое пальтишко, надетое на одно плечо. Что касается внутренних достоинств и душевных качеств, то на первом плане нужно поставить ее бесконечную доброту. Благодаря этому свойству своей души Татьяна Ивановна едва сводила концы с концами своего незавидного существования, но все-таки кое-как тянулась, без куска хлеба не сидела и горячо благодарила небеса за все это в своих молитвах.

Замечательно было выражение лица у Татьяны Ивановны: на нем отражалось и застыло какое-то напряженное, постоянно-прислуживающееся выражение. Она, не будь сказано ей в обиду, как будто делала постоянно стойку над чем-то. Впрочем, подобное состояние Татьяны Ивановны вполне понятно, если взять во внимание то, что она каждую минуту должна была быть на военном положении относительно своих буйных питомцев. Она добросовестно относилась к своим обязанностям, и потому каждую минуту можно было найти ее готовой к бою, она, как боевой конь, всегда была готова броситься в самый жар битвы. Везде, где завязывалась междоусобная брань, где возникали печальные недоразумения, требовавшие немедленного разрешения, везде Татьяна Ивановна являлась первым действующим лицом. Она держала третейский суд, и, наказав правого и виноватого, отпускала обоих с миром, оставляя поле сражения всегда с самым победоносным видом.

Но, нужно заметить, что, несмотря на все это, были горькие минуты в жизни Татьяны Ивановны, когда жезл

правления выпадал из ее рук и переходил в руки ее питомцев, когда бразды правления ослабевали и ее дребезжащий, старушечий голос делался самым отчаянным из всех голосов, вопиющих в пустыне. Это было, конечно, крайне печально, поэтому в такие минуты Татьяна Ивановна выдвигала на сцену последние резервы: с лучиной в руке бросалась она на своих противников, собственноручно доказывая им всю несостоятельность их поползновений. Но иногда и лучина не брала, тогда Татьяна Ивановна проливала горькие слезы над строптивыми птенцами, утираясь синим клетчатым платком, и самым твердым голосом произносила клятву, что не будь она, Татьяна Ивановна, если и т. д. до конца. Все знали, что это старая песня, и дудки, но знали также, что это предел, за который переходить не следует, а потому стихали. Добрая была, очень добрая хозяйка Татьяна Ивановна. В поте лица съедала она хлеб свой, с самоотвержением изгоняла из своих питомцев тот дух строптивости, который иногда появлялся в них. В своей общественной деятельности Татьяна Ивановна походила на наседку-курицу, если можно сравнить ее питомцев с цыплятами.

В двух комнатах у Татьяны Ивановны жило шестнадцать человек. Эти шестнадцать по возрасту, начиная с мальчиков девяти лет и кончая двадцатилетним парнем, представляли все переходные ступени между этими двумя крайними точками. Первая и главная роль в жизни этой квартиры принадлежала, разумеется, самым старшим и сильным, мы и начнем с них.

На первом плане здесь стоит известный нам Вешинька, или Вениамин Петрович Колосов, которого в училище все называли Петровичем. За ним выдвигается Благовещенский, старший в квартире Родиной. Это был мальчик среднего роста, с пухлым круглым лицом, с большими карими глазами. Его звали «просвирней». Такого названия он терпеть не мог, и лез в драку, если противник был под силу, или отходил с глухим ворчанием, если дело было наоборот. Как старший, Благовещенский был не особенно худ, не особенно хорош. Крайности были не по плечу его дряблой, рыхлой натуре.

Он не действовал по ранее обдуманному плану, но как бог на душу положит, ни за что «отшлепает», ни за что начнет придираться или покровительствовать. Благовещенский был очень способный мальчик и учился хорошо,

но шесть лет бурсацкой науки губительно подействовали на его хорошие умственные задатки.

Ермилыч был малый небольшого роста, с острой головой, с серыми глазками. Волосы на голове, если были острижены, стояли дыбом, в противном случае, располагались тоненькими косичками кругом головы, как у купеческих молодцов. Ермилыч был добрый малый. Он не обладал особенной силой, но, когда его называли зайцем, он бледнел и с пеной у рта шел на врага, не разбирая, кто был противник. Ермилыч в таких походах почти всегда брал верх. Секрет его удачи заключался в том, что он действовал всегда стремительно, не давая ни одной минуты опомниться своему врагу,— это известный прием всех великих завоевателей, и Ермилыч пользовался им без всякого зазрения совести. Наука Ермилычу давалась не особенно легко, хотя он не сидел по четыре года в одном классе, как Петрович.

Ганька Гарин ничем особенным не отличался, кроме того разве, что имел белые волосы на голове и при всяком удобном случае врал немилосердно, «через шлею», как говорила бурса. Глуп он был без меры. Звали его по цвету волос «Белокаменной крысой».

Вот те, более выдающиеся личности, с которыми пришлось мне жить в продолжение двух лет училищной жизни.

В первом своем письме домой я ничего не писал о своем новом положении, потому что таким описанием действительности только встревожил бы мать, а мне не хотелось. Я писал домой коротко и ясно, что нашего завода не променяю на десять таких городов.

Всматриваясь ближе в то, что творилось вокруг меня, я был поставлен в безысходное недоумение,— мое прошлое, все, что осталось дома, сделалось каким-то мифом. Мне не верилось, что я был когда-то другим человеком, среди других условий жизни, мне мое прошедшее казалось каким-то сном, при воспоминании которого мое сердце каждый раз болезненно сжималось. Первые впечатления училищной жизни настолько оглушили меня, что я совсем было потерялся и упал духом, придя к тому печальному заключению, что мне, видно, суждено погиб-

нуть среди бурсы. Конечно, я мог пуститься на отчаянные средства, я мог убежать или перестать учиться, и меня за это бы исключили в самом непродолжительном времени; но я хорошо помнил слова матери, что лучше умереть, чем сделаться глупым неученым человеком. Я верил этим словам и выбрал одно из двух: или выучиться, или умереть. Такое героическое решение наводило иногда на очень печальные размышления, и я не раз горько плакал над своим положением. Я не раз засыпал на мысли, что лучше сделаться простым поденщиком, получая десять копеек в день, чем безвременно погибать здесь; но поднималось солнце, и мои расчеты разлетались прахом, потому что при дневном свете мне яснее представлялась вся их несостоятельность.

Мало-помалу я затягивался новой жизнью. Не производили уже на меня сильного впечатления с утра до ночи сыпавшиеся вокруг меня зуботычины и пощечины, я равнодушно относился к горю и слезам моих товарищей, потому что и с своим горем трудно справиться, не то что за других печалиться. Мне нравилось ходить в классы, потому что во время уроков незаметно проходило время, и я ненадолго забывал, где я и кто я. Я скоро научился зубрить и так далеко пошел, что только из одной любви к искусству заучивал наизусть из слова в слово целые страницы из русской или священной истории и заставлял кого-нибудь следить по книге, чтобы не пропустить ни одного *и*. Подобного рода занятия доставляли мне сначала удовольствие и уверенность в своих силах, а потом рекомендовали меня моим товарищам, как порядочного человека, который постоит за себя перед бурсацкой наукой. И я постоял за себя перед ней, постоял до того, что через два месяца беспощадного зубрения окончательно сбился с пути и поглупел до того, что в моей голове все перевернулось вверх дном. Я знал только одно, что мне нужно зубрить и зубрить, и что в этом все мое спасение.

Так шло время.

Темные осенние ночи проходили над городом. Серые облака войлоком обложили небо, и мелкий назойливый дождь шел, не прерываясь, целые дни. Желтые листья повалились с деревьев, укоризной гудел ветер меж голых ветвей, качал их и завывал самым печальным образом. На одну минуту появлялось солнце среди разорванных облаков, с недоумевающей миной смотрело оно на зем-

лю,—что-де там такое делается. А на земле было так грязно, так холодно. Жутко и грустно на душе в такую погоду, точно все кругом собирается умирать или хоронить кого.

Рано спустились сумерки над городом, рано грязная осенняя ночь глянула в окна нашей квартиры. В углу нашей комнаты стояла небольшая железная печь, которую Татьяна Ивановна имела обыкновение топить по вечерам. Я с нетерпением ждал этого времени и с особенным удовольствием каждый раз усаживался против самого устья печи. Я долго просиживал в таком положении, глядя, как весело перебегает огонь по сухим дровам, как он трещит и гудит с неистощимым усердием. Я в эти минуты позабывал обо всем, что делалось вокруг меня, я даже не замечал Татьяны Ивановны, которая, сидя рядом со мной и подперши одной рукой щеку, смотрела на огонь таким же бесцельным взором, как и я. Мои мысли бродили далеко от всего этого, они уносились домой, где, может быть, теперь тоже топится печка, и перед ней сидит мой маленький братишко и долго смотрит на раскаленные уголья, раздумывая про то время, когда его повезут учиться.

— Ты чего тут сидишь? — полюбопытствовал Ермилыч.

— Да так, хорошо у печки-то.

— Давай играть в носки.

— Давай.

По вечерам перед огоньком я любил играть в носки с Ермилычем, моим благоприятелем. Ермилыч имел собственную колоду карт, которая всегда была самым тщательным образом завернута в бумажку и лежала в раз навсегда определенном месте. Играли обыкновенно на полу, поджавши под себя ноги. Ермилыч каждый раз оживлялся по этому случаю, высматривал мои карты, хитрил и торжествовал. С каким-то детским визгом хохотал он каждый раз, когда мне приходилось подставлять нос под его удары. Его маленькие глазки загорались каким-то радостным огоньком, по лицу пробегала самая задушевная усмешка, переходившая в самое беспредельное удовольствие.

— Вот я ужо задам тебе! — весело говорит Ермилыч, просматривая свои карты.

— Ну, это еще старуха надвое сказала! — храбрюсь я

хотя и вперед знаю, что Ермилыч непременно обыграет меня.

— А вот тебе! — торжествует Ермилыч, беря последнюю взятку.

Татьяна Ивановна сидит тут же и смотрит, как мы играем.

— Что, попался! — ликует надо мной Ермилыч, отсчитывая удары и трепеща от радости, как младенец.

Ермилыч был моим другом, я любил его за его простоту и добродушие. Мы с ним жили очень дружно во все время учения и только однажды чуть-чуть было не рассорились. Дело было так: у меня была какая-то посеребренная пуговица с гербом. Эта пуговица понравилась Ермилычу и понравилась до того, что он, кажется, во сне ее видел и никак не мог жить без нее, но я никак не соглашался уступить Ермилычу такую драгоценность, хотя он предлагал для этого всевозможные способы, начиная с мены и кончая подарком. Видя такую твердость с моей стороны, Ермилыч решился пустить в ход последнее средство и, улучив удобную минуту, просто-напросто овладел моей пуговицей. Никакие увещевания, даже угрозы с моей стороны не привели ни к чему, и пуговица осталась у Ермилыча. Он без зазрения совести уверял меня в глаза самым чистосердечным образом, что эта пуговица его неотъемлемая собственность, что она давно уже у него и что у меня такой пуговицы никогда не бывало, да никогда и не будет. Слушая Ермилыча, я даже огорчился за него, за то, что он из-за таких пустяков пускается чуть не на воровство. Но делать было нечего, Ермилыч овладел моей пуговицей, так видно было угодно небесам.

Ермилыч научил меня, как нужно сделать «деньки». Деньками назывались такие таблички, на которых были обозначены дни и числа до известного срока, например, рождества, пасхи, вакации и т. д. У всех без исключения имелись такие «деньки», и они велись с большой аккуратностью, и каждый прошедший день вычерчивался вечером. Сколько сот раз каждый из нас по такой табличке высчитывал и рассчитывал оставшееся время до отпуска.

— Только бы до экзаменов дотянуть,— сосредоточенно говорит мне Ермилыч, ставя карандашом крестик на своей табличке.

— А там что будет?

— Да тут и не увидишь, как время-то пройдет до от-

пуска. Приедут подводы, навезут пирогов да калачей,— ешь, не хочу. Экзамены, а тут рождество, домой едешь.

Заговаривая об отпуске, Ермилыч приходил в какое-то восторженное состояние, он с увлечением рисовал передо мной одну картину за другой. Я с наслаждением слушал его. В наших глазах все, что было дома, принимало какой-то розовый оттенок, и мы были глубоко убеждены, что все это — действительно так.

— Приедут это за тобой на рождество,— повествует Ермилыч, лежа на войлоке и болтая от нечего делать ногами,— привезут шапку, шубу теплую... Наденешь все это,— никакой мороз не проберет, едешь себе и в ус не дуешь... А приедешь домой, сейчас чай со сливками, с такими густыми... Потом заберешься на полати, лежишь целый день, и никто тебя не тронет!..

— А ты, Ермилыч, любишь жареных гусей?— спрашиваю я, теряя нить рассказа и увлекаясь собственными соображениями.

— Я больше люблю поросят, у них мясо такое слабенькое, а кожа запечется... А тут еще хрен, просто язык проглотишь!..

Разговоры об отпуске — любимая тема для всех, и они часто выступали на сцену.

— Дома-то всяк — Ерема! — говорил Петрович.

Да, стоило посмотреть Петровича с этой стороны. Он был хозяин с головы до ног, от ногтей до волос. Он знал городские цены на хлеб разных сортов, на овес, сено, крупу, масло, деготь, словом, на все то, что было необходимо в хозяйстве. Если ему попадалась лошадь, он осматривал ее со всеми подробностями, стараясь решить, сколько ей лет, хорошо ли она бегает, сколько стоит. Он щупал ее, тыкал в брюхо, осматривал зубы, в заключение толкал так, что не раз от его могучей руки лошадь валилась с ног, что доставляло Петровичу большое удовольствие. Подобным же образом он обращался и с другими вещами, какие попадались ему в руки. Он их осматривал, щупал, прикладывал к щеке, нюхал, даже лизал, и в конце концов, если обнюханная и облизанная вещь выдерживала искус, то являлась в ящике у Петровича. Около одной стенки этого ящика тянулись учебники, по которым Петрович подвигал вперед науку. На каждой книге крупным, четким почерком было написано, что «сия книга принад-

лежит ученику духовного, уездного училища, такого-то класса, В. П. Колосову». За подписью следовал год и число приобретения книги, ее цена, обстоятельства, при которых она куплена. Ящик Петровича представлял много интересного и замечательного, интересного по содержанию, замечательного по порядку, какой всегда царил в этом ящике. Я уверен и готов дать руку на отсечение, что ни у одной девушки, ни у одной самой чистоплотной немки, как стоит мир, не было такого порядка, какой господствовал тут. Десять раз солнце скорее остановилось бы, вода пошла бы против течения в реках, чем этот порядок нарушился хоть на одну йоту. Все тут имело свой смысл и значение, несмотря на всю видимую нелепость своего существования в таком месте.

— На что ты, Петрович, гвоздь-то в ящик кладешь? — удивится кто-нибудь.

— Сгодится! — невозмутимо отвечает Петрович. И, действительно, гвоздь куда-нибудь годился, чаще всего сам же спрашивавший являлся к Петровичу просить о выдаче положенного гвоздя.

— То-то, ты, голова с мозгом!— говорил внушительно Петрович, выдавая просимое и поднявши иногда вверх указательный палец, для большей убедительности, вероятно.

После обеда Петрович облекался в халат серого драпа и налегал на науку. Но одному учить после обеда было как-то грустно, как говорил Петрович, поэтому обыкновенно он приискивал себе какого-нибудь компаньона, обыкновенно Благовещенского. Так в послеобеденное время они занимались пением на гласы. Благовещенский играл роль учителя, потому что пел лучше Петровича.

— Ну-ка, Петрович, спой мне на седьмой глас,— допрашивает Благовещенский.

Петрович мнется, припоминая мотив.

— Ну! — настаивает Благовещенский.

— Па-а-лася, перепалася, ни с кем не видалася...— затягивал басом Петрович.

Заучивание мотивов на каждый глас происходило обыкновенно по различным присказкам, как солдаты заучивают сигналы.

— Нет! — с укоризной качал головой Благовещенский.

— Ну, так вот: «Летела пташечка по ельничку, на-а-па-ли на нее разбойнички и уби-ли ее...»

— Верно.

— А ты спроси меня на четвертый!

— Ну, давай на четвертый.

— Я-те, сукин сын, кадилом-то...— рубит Петрович басом, желая отличиться и поправить давешний промах.

— Наши-то с дровами при-е-е-ха-ли-ли...— это на какой?

— Это? На пятый.

— Нет.

— Шестой...

На Благовещенского по временам находила какая-то блажь, захочет что-нибудь сделать и непременно сделает, и его не разубедишь ничем. Так, забредет ему в голову, что непременно нужно записывать все, что говорит в классе учитель русской истории; он сшивает себе тетрадь листов в двадцать и трудится над ней целые дни, записывая сначала начерно, а потом переписывая набело. Или вздумается ему чистить свои сапоги, и мучится над ними человек каждый день по нескольку часов, пыхтит, обливается потом. А то придет фантазия наблюдать за чистотой в своей квартире. В такие минуты каждое пёрышко, каждый клочок бумаги, брошенные на пол, способны вывести его из себя, и он кипятится по поводу их с утра до ночи.

— Кто за тебя инспектору-то будет отвечать, а? Кто? — изливал он на кого-нибудь свою ярость.

С Благовещенским и Петровичем я хотя не ссорился часто, но все-таки их недолюбливал, даже очень недолюбливал в некоторых отношениях. Я ненавидел их за их отношения к маленьким ученикам. Придет блажь Благовещенскому практиковаться в роли исполнительной власти, призывает кого-нибудь из мальчуганов, и начинается побоище из любви к искусству. Если сам Благовещенский, наконец, утомляется, то призывает на помощь Петровича, и они вдвоем донимали свою жертву. Я никогда не мог равнодушно видеть таких истязаний; особенно отвратительным и досадным было то, что Петрович принимал приглашения Благовещенского на такие «подвиги» с особенным удовольствием. Я не мог без содрогания смотреть в такие минуты на Петровича, он мне представлялся таким извергом, палачом, что если б у

меня была сила, я бы избил его в десять раз хуже, избил за то, что он наслаждался мучениями других. Странно, как мог Петрович дойти до такой нечувствительности к страданиям своих ближних, еще более странно, что эти крики и вопли доставляли ему большое удовольствие, и он каждый раз заливался неудержимым хохотом, когда в его железных руках извивалось, пищало, плакало и молило о пощаде что-нибудь живое. В такие минуты Петрович был отвратителен, на физиономии появлялась какая-то зверская улыбка, глаза горели, как у кошки, поймавшей мышь. И все это делал человек не злой от природы, делал по просьбе какого-нибудь Благовещенского, которого буквально ни в грош не ставил. Дойти до такого состояния, дойти до состояния животного, которое весело поводит хвостом, глядя на смертельный страх своей жертвы, дойти до всего этого довольно трудно, и много нужно условий, много времени, чтобы оно развилось и окрепло в человеке. До подобного состояния доходят только совсем погибшие люди или закоренелые злодеи, но ни тем, ни другим Петрович не был.

Был на квартире Родиной один мальчик лет одиннадцати, способный и бойкий, отличавшийся сначала особенной неисправностью относительно исполнения своих обязанностей. Его прозвали Змеем. Змей поступил в одно время со мной в училище, следовательно, и он был новичок. У него не было матери, а отец как-то рано позаботился столкнуть его с своих рук. Попавши в училище, в руки таких педагогов, как Петрович и Благовещенский, мальчик потерпел замечательный метаморфоз, он превратился в совершенно другое существо. Он совсем потерялся и утратил, кажется, всякую мысль о том, что и он такой же человек, как и все другие. В несколько недель из бойкого, смышленого мальчика он превратился в какого-то зверька или, лучше, в собаку-пария, которую все бьют и гонят, которая опускает низко голову, поджимает хвост и всеми силами старается избежать всякой встречи с живым существом. Таким же образом и Змей старался не попадаться на глаза Петровичу или Благовещенскому, что в одной комнате сделать было довольно трудно. Подобное душевное состояние Змея доставляло последним неиссякаемый источник наслаждений. Сцены такого рода повторялись очень часто с очень небольшими вариациями.

— Эй ты, Змей, иди-ко сюда, иди, братец!..— кричит, например, Петрович.

Змей подходит, Петрович хватает его за волосы и поднимает на воздух.

— Не буду больше, ей-богу, больше не буду!— пищит ни в чем неповинный Змей, болтая ногами, как повешенный.

— Чего не будешь? Ха-ха-ха! — заливается Петрович.

Змей продолжает пищать.

— Благовещенский, слышишь, Змей больше не будет!

— Чего не будет? — любопытствует последний, поднимая голову от своих записок по истории.

— Не знаю, он говорит — не буду.

— Так ты его, Петрович, встряхни покрепче, а то он, пожалуй, и в самом деле не будет.

Петрович усердствует, Змей кричит, как под ножом. Терпение Благовещенского, наконец, лопает, он бросает свою тетрадь и подходит к месту действия.

— Ты что тут кричишь, а? — задает он тоном выше против прежнего. Змей молчит, потому что ему говорить нечего.

— Ты, Змей, чего тут пищишь, а? — вторит своему другу Петрович, как будто не его совсем дело.

Змей молчит.

— Ты чего на него смотришь, Благовещенский, вали...— поощрял Петрович.

— Так ты зачем кричишь, а? Ты тут скандал заводишь, а я за тебя должен отвечать инспектору?!

— Ха-ха-ха! — заливается Петрович.

— Что ты молчишь?— напирает Благовещенский на Змея.— Не хочешь отвечать? Не хочешь...

— Да вали ты его, Благовещенский, вали, чего ты на него смотришь... Ха-ха-ха!

— Вот тебе, чтобы вперед не шалил!— говорит Благовещенский, отпуская первую затрещину. За первой следует ряд других, Змей едва держится на ногах.

— Держи голову прямо!— кричит Петрович.

Новая оплеуха, новый повод к удовольствию двух юношей.

— Ха-ха-ха!— поджавши живот, едва переводит дух Петрович.— Змею-то не нравится, Благовещенский, как ты его шлепаешь!..

— Так тебе не нравится!— И град оплеух неудержи-

мо сыплется на Змея. Он стоит и не поворачивает головы, глаза сухи, только по временам верхняя губа судорожно подергивается.

— Ха-ха-ха!— указывает Петрович на Змея,— Змей-то смеется над тобой, Благовещенский, право!

— Так ты еще смеяться... Петрович, держи его!..

Петрович берет Змея за руку и зажимает, как в тисках. Благовещенский, разгорячившись, приходит в какое-то бешенство. Бесцельная, беспричинная ярость овладевает всем его существом, и он устремляется на беззащитного Змея. Долго таким образом тешатся друзья, пока не устанут, пока со смеху не заболит живот у Петровича, пока не надоест Благовещенскому. Кончат, пойдет Змей на свой ящик, возьмет книгу, раскроет ее и сидит таким образом долго-долго... Что думал в такие минуты Змей?

Подобного рода сцены повторялись довольно часто. Потрясающее впечатление производят они с первого раза, но и к ним можно привыкнуть, и они перестанут казаться такими страшными, как в первый раз. Благовещенский был старшим, Петрович был первым силачом, значит, с ними ничего нельзя было сделать. Жаловаться на них начальству не было никакой возможности и было совершенно бесполезно при том устройстве училищной администрации, когда внутренняя жизнь учеников шла своим путем, вне начальственных взоров. Начальство должно было удовлетворяться и тем, что наводило общую панику одним своим видом, что заставляло зубрить, что формальная сторона дела была постоянно в исправности. На этом начальство и успокаивалось и продолжало вести свои дела по раз навсегда заведенному порядку. Такому начальству опасно было жаловаться, потому что каждый считал своею священной обязанностью бить ябедника, сколько влезет, и мог это делать всегда, потому что против ябедников были все. Все знали, как невыгодно ябедничать, и потому ябедников почти не существовало в училище. Например, тот же самый Змей, которого немилосердно истязали чуть не каждый день, кажется, ни разу и не подумал о жалобе и сносил свою участь, как настоящий мученик.

По вечерам, после занятных часов, когда кончался ужин, происходили вечерние представления. Тогда же играли в чехарду. Шесть человек вставали один за другим

и сгибали спины, так что являлось нечто вроде живого моста. Остальные скакали на них, первый должен был скакнуть дальше всех. Первым обыкновенно был Ермилыч и перескакивал через всех шестерых. Если кто из скакавших не мог заскочить или сваливался, то скакуны вставали и на них скакали стоявшие.

Тянулись на палке, боролись, бились на кулачки. Последнее было самым употребительным. Бойцы выходили по желанию или выбирались. Подбирали обыкновенно равных, то есть одинаково сильных. Старались раздразнить бойцов, так что, разгорячившись, они начинали в конце от чистого сердца тузить друг друга.

Однажды устроили похороны. Мертвеца изображал из себя Змей. Его положили на кошму и понесли под образа при пении и кадильном дыме. После вечной памяти он должен был воскреснуть, и за это его женили на Мерзости. По совершении обряда молодых уложили вместе спать, где они и разодрались через несколько минут, так как Змей укусил за ухо Мерзость.

Вечером же велись обыкновенно разговоры про войну и почему-то всегда про войну с турками. В таких разговорах принимал участие и Петрович, который по военной части недалеко ушел от десятилетних ребятишек.

— Турки, это что!— говорил он.— Они только храбрятся да машут саблями, а потом и струсят и зададут дирыша.

— Французы да турки валятся как чурки, а наших бог милует, все без голов стоят,— декламирует Ермилыч на манер того, как это говорят в райках.

— Я бы непременно пошел в солдаты,— воодушевляется Петрович,— дали бы мне ружье со штыком, я бы им тогда задал. Не одному бы турку голову свернул...

— Да ему же бы ее в глаза и бросил! — смеется Ермилыч.

— А ты, Ермилыч, молчи, я до тебя доберусь, слышишь?— И рука Петровича тянется за Ермилычевой шеей, но Ермилыч уклоняется и снова смеется.

— Тебе бы, Петрович, первый турок проткнул брюхо-то!..

— Ну, не проткнул бы, я ему скорее...

— Тогда бы тебе есть-то не во что было,— что бы ни поел, то [illegible] и выскочило, а чай пить, так и совсем бы не[illegible] бы не напился!..

С воинственных размышлений речь иногда переходила на более мирные занятия.

— Я кончу курс,— говорит Благовещенский,— и поступлю в дьякона,— отличное житье. Возьму себе жену, такую толстенькую да надсадистую, и заживем. Я буду служить, а она мне пироги будет печь каждый день. Брюхо у меня отрастет большое, ходить буду да отпыхивать: пфф... пфф... Денег накоплю груду, лошадей — целый табун, коров...

— У тебя, Благовещенский, сегодня, видно, бабушке память?

— А что?

— Да уж очень врешь много.

— А я так не хочу быть дьяконом,— говорит Петрович,— дьякону хотя житье и спокойное, да все-таки он под началом у попа. Поп ему скажет: дьякон, сходи-ко в церковь, принеси мне кропилку. Дьякон и должен бежать, а на улице, может, грязь стоит, может, дождь, как из ведра, льет,— а поп-то сидит под окошечком да посматривает, как дьякон-то стрекает за кропилкой-то.

— Славное житье это дома,— восхищается Ермилыч,— утром встанешь, уберешь во дворе, все исправишь, сейчас тебе чай. Напьешься с булками, со сливками отлично, а потом в лес. Осенью я, бывало, все за шишками ездил. Поедем это с братом подальше, выберем повыше кедр, я и заберусь на него. Штук по четыреста зараз снимали.

— А сколько раз, Ермилыч, ты с кедров-то вниз головой летал?— спрашивает Шиликун, который постоянно подсмеивался над Ермилычем.

— Да не больше твоего-то.

— А мне твоя мать сказывала, что ты однажды летел с кедра — с шишками-то вместе, да чуть нос на сучках-то не оставил.

— Врешь, ты Шиликун, никогда я не падывал с кедра-то. Это ты, видно, с полатей либо с печки летал на пол, а про меня рассказываешь.

И так далее, в таком же роде. Настоящее было настолько однообразно и безынтересно, что об нем редко что говорилось, разве иногда об инспекторе. Поэтому темой для разговоров служило обыкновенно прошедшее или будущее.

Книги не было, и если были к[illegible] ше бы их сов-

семи не было. Так, у Благовещенского была «Битва русских с кабардинцами», которую он приобрел когда-то на толкучке. Да еще однажды Татьяна Ивановна выкопала откуда-то «Английского милорда» и принесла его нам на прочтение, убедительно прося не трепать книгу. «Кабардинцев» я прочитал, но «Милорда» даже слушать не мог, зато Петрович с Благовещенским упивались им.

— Важно! — кричит Благовещенский, сверкая глазами.

— Вот ужо он задаст ей перцу! — предсказывает где-нибудь Петрович.

Кроме «Кабардинцев», «Милорда» да учебников я в продолжение двух лет ничего не видал на квартире Татьяны Ивановны.

Утро. Татьяна Ивановна раздает утренние порции белого хлеба. У нее есть фавориты, которым она дает лучшие части, то есть горбушки. Чай по утрам не пьют, потому что она не хочет ставить самовар, а поэтому хлеб едят насухо. Хлеб съеден, книги завязаны в узелки, все молятся еще раз домашним богам и плетутся гуськом в класс.

Бурсу по утрам не кормят, она довольствуется ржаным хлебом, утащенным в казенной кухне. При более благоприятных обстоятельствах, когда, например, повар-солдат благоволит, бурса пробавлялась остатками вчерашнего ужина. Но это случалось редко, и бурса голодала от чистого сердца, голодала настолько, насколько может голодать тот человек утром, который вечером ложится с совершенно пустым желудком. Чтобы сколько-нибудь вознаградить себя в этом отношении, бурса каждое утро устремлялась на квартирных, требуя от них хлеба.

Вот бурсак, которого зовут Тетерей, или сокращенно Тюрей, высматривает себе добычу. Его ястребиный взор в утреннем воздухе пока еще ничего не видит, но Тюря сегодня должен быть сыт, это ему так красноречиво докладывает его собственный желудок, он будет сегодня сыт, потому что желудок с каждой минутой заявляет свои требования все энергичнее и не вступает ни в какие сделки, в виде, например, черствых ржаных корок, которые не решаются есть даже крысы, или обеда через пять часов.

В класс заходят квартиранты Татьяны Ивановны.

Петрович, не обращая ни на кого своего внимания, прямо стремится на свое место, и горе тому несчастному, который осмелится помешать ему в этом победоносном шествии. За Петровичем идет Ермилыч. Он весело здоровается кой с кем из попадающихся знакомых. Благовещенский старается незаметно пробраться до своего места за партой, чтобы не попасть в когти голодной, алкающей бурсы. Но тщетны его усилия, опасность не минует его головы. Тюря завидел добычу,— несколько прыжков, и он сидит перед самым носом Благовещенского. Его глаза неподвижно остановились на жирной физиономии последнего, ноздри раздулись, нижняя губа отпятилась каким-то особенным образом, как у лошади, которая тянется за овсом. Тюря начинает вести переговоры. Он берет для начала самые мягкие и даже нежные ноты, насколько вообще может ласково говорить голодный человек, а голодный бурсак в частности.

— Ну, Благовещенский, ты мне принес сегодня хлеба... Молодец! Значит, закусим...— Тюря потирает руками в ожидании будущих благ, его рот искажается улыбкой, скорее похожей на конвульсии.

Благовещенский старается изобразить из своей тучной особы наивозможно большее спокойствие, и даже удивление по поводу заявленных ожиданий, но на душе у него неспокойно, он, размечтавшись о дьяконском житье, весь утренний хлеб съел сам. У него было такое же внутреннее состояние духа, как у того храброго генерала, который накануне битвы рассчитывает, как бы лучше прикрыть свое отступление.

— Ты ведь славный парень,— поет между тем Тюря.

— Да у меня нет хлеба! — сердито отвечает Благовещенский.

В ответ за излишнюю откровенность, он получает полновесную оплеуху. Тюря отходит в страшной ярости, он столько потерял напрасно драгоценного времени, а для него время — хлеб.

— Просвирня толстомордая! — ворчит он сквозь зубы.

Благовещенский стоит в том самом положении, в каком застал его удар. От бессильной злобы его круглые глаза хотят выскочить из своих орбит, но он знает, что с

Тюрей плохо водить дела, потому что бурсаки стоят горой друг за друга.

Тюря идет дальше. Его физиономия светлеет, он завидел в коридоре Хвостикова, у которого, наверно, есть хлеб.

— А, Хвостиков,— мурлычет ласково Тюря,— спасибо тебе, что принес мне хлеба...

Хвостиков принадлежал к тем безобидным личностям, которые встречаются везде. Даже бурса, эта собака из собак, была обезоружена его добродушием и ничего ему не делала.

Хвостиков с своей всегдашней добродушной улыбкой не торопясь вынимает из кармана ломоть хлеба и подает Тюре. С торжеством берет хлеб Тюря полной горстью, как орлы берут свою добычу. Он садится за ближайшую парту и начинает закусывать, выглядывать по сторонам. К нему подходит Иван Иванович, он же и Галуппи.

— А, Иван Иванович, как ваше драгоценное здравие? — весело начинает Тюря, прожевывая добычу.

— Ничего себе, прыгаем помаленьку да вашими молитвами, как шестами, подпираемся.

— Дай, Федя, мне немного хлебца! — просит Галуппи после непродолжительного молчания.

— Ах, господин Галуппи, времена нынче стали трудные, и народ делается такой хитрый, что нам с вами скоро, пожалуй, совсем житья не будет на белом свете. Дай бог одному-то пробиться, не то что вас пропитывать.

Галуппи в отчаянии весит свою голову, ему страшно хочется есть.

— Ты, говорят, Ванюшка, сало ешь? — любопытствует Тюря.

— А тебе что за дело?

— Да так. Кузнечики, говорят, любят сало-то.

— Подлец ты, Тетеря! — огорчается Галуппи.

— А ты — кузнечик!

— Сволочь!

— Ты сходи-ко к Благовещенскому,— говорит Тюря,— у него я давече видел полон карман хлеба-то... Так карман-то отдулся.

Галуппи смотрит с недоверием, но все-таки идет по указанному направлению.

— Ишь, подъехал с подгорелым-то солодом! — ворчит Тюря.

В перемены между классами ведутся постоянные войны между квартирными и бурсой. Бурса стоит горой друг за друга, она не выдает и защищается до последней капли крови. Такого единодушия между квартирными нет, но на их стороне сила и численность. Война начиналась обыкновенно частным образом, где-нибудь за партой или около печки, и постепенно переходила в общую и охватывала весь класс. Дрались в чистом поле, дрались около парт, на партах, под партами, дрались на всяком месте, где представлялась какая-нибудь возможность драться. Ожесточение сторон принимало все большие и большие размеры, так что в конце на сцену являлись палки, гвозди, перочинные ножи, гирьки.

Вот бурса выслала своих двух задирал, Демона и Тетерю. Они отлично ведут свое дело и в самом непродолжительном времени успевают вывести кого-нибудь из терпения. Вот они подняли первого силача квартирных Захара. Захар — бич для бурсы, и она не щадит его.

— У, язви вас! — скрежещет Захар, выпучив черные глаза и сжимая здоровенные кулаки.

Вот он вышел из-за парты, ему попался какой-то бурсак, Захар схватил его за ворот и бросил под парту. Еще несколько отдельных встрепок, и Захар воодушевился окончательно. Его глаза сверкают, калмыцкая физиономия перетягивается самой ужасной улыбкой, какая осмеливалась когда-нибудь появляться на лице человеческом.

— Что, мелочь?! — торжествует Захар, поводя кругом глазами.

Бурса наступает на Захара, она приперла его к одной стене. Захар разом отбивается от пятнадцати человек, он бьется не на живот, а на смерть. Но вот его кто-то ухватил за ноги, за ним другой, третий, живая куча образовалась на том месте, где стоял Захар. Крик и скрежет зубовный: пыхтит и сопит эта живая масса бурсацких и квартирных тел, сплетающихся и расплетающихся. Бурса облепила Захара, она впилась в него, но плохо приходится от его здоровенных кулаков всей той сволочи, что насела на него. Но вот Захар извернулся и встал на колени, протянул руку и ухватился за ближайшую парту,— все теперь погибло для бурсы,— Захар больше неуязвим. Напрасно пять человек стараются оторвать эту руку от парты, кажется, скорее железо уступит их усилиям, чем эта

рука. Бурса рассеялась, она во все лопатки удирает от разгневанного Захара и ругается на чем свет стоит.

— У, язви вас, проклятые! — говорит Захар, потряхивая партой.

Около парт вступили в бой два великана, Масталыга и Семиколенный, один бурсак, другой — квартирный. Обе стороны стихли на время и, затаив дыхание, ждали, чем кончится поединок. Бурсацкий великан падает, его место заступает коренастый малый, Кинтильяныч. Квартирные ликуют, бурса молчит. Семиколенный сразу очутился в крепких руках, и, прижатый поперек тела к парте, он отчаянно машет руками и ногами, как ветряная мельница. Бурса взвыла от радости, она торжествовала победу, на ее улице сегодня был праздник.

— Что, квартирные, много взяли, а?!

— Постойте, достанется и вам на орехи! — отвечают квартирные, не теряя бодрости, и идут на бой.

Вот на парте Патрон завязал бой с Семиколенным. Патрон стоит на парте, Семиколенный возле парты и все-таки целой головой выше Патрона. Но Патрон не смущается такой вышиной, он защищается перочинным ножом. Семиколенный ловит Патрона за руку, в которой у него нож, но Патрон извертывается и ударяет Семиколенного. Последний отскочил от парты, засучил брюки, немного повыше колена виднелась небольшая ранка, из которой каплями сочилась кровь.

— Ай да, Патрон! Молодец! С парты да прямо в ногу попал! — кричит кто-то. Патрон, весь бледный, сидит и спокойно смотрит на Семиколенного.

— Экая ты шельма! — улыбается ему Семиколенный.

Опять за партами кипит ожесточенный бой, Ермилыч бледный, как полотно, загнал Демона в угол и тут чистит его с правой и с левой стороны. Бедный Демон, как угорелый повертывается под градом оплеух. Атрахман тузит Пилюксу, Галман — Барзагула, а Пся вместе с Тетерей взяли за волосы Благовещенского да и тянут в разные стороны.

А вот Гоминов, самое добродушное из двуногих, какое случалось произвести природе, схватил доску от переплетного станка и с ней идет боем на Масталыгу.

— Мы тоже насчет шеина-то простоваты!— горячится он, стараясь достать Масталыгу.

— Куда тебе, каша ты эдакая,— сидел бы дома на печи да перегребал золу от нечего делать! — острит Масталыга, отмахиваясь длинными руками.

Бой кипит, наносятся и получаются удары, поражают и разбивают лики ближних...

Но вот заходит в класс учитель, и бой прекращается. Учитель церковного пения, о. дьякон, толстый, высокий мужчина, с широкой бородой, с густым басом, крайне добродушный и донельзя глупый.

Раскладываются книги и поют на все голоса «всемирную славу от человек прозябшую». Учитель ходит по классу и в такт помахивает палочкой. Так продолжается с полчаса, но постепенно пение слабеет, и певцы переходят к более разнообразным занятиям. Начинается игра в носки, бросаются жеваной бумагой, задают дружественные потасовки.

— Ужо я до вас доберусь! — грозит о. дьякон.

— А как это, о. дьякон, ты будешь до нас добираться? — любопытствует кто-то.

— А вот как...— и спрашивавший очутился в руках о. дьякона, который взял его одной рукой за волосы, а другой держит свою палочку и старается ею попасть по носу.

— Вот тебе вперед наука, не шали! — наставлял он полушутя, полусерьезно.

— Отпустите, о. дьякон.

— А будешь шалить?

— Сейчас провалиться, о. дьякон, лопни мои глаза, отсохни рука, нога.

— Ну, хорошо, ступай, да, смотри, не попадайся!

— О. дьякон, дайте табаку понюхать, свой весь вышел,— смеется выпущенный.

— Иди-ко сюда, я тебе задам понюхать, в другой раз не захочешь! — смеется о. дьякон, стараясь добраться до смельчака, но тот успел уже скрыться между партами

А то захочет о. дьякон спросить кого-нибудь.

— Эй ты, такой сякой, как поется «Господи воззвах» на пятый глас?

— Г-о-споди воз-звах...

— Врешь. Ну а ты, у печки сидящий и ничего неделающий?

У печки сидящий и ничего неделающий заводит на пятый глас, но врет немилосердно.

— Балда, голова-то, видно, песком набита!

— У кого, о. дьякон?

— Конечно, у тебя.

— А я думал...

— То-то ты тут много выдумал у печки-то, в тепле-то!

— Какая у вас, о. дьякон, борода толстая да пушистая.

— Ах ты!

— Поди, вас жена-то дома по бороде-то гладит, гладит...

И так далее до конца класса.

В перемены велись, когда не было войны, обыкновенно разговоры про всякую-всячину, начиная с инспекторской козы и кончая протодьяконом. Последний особенно интересовал всех, и об нем ходили чуть не мифические рассказы. У него в квартире жил Гоминов, и от него бурса узнала много интересного, так что он представлялся каким-то героем. Наслушавшись таких рассказов, я с особенным вниманием рассматривал его физиономию, но ничего особенного в ней не находил, кроме страшно раскрытого рта.

— Надо было нам затащить кадочку с капустой в погреб,— рассказывает Гоминов собравшимся слушателям,— кучер, я да еще стряпка дотащили ее кое-как до погреба, но в двери она не идет и делу конец. Бились-бились, позвали соседнего кучера, здоровенный такой детина, нет, нейдет наша кадочка, и баста. Приезжает протодьякон домой, так и так, мол,— не могли затащить кадочку в погреб. Протодьякон только рассмеялся. После обеда пошел он к погребу, приналег плечом, кадочка, как по маслу, а одного косяка как не бывало.

— Вишь ты! — удивляются все.

— А то как-то кутили все. Хотите, говорит протодьякон гостям, сейчас лошадь за передние ноги подыму. Куда, говорят, тебе, разве, говорят, жеребенка какого, это так. Нет, говорит протодьякон, настоящую, большую лошадь подыму. Пошли на двор. Дело было зимой. У одного купца стоял рысак за воротами, протодьякон подошел к нему, взял за передние ноги и поднял. А те все рты разинули.

Он перед каждой службой выпивает непременно по бутылке коньяку, а так не может... Четверть сиводеру выпьет и ни в одном глазу. Однажды кутили вплоть до утра,

ну и он тоже порядочно был. Вдруг от архирея прибегают, говорят, обедню служить. Как тут быть? Принесите, говорит протодьякон, мне десять ведер воды со льдом в баню да косушку вина горячего. Пошел, обкатился, выпил, и как рукой сняло. Архирей ничего не заметил.

— А сколько надо, чтобы его напоить, четверти мало?

— Четверти недостает.

Гоминов также рассказывал бурсе насчет женщин, так как он вращался в семействе протодьякона, где и понатерся.

— Идет это по улице какая-нибудь фря,— сзади просто не введи нас во искушение, забегаешь вперед, смотришь,— но избави нас от лукавого. И мы, мол, не хухлы-мухлы, не лыком шиты, поди, знаем вашего брата.

Бурса слушала такие рассказы, затаив дыхание. Еще более она была заинтересована, когда Гоминов принес в класс картинки самого вольного содержания. Бурса просто взвыла, плотоядные инстинкты в ней заговорили, и она смотрела на эти картинки такими жадными глазами, какими смотрит голодный зверь на кусок мяса.

Много десятков лет в стенах духовного училища нарождалась и крепла бурса, вырабатывая свой особенный язык, обычаи, привычки, предания. Все это передавалось по наследству одним поколением другому, чтобы это второе поколение передало третьему и т. д., вплоть до наших дней. Эта передача свершалась с такой точностью, что как будто передавались из одного поколения в другое даже самые физиономии. Бурса выработала раз навсегда в своих стенах тип бурсака, и никакими силами не вытравить этот тип, пока будут существовать стены, видевшие в себе бурсу. Наука говорит, что стены госпиталей пропитываются заразительными миазмами до того, что делаются источником новых болезней; бурса хуже самого скверного из госпиталей, и тот яд, которым она заражала попавших в нее, опаснее и губительнее всякой эпидемии,— от эпидемии, по крайней мере, умирают, и делу конец, а бурса калечила на целую жизнь.

Никакие преобразования, никакие стремления благодетельного начальства и хороших учителей, ничто не в силах уничтожить тот букет, который выработался в бурсе чуть не веками. Время проходит над бурсой, терпит она всяческие перевороты, но нет такой силы, которая уничтожила бы бурсу среди бурсы. Бурса была бурсой и

останется всегда бурсой, а все человечество будет ей чуждо. Так бурсаки не выведутся на русской почве, пока не исчезнет сама бурса, пока от нее не останется камня на камне, замрут предания, замрет все то, что вынесут из стен ее последние могикане. Конечно, не совсем бесследно проходит время над бурсой, она выветривается мало-помалу, теряет те резкие черты, которые бросались в глаза во время оно, но суть, смысл, последнее слово этой жизни останется всегда одним и тем же. Эта жизнь всегда была, есть и будет гнилой, совершенно бессодержательной жизнью, которая гнетет, уродует и душит молодые силы в самом зародыше. Возьмите материальное положение,— нехорошее помещение, вечное существование впроголодь, недостаток света, воздуха, движения,— все это самым губительным образом отзывается на молодых организмах, расстраивает их и часто губит вконец. Возьмите умственное развитие,— беспощадное зубрение, почти положительное отсутствие чтения посторонних книг, отсутствие всякого сношения с живыми людьми, с действительной жизнью,— все это до последней степени вредно действует на детский ум, заглушает самостоятельность мысли или придает ей такие формы, что уж лучше было бы ей совсем и не родиться на свет, а задохнуться до рождения. Возьмите нравственное развитие,— но здесь приходится отступить от всяких выводов, предоставив фактам самим говорить за себя.

Эта зараженная атмосфера действует на человека не силой, а продолжительностью действия, она незаметно день за днем втягивает в себя, незаметно пригибает к земле, прививая попавшим в нее весь тот яд, которым она переполнена до краев. Самая крепкая, самая железная организация не выдерживала этой атмосферы. Под таким давлением живые силы переходят в апатию, хорошие задатки глохнут, характер искажается. И вот перед вами человек, который потерял все то хорошее, чем его наделила природа,— это погибший человек, это произведение и плод бурсы. Вот перед вами не потерявшийся, не погибший человек, но кто знает, сколько раз придется этому человеку проклясть свое детство, золотую пору своей жизни...

От внешнего мира, от живых людей бурса была достаточно изолирована. Она жила своею собственною, своеобразною жизнью, которая ничего общего с жизнью остального человечества не имела. Она выносила из стен

училища те дикие и ни с чем несообразные понятия, которые проводила в свою жизнь, которые прививала с молоком матери нарождавшемуся поколению.

Точно так же бурса была изолирована и от своего начальства. До чего доходила эта осторожность бурсы в ее внутренней жизни, видно из того, что она, для полного обезопасения себя со стороны начальства, устраивала в коридорах передовые пикеты и постоянные караулы. Сторожа и часовые в опасных пунктах предохраняли бурсу от начальства достаточным образом, так что она под этим прикрытием могла творить, что было угодно ее душе. Начальство многое подозревало, но оно не знало и не могло знать, что творится в глубине в самых недрах бурсы.

Главной ошибкой, причиной многих других ошибок в отношениях начальства к бурсе было то, что оно было только исключительно властью исполнительной, потому что в своих официальных детях видело только больших и сообразно этому поступало.

В последнее время на место наказания розгами встало исключение из училища. Целыми десятками гнали бедных глупых детей на все четыре стороны те самые, на прямой и священной обязанности которых лежало воспитание этих детей. Конечно, начальству легче было одним взмахом пера зачеркнуть всю будущность, чем обратить внимание на человека, но кому польза, кому легче от таких подвигов начальства? Обществу прямой вред, потому что одним неучем больше. Может быть, отцам, матерям? Начальство не видит дальше своего носа, дальше нотат и журналов, дальше форменной стороны дела, оно не видит в учениках людей, которые имеют право на образование за свои гроши, не видит стоящих за детьми родителей. Начальство позабыло, что оно создано для учеников, а не ученики для него.

Вот детство, привольное и свободное детство каждого кутейника. Свобода везде и во всем, свобода с утра до ночи. С самых пеленок приходится встать лицом к лицу с живой природой, с действительной жизнью, с тем горем и радостью, которые неразлучны с ней. Свободно и скоро разбегается молодая кровь по всему телу, несет она с собой здоровье и силу, крепнет и развивается на широком приволье детский организм. Масса впечатлений

охватывает молодое существо, но оно не теряется в этой громаде, оно широкими глазами смотрит на божий мир, его детская душа, как губка, втягивает в себя эти впечатления, и они твердым фундаментом ложатся в основании всего здания. И счастлив тот, кто развивается так, кому не мешали жить в детстве самому, кто не знал в этом возрасте другой воли, кроме своей, кто делал все так, как хотел, как мог придумать его молодой мозг, кто не видал над своей головой постной физиономии учителя, самой скучнейшей вещи в этом свете. Природа делает свое дело, она дает все, что может дать; молодой организм берет все, что может взять. Но... стоит где-нибудь большой каменный дом, в несколько этажей, с множеством окон, в нем производится «образование ума и сердца». Вот в эту-то штуку и забирают детей природы. Теперь прощай все, что за этим домом, теперь наступает темный период жизни. Оглушенные грохотом городской жизни, требованиями и условиями нового положения, долго не могут присмотреться новички к этому положению, к тому каменному гробу, в который толкнула их судьба. И живут они тут, вянут и гниют заживо, пока не привыкнут к тьме, пока не позабудут все, что видели за стенами или пока не выгонит их благодетельное начальство с волчьим паспортом.

Горько плачет мать над искалеченным детищем, больно материнскому сердцу переносить это горе... Вздыхает и хмурится отец,— плоды учения приходятся горше корней... Только нет никакого дела до всего этого главным виновникам, только они не принимают никакого участия в расхлебывании той каши, которую заварили. Они остаются постоянно правы в этом деле, они даже изображают из себя каких-то страдальцев. И долго еще не поймут люди, что есть тяжелые преступления, хотя и не пролито тут крови, что есть преступники, которым мало места в каторге, хотя они во всю свою жизнь не пролили, может быть, ни одной капли крови, не отрезали ни одной головы. И доживают эти люди тихо и спокойно свой век, доходят они до больших чинов и почестей, и отдают и будут еще долго отдавать им отцы и матери своих детей, тех детей, для которых они не пожалеют своей жизни, для которых сами живут, в которых все их богатство, счастье, будущность, которые для них все в здешней жизни...

Сколько горя семье, сколько слез, а кто его знает, кто мерял?!.

Встаньте же вы, отцы и матери, подымите ваши головы, подайте голос и потребуйте отчет за своих детей. Вы имеете право на такой отчет, потому что вы отдали этим людям самую дорогую часть самих себя.

Но длинен и молчалив ряд отцов и матерей, грустно и вопросительно смотрит он на меня, и я читаю в его глазах затаенную мысль, мысль о детях, скорбную и бессильную мысль, мысль, от которой щемит грудь, ноет родительское сердце...

Бурса глубоко ненавидела свое начальство, и пусть бог судит, насколько она была виновата в такой ненависти. Свою ненависть к начальству бурса переносила на все, что окружало начальство. Оставлял инспектор свою бобровую шапку в классе, она птицей летала под потолком, из нее выдергивали пух, шерсть, подкладку. Попадались инспекторские калоши, в них наливали воды или прибивали к полу гвоздями. Выходила инспекторская козлуха погулять на училищный двор, бурса и тут находилась.

— Перцу ей засыпать!!.

Козлуху ловили, насыпали перцу в задние части и отпускали на двор. Козлуха начинала выделывать перед почтенной публикой самые замысловатые па, блеяла и немилосердно трясла хвостом.

— У инспектора-то, поди сердце не нарадуется, глядя, как его козлуха веселится,— острит довольная бурса.

— А вот бы самому инспектору засыпать бы перцу-то!..

— Это бы важно, он, наверно, получше козла бы забегал!..

Попадались поросята, им отрезали хвосты, ломали ноги, выколупывали глаза, привязывали палки и камни на шею.

Инспектор училища о. Василий был артист своего дела, кажется, сама природа создала его быть инспектором. Что можно было сделать, что мог сделать человек на такой должности, о. Василий делал. Не было, кажется, средства, не было хитрости, которую не пустил бы в ход о. Василий для достижения своей цели, то есть для открытия темных дел бурсы. Но все было напрасно, все не-

устанные старания о. Василия, вся его змеиная хитрость вставала в тупик перед бурсой и не давала надлежащих результатов. Бурса ненавидела его от всей души, ненавидела, как один человек, потому что видела в нем постоянный источник всяких зол и напастей. При каждом удобном случае она считала своим наисвященнейшим долгом напакостить о. Василию наивозможно сильнейшим образом. Видит, например, бурса, что инспектор идет по двору в ее владения, сейчас кто-нибудь ставит мокрую швабру к дверям, так что, когда инспектор заходит в дверь, швабра прямо валится ему в физиономию. Или инспектор любил приходить по ночам в бурсу, посмотреть, что творится там в это время. Для того, чтобы пройти незамеченным, нужно было пройти особым ходом, который никогда не отворялся и ключ от которого хранился у инспектора. Чтобы отучить инспектора от ночных путешествий через таинственный ход, бурса в один прекрасный вечер вымазала дверные ручки самой отвратительной жидкостью. Инспектор попал на удочку.

— Как орел, поди, огребся за ручку-то, долговязая петля,— злорадствовал Тюря.

Подобные проделки дорого стоили бурсе, но она не сдавалась и в один голос твердила, что знать ничего не знает, ведать не ведает. И бурса была права,— в частности, ни один человек не был виноват более другого, потому что все одинаково относились к своему начальству и все были готовы нагадить. Жестоко рассчитывался инспектор с своими недругами за такие штуки, но бурса не унывала, она твердила одно: «Воля ваша, кожа наша, розги казенные, люди наемные, дерите — сколько хотите».

Среди бурсы существовали ремесла и искусства, одни делали табакерки и трубки, другие переплетали и клеили коробки, третьи выделывали разные безделушки, рисовали. Бурса хотела читать, но книг было крайне мало. Стремление к чтению однажды дошло до таких пределов, что бурса сделала складчину и купила на толкучке «Лесного бродягу», который и был зачитан в лепестки.

В городе был театр, бурса иногда попадала в него. Сцена производила большое впечатление, и бурсаки решили устроить театр дома. Для первого раза решили дать Сусанина, хотя и не было самой пьесы под руками, не было наконец и декорации. Бурса сама придумала

содержание и ход пьесы и переложила на бумагу. Первое препятствие было обойдено. Второе препятствие состояло в отсутствии женских костюмов, которых никто не решится дать бурсе. Но и это затруднение было обойдено, из казенных простыней бурса ухитрилась наделать самых замысловатых женских нарядов. Декорации, оружие, бороды — все это было пустяки, и бурса целую неделю трудилась в поте лица над этим. Декорации были готовы. Явились ружья, сабли, кинжалы, копья — все это было приготовлено из дерева и выполировано казенными карандашами. Оставалось натащить елок для полноты картины, и это бурса ухитрилась сделать, придя каким-то таинственным образом в соглашение с служителями, усердными поклонниками Бахуса. К назначенному сроку все было готово. После занятных часов больше пятнадцати елок появилось в той комнате, где занимались бурсаки. Резаная бумага вполне заменила снег. Началось представление, бурса замерла в ожидании. За последним монологом Сусанин окружен врагами, сабли блещут, он падает, обливаясь кровью. Эффект вышел поразительный, бурса взвыла от радости.

— Молодец Масталыга, важно сыграл! — говорили бурсаки.

После представления актеры и зрители были в таком возбужденном состоянии, что вступили между собой в бой, чем и закончился праздник.

Как проводила свой день бурса?

Утром она вставала по звонку и молилась богу, чтобы он ей ниспослал всякие и богатые милости, чтобы избавил от труса, огня, нашествия иноплеменников и междоусобные брани. Просила также себе бурса и мудрости, но более чистосердечна и естественна была молитва о ниспослании насущного хлеба, потому что в желудке была торричеллиева пустота и жрать хотелось до тошноты.

Время до обеда бурса проводила в классе.

С обеда до занятных часов бурса изнывала от бездействия. В это время по коридорам и комнатам бродили, как тени, несчастные бурсаки, не зная, куда голову приклонить. Были счастливцы, у которых находилось какое-нибудь дело, а то возьмет человек нож да парту и долбит. Другим и этого не оставалось, подойдет к парте, попробует ее зубом или гвоздем,— не берет и отойдет дальше. Американцы наказывают своих тяжелых преступников,

закоренелых злодеев заключением в голых стенах, отнимая всякую возможность что-нибудь делать, говорят, заключенные таким образом выносят страшные мучения и нередко сходят совсем с ума.

У бурсы, если вычеркнуть зубрение, свободное время было именно таким заключением, с тою разницей, что американские преступники заключались в хороших помещениях и с сытым желудком, а бурса томилась впроголодь и по сырым и грязным помещениям.

Смутно было на душе в такие минуты у бурсы, неприветливо смотрела она тогда на мир божий, злилась и дралась с встречным и поперечным. Но драться постоянно надоест хоть кому, у бурсы оставалось все-таки проклятое свободное время, и скука, тяжелая, как свинец, безвыходная, как круг, забирала ее в свои руки. Бурса пускалась в это время спать, но и спится в такое время плохо, лежит-лежит человек, сон нейдет, а в голову забирается всякая чепуха. Подымет голову, покрутит ею и думает, не выскочит ли дурь из головы. Нет. Не берет. Поневоле тут додумаешься до чего-нибудь, и бурса додумалась.

Бурса часто удирала от классов, посмотреть, как будут наказывать плетьми на базарной площади. Подобные зрелища бурсе очень нравились, и она целые часы простаивала на морозе, поджидая, когда привезут «грешника», как выражалась бурса. В одно время явилось у бурсы страстное желание устроить эшафот дома, и она привела в исполнение эту мысль. Епископ сделал эшафот, грешниками явились мыши, благо в них недостатка не было. Наказания были увеличены и разнообразны.

Кто-нибудь ловил мышь, и в бурсе разносилась весть, что в столько-то часов назначена казнь. К означенному сроку все собирались. С барабанным боем привозили пойманную мышь и взваливали ее на эшафот. Мышь привязана, обвинение прочитано. Каждая мышь обвинялась в семи смертных грехах, в неуважении начальства и краже сала и бурсацких корок. Мышь отвязывали от столба и клали на «кобылу», где и производилось сначала наказание плетьми. Палачом был Епископ.

— Берегись! Соловья спущу,— кричал он, как настоящий палач, замахиваясь плетью.

— Ударю,— вопил неистово он, отпуская первый удар. Тех мышей, которых присуждали к смертной казни, сначала исповедовали.

— Не украла ли?— допрашивал Галман.

— Блуда не сотворила ли?

Мышь молчала.

— В пост скоромного не ела ли?

— Ела,— отвечают все, и мышь ведут на казнь.

Одних приговаривали к «расстрелу», других к повешению. Но самой любимой казнью было четвертование. Обвиняемую мышь долго допрашивали сначала, потом пытали огнем, водой и железом. Потом уже полумертвую затаскивали на эшафот, часто без хвоста или одной лапы, ушей и языка. Сначала отрезали одну лапу, потом другую, перерезывали пополам, и, наконец, в виде особенной милости, отрезывали голову.

Эти кровавые представления интересовали бурсу до последней степени, и она предавалась им с большим усердием. Много мышей погибло на бурсацком эшафоте, заливая его своей мышиной кровью, много наслаждения принесли они своей гибелью бурсе.

Ударило пять часов. Все по местам. Поднимается глухой шум. В одном углу слышится: антифоны, стихири, предпразднство, попразднство; в другом: «Ляжем костьми, братие, не посрамим земли русской».

— Всем ли нужно вступить в брак?— задает вопрос по книжке Тюря и задумывается. Вот что проходит в его голове: вечер в воскресенье, Масталыга получил откуда-то деньги, бурса решила употребить их таким образом. Существует в глухом конце города так называемая Тихонькая улица, рядом с ней тянется Красивая. По ночам в некоторых домах виден свет вплоть до утра, это притоны «мироносиц», как говорит бурса. К этим-то мироносицам и направилась бурса. Вместе с другими отправился и Тюря. Надел он манишку, лучшие свои брюки и сюртук, призанял у кого-то жилет и галстук. Оделся Тюря, и самому любо. «Куда это, Федя?», — спрашивает кто-нибудь из товарищей, подмигнув лукаво. А Федя смотрит как-то недоверчиво, словно боится, что снимут с него весь наряд. «К девкам»,— ухмыляется он, прищурившись и скосивши рот набок. Что было дальше,— история умалчивает, но поздно ночью воротились бурсаки, долго перешептывались, сидя на койках, и лукаво посмеивались между собой.

— Отчаливай, Федя! — кричит зычным голосом Атрахман, вылупив черные, как уголь, глаза.

— А что?

— Очи мои выну ко господу...

— А...

И друзья отправляются в темный коридор, где встречают другую партию. Что-то переходит из рук в руки, что-то наливают бережно к свету, что-то пьют и отчего-то крякают. Долго жует потом Федя бумагу, сургуч, фиалковый корень.

— Пахнет? — спросит он кого-нибудь, дохнув.

— Пахнет.

Зубрит бурса, нещадно зубрит, зубрит до беспамятства, до потери сознания.

— Barba — борода, barba — борода, barba — борода...

— Как борода?

— Turba.

— Ну?!

Но «турба» ничего больше не понимает, у него в горле пересохло, язык перемололся, а в голове стоит невообразимый хаос.

Вон Епископ доходит свою порцию. Он словно какой одержимый поводит белками маленьких свиных глазок, качается — это необходимая принадлежность зубрения, наконец он остановился и закрыл глаза. Точь-в-точь, как в обмороке, открывает он их, исподлобья смотрит кругом и бросает, наконец, книгу.

— Бывает и свинье праздник,— ворчит он, чувствуя себя хуже всякой свиньи.

— Господин Епископ, вы что тут воркуете?

— Убирайся!..

— Пожевать не хотите ли, я вот дам свою жвачку.

Жвачками называлась резинка, которой стирают карандаш и которую жуют дня три, так что она размягчается и делается тягучей. Тогда ее растягивают, наполняют воздухом, который с треском разрывает ее, если пузырек давнуть.

Но Епископ и жвачки не хочет, он злобными глазами смотрит на своего доброжелателя.

— Я тебе задам жвачку...— шипит он.

— Ну, это кто кому задаст. И ты невелик еще в перьях-то.

— Рожу растворожу, зубы на зубы помножу...

— Рылом не вышел еще.

— А вот я тебя...— и Епископ летит вдогонку за

обидчиком, а тот высунул руку из-за комода и самым тонким дискантом докладывает:

— Насыпьте, г. Епископ, пожалуйста, насыпьте...

— Я вот тебе насыплю...

Но насыпать не было суждено, и Епископ снова уходит на свое место. Опять у него грустно на душе, глупо в голове.

— Эх, жизнь! — сжимает он зубы так, что что-то захрустело.

Зубрит бурса, нещадно зубрит, зубрит до беспамятства, зубрит до потери сознания.

Вот сидит Сташка за латинской грамматикой. К нему подходит Патрон.

— Что, Сташа?

— Ничего.

— Вот что, Сташа, давай выбреем тебе заливы, а?

Сташа думает с минуту, но потом соглашается. Патрон натачивает перочинный нож и выбривает им на Сташиной голове две большие лысины.

— Теперь отлично,— говорит он.

В бурсе существовало убеждение, что количество ума в голове человека прямо пропорционально развитию «заливов», поэтому ими и гордились все. Сташа любуется перед маленьким зеркальцем сделанным приобретением.

— А ну-ка, Сташа, долго ли ты проживешь,— и Патрон берет Сташины уши в свои руки, отыскивая в них какой-то бугорок, по которому бурса заключала о долговечности.

— Нет, Сташа, недолго тебе красоваться на белом свете,— сосредоточенно говорит Патрон, покачивая головой.

— А но...

Через четверть часа Сташины «заливы» были сначала намазаны салом, а потом сажей. Сташа ругался на все руки.

— Эдак-то виднее будет, баранья твоя голова,— похваляют ему.

Зубрит бурса, нещадно зубрит, зубрит до беспамятства, зубрит до потери сознания.

Кружок около одного стола, один рассказывает, остальные слушают.

— Так, как он говорит?

— А представилось, говорит, одному больному, что он воз с сеном проглотил, вот он и мучится, не ест, не пьет,

потому, говорит, сидит этот самый воз с сеном в брюхе у меня, и я ни есть, ни пить не могу. Бились-бились с ним доктора, ничего не могут поделать: не ест, и делу конец. Да уж один, говорит, доктор догадался, взял да и подстроил зеркало так, что по улице везли воз, а больному казалось, что воз у него из горла выезжает. Так, говорит, и вылечили.

— Экая пуля, этот инспектор у нас!..

— Чего ведь он и не выдумает!

— И все-то он, братцы, врет!

— Такие пули отливает,— страсть!

— А вчера пришел к нам вечером да и хвалится. Я, говорит, все-все знаю. Я знаю, говорит, что вы делаете, что вы говорите, что вы думаете. У меня, говорит, все записано.

— А не знает он, как к его горничной Еланский подделался, не говорит?

— Нет.

— Напрасно. Ему бы это ближе знать-то, под боком.

— У него, братцы, надо полагать, шапка-невидимка есть.

Зубрит бурса, надсадно зубрит, зубрит до беспамятства, до потери сознания.

Не слышно отдельных звуков, все сливается в одну невообразимую кашу.

— Эй вы, синепупые,— кричит кто-то.

— Держись крепче за землю,— несется из-под стола.

— Не от похоти мужские, не от похоти женские...— продирается сквозь шум и гам.

— Кого ся не убою,— слышится ему в ответ.

— У, лешак твоей матери,— говорит Патрон, хлопнув книгой по столу.

— Так ты и наблошнился?

— Наблошнился.

— Молодец. А ну-ка...— дальше нельзя разобрать.

— Идет плешь на гору, идет плешь под гору, плешь плеши молвит: я плешь, ты плешь, на плешь каплешь, по плеши хлопнешь, с плеши долой...— выговаривает Омега в десятый раз.

Бьет звонок, кончаются занятные, все отправляются ужинать.

Вечер. Ужин окончен, бурса идет на молитву благодарить бога за ниспосланные ей, бурсе, блага в сей день.

Молитва кончена, расходятся по спальням. Начальство оставляет бурсу в покое, потому что бурса должна спать в это время. Тихо в училище, глухо, и не слышно признаков жизни. В коридоре нижнего этажа ходит сторож, поляк, которого зовут Палькой. Он тоже изображает из себя некоторое начальство и не упускает случая задать щелчка подвернувшемуся бурсаку или колупнуть у него на голове масла. Бурса тоже не оставляет Пальку, колупает ему масло на голове, щелкает по носу. Темно в коридоре, лампа едва мигает, скучно тут Пальке, но долг прежде всего, это Палька знает хорошо и беспрекословно продолжает шагать по темному коридору. Сыро, холодно. Отворяется дверь одной спальни, что-то белое кубарем несется мимо Пальки.

— Куда?!— вопит он.

— Палька!

Палька хочет колупнуть по голове, но привидение вывертывается и, щелкнув звонко по Палькину носу, несется дальше по коридору.

— Хочешь, Палька, рябков,— доносится в последний раз до Пальки. Опять Палька ходит по безмолвному коридору, размышляет кой о чем. Рассчитывает, сколько ему перепадет в конце месяца гривенников и пятачков, чтобы он, Палька, не так больно драл бурсацкие тела. Доволен Палька таким расчетом, и сам выпьет, и приятеля угостит в праздник на эти деньги. Опять ходит Палька по коридору, и представляется ему, как он сегодня поставил за воротами одного мужика на колени за то, что он задел тумбу колесом. Любо теперь вспомнить Пальке, как испугавшийся мужик, сняв шапку, стоял по его приказанию на коленях на улице, где шел мимо народ, и все смеялись над проделкой Пальки.

Пока ходит Палька по своему коридору да предается благочестивым размышлениям, бурса начинает почивать. Тихо в спальнях. Как ряд саркофагов, стоят бурсацкие кровати, и на каждой по одному бурсацкому телу. Зловонные испарения подымаются над спящими, но форточки нет. Бурсацкие блохи, голодные, как сама бурса, нападают на спящих и грызут их, как собаки. Все сносит бурса и спит, если не сном молодца, то по крайней мере таким сном, когда отдыхает каждый мускул, каждый нерв. Сны видит бурса. Вон на той кровати, что стоит с левого краю, спит Зима. И представляется Зиме, долж-

но быть, очень хорошее что-то, он облизывается, чавкает губами. Представляется Зиме, что нашел он много-много денег. Забегает в обжорный ряд, наелся досыта сподобов. Отличная вещь эти сподобы, думает Зима, всегда буду их есть. Зашел Зима под навес, где продают кислые щи по летам, купил бутылку, налил стакан таких холодных кислых щей, поднес к губам... Кто-то легонько толкнул Зиму под бок, и сон улетел, как дым. Зима поднимает голову, перед ним во всем белом сидит Атрахман и молча уставился своими буркалами.

— Что тебе?— недовольно шепчет Зима.

— Надо.

— Кому?

— Идем.

Бурсаки идут в другую спальню, где спят ученики низших классов. Атрахман подводит Зиму к одной из кроватей. На белой подушке резко обрисовывалась красивая головка мальчика лет двенадцати. Русые волосы легкими завитками сбегали на белый красивый лоб, черные брови дугой опоясывали глаза, пухлые щечки и губки хотели брызнуть молодой кровью.

— Вот,— указал Атрахман.

— А... гм... — промычал Зима.

— Ау, вставай, к тебе пришли, — будил вполголоса Атрахман спавшего.

Мальчик поднял голову, он, видимо, не мог приглядеться и опомниться и во все глаза смотрел на Атрахмана.

— Так ты не хочешь,— тряс его за плечи Атрахман.

Мальчик молчал.

— Это знаешь или забыл уж? — Атрахман ткнул пальцем на подушку.

Мальчик вздрогнул, по лицу пробежало что-то тяжелое, он боязливо посмотрел на Атрахмана. Тот, весь в белом, с черными, как смоль, волосами, с желтым лицом, походил на привидение.

— Даю тебе пять минут на размышление, если нет, мы с тобой рассчитаемся по-своему... Понимаешь?

Мальчик опустил голову. Долго слышался шепот на этом месте, переходивший в угрожающие ноты, наконец Зима ушел, Атрахман остался. На другой день он угощал красивого мальчика пряниками, тот улыбался ему.

Чем подвигалась дальше ночь, тем больше оживала спальня последнего класса. Какие-то тени скользили по всем направлениям, одни приходили, другие уходили. Вместо одного под многими одеялами очутилось по два человека.

Вот несколько теней зараз тащат что-то белое в спальню. Подымается возня. Притащенного кладут на одну койку и привязывают полотенцами. Человек пять берут в руки подушки и начинают ими хлестать привязанного. Слышится плач. Подушки летают по воздуху. Привязанного рвет. Подушки летают по воздуху. Привязанный лежит в обмороке. Его отвязывают от койки, спрыскивают холодной водой. Он открывает глаза.

— Вот тебе наука вперед,— говорит кто-то.

Плач, шепот кругом. Бившие подушками уходят. На кровати остаются двое, один из них тот, которого сейчас только били.

Опять тихо в спальнях. Как ряд саркофагов, стоят бурсацкие кровати, и в каждой по одному бурсацкому телу.

Что же это тут творилось? Что за шептанье, кого и за что били?

Бурса делилась на две половины, мужскую и женскую. Мужскую половину изображали самые сильные, значит, из последнего класса; женщины — все смазливые рожицы, не исключая и последнего класса. По ночам «женское» отделение должно было принимать к себе в гости «мужское». Горе было ослушникам, горе было каждой «жене», не хотевшей отправить своих супружеских обязанностей.

У многих бурсаков были «законные жены», на которых никто не мог иметь претензии: у других были только «любовницы». Остальные «женщины» не представляли определенной собственности и переходили из рук в руки. Из-за «женщин» происходили постоянные интриги и происки между «мужчинами», происходили драки, общие свалки. Это был целый мир страстей в миниатюре,— любовь и ненависть, зависть и ревность, коварство и интриги. Все это волновало общество и разделяло его на партии. Если одна из «женщин» не хотела покоряться общему закону, если не хотела признать себя «женщиной», если не пускала к себе по ночам «мужа», то бурса поднималась против своего члена и наказывала его семейным обра-

зом. Первым и самым страшным наказанием было битье подушками, потому что били без пощады, били до рвоты, били до потери сознания. Этого наказания «женская» половина боялась, как огня. Бурса была очень изобретательна относительно наказаний, начиная с гусаров из нюхательного табаку или с зажженной ватой, поджигания подошв и пяток до купания в кадочке с водой до тех пор, пока купаемый не захлебывался, до опускания вниз головой из третьего этажа — висеть над каменным тротуаром. Бурса рвала ноздри и уши своим недругам, резала тела перочинным ножом, тыкала иглой или шилом, водила целые часы по училищу за некоторые части тела... Бурса выдумывала и пускала в ход в своей среде тысячу самых гадчайших и подлейших наказаний, до каких может дойти человек. Если бы как-нибудь чудом выплыло наружу все то, что творилось на том месте, где жила бурса,— самый терпеливый, самый незастенчивый человек, привыкший ко всяким мерзостям, отвернулся бы с непреодолимым отвращением от представившейся картины.

Такова была бурса, и начальство было бессильно против нее, потому что оно было начальство, а она — бурса. Они достаточно уравновешивали друг друга, чтобы жить отдельной независимой жизнью.

Рядом с бурсой существовали квартирные. Неказиста была жизнь квартирных по многим причинам, но она была в десять раз лучше бурсы, она была бы и еще лучше, если бы последняя не заражала ее.

Тихо, страшно тихо тянется день за днем, но все-таки тянется. С детской радостью, с чувством неизъяснимого блаженства видели мы, что деньки делаются все короче, что они день ото дня ближе подходят к рождеству. Я не знаю, что бы сделалось со всеми, если бы после такого долгого напряженного ожидания, и вдруг объявили, что не отпустят на праздники. Что касается меня, то я просто сошел бы с ума от такой штуки. Радостно билось мое сердце при воспоминаниях о доме, где я себя видел совершенно другим человеком, — не бессильным, не унижаемым, не зубрилой, как здесь, а человеком, точно таким же человеком, как и все другие. Все мы с детским нетерпением ждали отпуска, с радостью вычеркивая из

нашей молодой жизни каждый прошедший день, точно каждый такой день каждому из нас был по меньшей мере смертельным врагом.

Наш злейший, неумолимый враг, время, дотянуло-таки до того момента, когда всем было объявлено о конце классов и начале экзаменов. Радости и нашим восторгам не было конца. Зубренье в продолжение четырех месяцев, зубренье изо дня в день — все это довело до последней степени утомления. Бурса от радости ходила на голове, передавая свою радость в виде крепчайших зуботычин, братских оплеух, радостных потасовок. Бурса ржала, блеяла, кувыркалась, ходила на четвереньках, словом, бесилась и ликовствовала от всех печеней. Всеми пятью чувствами предвкушала она грядущие наслаждения, она нюхала воздух, поводила мордой, настораживала уши и глаза, ощупывала свои карманы, воображая их наполненными пирогами и лепешками всех возможных форм и очертаний. Очевидно, что воображение у бурсы было расстроено.

Но чем ближе подходило время к отпуску, тем осторожнее все делались относительно выражения своей радости, точно все боялись спугнуть приближавшиеся праздники. Сильна и живуча в человеке привязанность к родному гнезду. Для бурсы, для всех учеников духовного училища это чувство было единственным словом спасения. Только жизнь, настоящая жизнь с ее горем и радостью, нуждами и интересами, с ее смехом, слезами могла пробудить в бурсаке, изуродованном, придавленном — человека. Только на этот сильный голос могло еще ответить и отозваться в гибнувших людях то, что осталось в них человеческого. Итак, не все еще погибло в бурсе, был у ней еще один пункт спасения, был выход, был источник для новых сил — это родная семья, та семья, о которой меньше всего думают педагоги, когда систематически уродуют и калечат человека в продолжении десятков лет, перенося это уродование с одного поколения на другое.

Пусть будут благословенны минуты отдыха загнанных, измученных людей среди родной семьи, и да исчезнут, провалятся сквозь землю все те мудрые педагоги, которые портят человека с малолетства!

Были в училище сироты, были бедняки, которым некуда было ехать или не́почто. Странно, жестоко человеку слышать в десять лет, что нет угла в целом мире, где бы

позаботились о нем, нет угла, где бы он мог преклонить свою голову. Страшное, тяжелое, невыносимое положение. Оно сгибает человека ниже к земле, оно издевается и смеется над ним, оно отнимает у него то, на что имеет право каждый зверь, каждая гадина.

Скоро рождество. На квартиру съезжаются родители за своими детьми или родственниками. Между ученическими физиономиями все чаще начинают появляться жиденькие косички дьячков и белые пушистые волосы дьяконов и батюшек. Настоящая, толстая, служицкая борода появляется среди всего этого. Тулупом или дегтем опахнёт иной раз, так что вздрогнешь от радости. Ясные зимние ночи манят из душной комнаты, манят под звездное небо, где так привольно дышится груди. С нами живые люди, они заботятся о нас, они снисходят до наших горестей, и наша радость — их радость.

Вечер в квартире Татьяны Ивановны. Идут занятные часы, но не слышно той томящей, вытягивающей душу смертельной тоски, которая в это время обыкновенно овладевала всеми. Нет, все заметно обновилось, на всех повеяло настоящей жизнью, и в каждом заговорил сильный голос, что и он тоже человек, что и он тоже может и хочет жить другой жизнью, другими интересами и стремлениями. Вон Благовещенский сосредоточенным образом изрезывает лист за листом на самые мелкие части свои записки по истории, а потом дождем разбрасывает лепестки по комнате. Ермилыч смотрит на него с улыбкой, раздувая по временам летящие на него лепестки бумаги. Ганька Герань старается около карандаша, возьмет очинит его, наскоблит графита и отполирует им очиненное место. Потом снова очинит, снова наскоблит графиту и отполирует и т. д., наконец, плюет на стол, мочит в слюне конец карандаша и снова полирует. Он очень занят своим делом, так что, глядя со стороны на его белобрысую физиономию, подумаешь, что человек и невесть какое важное дело делает. А вот Змей сидит. Он берет тихонько книгу, опускает ее под стол, а там с ожесточением проводит по ней ножом. На результаты своей деятельности ему нельзя посмотреть теперь, еще, пожалуй, кто-нибудь заметит, потому он ограничивается только тем, что проведет ножом и пощупает, глубок ли разрез, потом опять проведет по тому же месту и опять пощупает. Физиономия его ничего не выражает, потому что он смотрит в книгу своего соседа.

А вон к Шиликуну приехал отец, дьякон, с рыжеватой бородой, с мутными глазами. Он сидит за одним столом с учениками и помогает им петь. Около него собралась большая группа, дети держат перед собой книги и самым усердным образом выводят каждую нотку. Возле отца сидит и сын-Шиликун. Он поднял брови, вытянул шею и тоненьким голосом вторит родительскому басу. Замечательно выражение лица у Шиликуна в настоящую минуту,— сидя с отцом, он как будто сделался целой головой выше обыкновенного Шиликуна. С какой любовью, с каким вниманием и терпением исправляет ошибки детей этот смешной на первый взгляд человек с жиденькими косичками, в неуклюжем подряснике. Сколько добродушия, сколько симпатии светится в этих грубых, угловатых чертах лица. Хорошо мальчуганам сидеть с этим человеком, и ему, старику, тоже приятно учить их. Тут больше нет учеников, тут люди, тут дети. Да, дети, потому что с ними сидит отец.

Пение кончилось.

— Мне надо географию купить,— говорит Шиликун отцу.

— Какую географию? Ведь у тебя есть?

— У меня старая, надо новую, по которой учитель задает.

С немым удивлением, долго и пристально смотрел отец на сына.

— Разоренье, чистое разоренье с этими книгами!— в отчаянии машет он рукой.— В наше время так делывали: купит отец тебе книгу, переплетешь ее в корку, смажешь края листов деревянным маслом, чтобы не терлись, книга-то и служит до конца ученья. А нынче что? Книга не книга, та не ладно, другая не ладно, где нам денег-то взять, у нас ведь не монетный двор.

Целую ночь потом рассчитывал старик, как выкроить сорок копеек на книгу из тех денег, которые привезены в город и вперед все рассчитаны по грошам.

На улице мороз трещит, в железной печке в ответ ярко горит веселый огонек. Занятия не клеятся, всех так и подмывает беспричинная беспокойная радость. Около печки сидит мужик, сложив ноги калачом. Около него собрались любопытные. Простодушно смотрит «сипачок» на простодушную кутью. Он теперь «сипачок», «сипалданчик», а не «сип», не «сипалда», как раньше. Этот

простодушный сипалданчик так выразительно и понятно говорит своей нехитрой фигурой всем о родине, о том быте, среди которого растут эти люди. Поля и леса, нивы и рощи, свежий воздух и полная воля, те тулупы и зипуны, среди которых вырастает кутейник, аки крин сельный,— все это напоминает каждому эта толстая борода, которая сидит перед печкой. Все с особенным удовольствием толкутся около него, рассматривают, щупают и теребят руками, точно он сейчас только свалился на землю с какой-то другой планеты.

— А что, дядя,— заговаривает Шиликун,— глянется тебе город?

— А чем не глянуться,— улыбается в бороду мужичок.

— А в деревне, поди, не в пример лучше?

— Знамо, в деревне хорошо.

— Наешься шанег, залезешь на полати, повернешь брюхо кверху и лежи себе.

— А всяко тоже бывает, иной раз немного належишь на полатях-то.

— А тут еще к тебе хозяйка подвалится, вот, скажет, такой-сякой, немазанный-сухой, толстая твоя борода...

— Вишь ты, вострой больно. А те завидно, что ли?

— Нет, дядя, я так говорю. Хорошо, мол, с бабой-то.

— Вам здесь от простой поры, балясы-то точить,— улыбается мужичок.

Отец Петровича перевелся в тот же завод, где служил мой отец, поэтому мы с ним сделались земляками и нам вместе привелось ехать к рождеству. За нами послали мужика в большой фуре, на одной лошади. Петрович по этому случаю всецело предался хозяйственным соображениям и расчетам. Даже по ночам с его постели доносился какой-то шепот и бормотанье. Это Петрович еще на сон грядущий делал последнее резюме.

Билеты получены. Все и все, как в тумане. Все стараются как можно скорее выбраться из города, точно вся нечистая сила гонится по пятам. На прощанье еще успевают кое с кем подраться, и этим дело заканчивается.

Бойко бежит наша небольшая лошадка по широкой зимней дороге, звонко отдаются в застывшем воздухе удары ее копыт о замерзшую землю. Мы с Петровичем, укутанные и завязанные, лежим в глубокой кошеве, закрылись сверху кайсачьим одеялом. Яркая, звездная, зимняя

ночь застает нас в дороге. Высоко поднимается над нами небо, весело искрятся и мигают с него нам звездочки. Порой срывается одна из них, летит вниз, оставя на минуту после себя яркую черту в небе. Густой лес стоит по сторонам дороги, он, как шубой, покрыт снегом. Петрович достает папиросу и каким-то образом ухитряется раскурить ее под одеялом. Стоит посмотреть на него в эту минуту, какое блаженство вкушает его душа в эту минуту, сколько счастья, самого безграничного счастья, разлито по его физиономии.

— Вот, когда мы ездили с Тимофеичем,— начинает Петрович,— то ли была потеха каждый раз. Едем-едем — замерзнем. Соскочит Тимофеич и побежит вперед по дороге греться. Мы себе едем и совсем позабудем про него, только наша лошадь вдруг как захрапит и шасть в сторону. Кучер смотрит,— дело ночью,— что впереди на дороге чернеет, пень не пень, волк не волк, бог его знает кто. Кричит, не уходит. Подъезжаем ближе, смотрим, Тимофеич стоит на коленях на дороге и шапку снял. А сам в ноги лошади, может быть, говорит, когда-нибудь оскорбил, так уж вы, говорит, простите меня, бога ради, а сам в ноги кланяется лошади, чуть не с полверсты шел кланялся. Ведь и выдумает же что-нибудь, шельма эдакая, просто иной раз со смеху уморит.

Звезды прячутся, небо темнеет, надвигаются тучи. Мягкими пушистыми хлопьями валится на нас снег. Но вот прогудел ветер, задрожал лес, закружился вихрем снег, застонали деревья, и завыла, заплакала около нас зимняя вьюга. Ночь, снег, ветер. Дорогу перемело, лошадь вязнет и едва плетется от усталости. Лес заговорил тысячью голосов, точно вся нечистая сила проснулась и заголосила на все лады. На опушке леса показываются длинной вереницей волки, лошадь храпит. Петрович вынимает кистень и грозно кричит:

— Я ужо вас, бездельники!

— Это они, проклятые, падаль где-нибудь заслышали,— замечает нам ямщик.

— А далеко они ее слышат?

— Да верст за пять будет.

— Этакие стервы.

На третий день путешествия перед нашими глазами был наш завод. Хорошо было смотреть на него с высокой горы в ясное морозное утро, когда воздух был так чист и

прозрачен, когда темно-синий дым винтом поднимался из труб к небу.

Я был дома, но я был чужим среди своих. Я одичал, похудел, поглупел, мать не узнавала своего детища. Я не жаловался на свою жизнь и молча переносил свою долю. Даже задушевному своему другу и приятелю Косте я ничего не рассказывал, хотя он и расспрашивал меня обо всем.

Я принес с собой из училища много страшных привычек и незаметно для себя сам по себе усвоил отлично бурсацкий образ выражения мыслей, так что другой раз меня совсем не понимали.

— Что это с тобой, Митя,— говорила мне мать, —ты настоящим дикарем скоро сделаешься.

В свободное время, разгуливая по своей комнате, я затягивал иногда одну из тех песен, какие слышал в училище. Однажды я особенно поусердствовал, так что мать из другой комнаты слышала содержание моей песни.

— Что это ты такое поешь, Митя? — спрашивала меня мама, стоя в дверях.

— «Ах, жестокая фортуна, коль мя тяжко обманула...»

— Да ведь это еще твои дедушки певали, а тебе стыдно такое старье распевать.

— Да у нас, мама, все такие песни поют,— оправдывался я.

Мать покачала головой и ушла. Она не подозревала, что я за четыре месяца подвинулся взад по крайней мере лет на пятьдесят.

— Трудно учиться, Митя,— спрашивала меня Марья.
— Трудно, Марья.
— Учиться, говорят, все равно, что камешок грызть.
— Хуже, Марья.

Святки кончились, и мы с Петровичем снова отправились в город. Первая новость, которую услыхали мы там, была та, что бурсаки убили во время раздачи билетов Черемухина.Черемухин был сын городского дьякона, бурса ненавидела его по каким-то причинам, но это был мальчик скромный, который никому не делал ничего худого.

Вот что рассказывал нам Гоминов, нечаянно сделавшийся чуть не свидетелем этого убийства.

— Иду это я домой после экзамена, смотрю, передо мной идет Черемухин. Я его догнал, он идет и плачет. О чем это, говорю. Да вот, говорит, едва иду, бурсаки избили. За что, мол, они тебя? Да просили у меня на полштофа, а денег у меня не было, они и прижали меня в классе. Квартирных в классе никого не было, все бросились билеты получать, на свободе-то они ссочили его, да и расправились по-своему. Так я от него и не слыхал ничего больше. Отколотили — отколотили, не в первый, не в последний, думал, раз, не привыкать стать нашему брату к этому делу. Только слышу, через несколько дней Черемухин умер. Как так? А дело вышло вот как. Пришел он домой-то, да и слег в постель, да и не вставал больше. Отец с матерью расспрашивать пустились, что с тобой, да не бил ли тебя кто. Заперся парень, никто, говорит, меня не бил, а просто, говорит, я простудился. Позвали доктора. Посмотрел доктор Черемухина, а у него на спине штука с кулак всплыла. Это, говорит, что? А Черемухин уже лежит без памяти. Отец с матерью ничего не знают. Доктор посмотрел-посмотрел, да и спрашивает, не бил ли его кто? Никто ничего не знает. Так это дело и замялось совсем было. Да уж перед самой смертью, в бреду, Черемухин все и выболтал. Мечется, стонет, плачет. Отец с матерью стоят да плачут, чего поделаешь. А он плачет, кричит: не бейте, кричит, не бейте меня... Все фамилии рассказал, а отец с матерью взяли, да и записали все на бумажку. Сейчас, после смерти, отец к смотрителю, так и так. Начали искать, шестерых нашли, да что с ними поделаешь, главные зачинщики все-таки остались.

Шестерых бурсаков по этому делу исключили.

— Я одного человека убил на своем веку,— говорил после под пьяную руку один из исключенных.

Время шло.

Солнце повернулось на весну, запели птицы, побежала вода с крыш. Весна идет, весна идет, и здоровье, и силу, и счастье несет за собой. Пусть отдохнут люди от зимней спячки, пусть подышат свежим воздухом, пусть хоть маленько полюбуются на мир божий, он, говорят, очень прекрасен...Дохнуло весной и на учеников духовного уездного училища. Еще чернее показались им стены их квартир,

душно сделалось им в комнате, захотелось на волю, на зеленый луг, в лес, куда-нибудь к светлой речке, где можно разложить огонь до самых небес, печь в золе картофель, скакать и кувыркаться, петь и кричать. Самый прилежный глаз самого прилежного зубрилы не так дерзко останавливался в это время на странице учебника, буквы сливались, слова перепрыгивали с одной строчки на другую, строчки переплетались между собой. Часто страница оставалась раскрытой гораздо дольше, чем бы это следовало по правилам искусства; еще менее сообразно было с правилами искусства, когда надоевшая книга, шелестя листами, летела в угол. Невольно притягивает к себе глаза соседняя береза, залитая зеленью, не было возможности оторвать глаз от ее зеленой вершины, а мысли уходили все дальше и дальше, за пределы, позволенные начальством.

Вечер. Солнце садится за соседний сад. Кончились занятные часы. Питомцы Татьяны Ивановны бросают книги и бегут на широкий двор. Начинается игра в мяч, чехарду.

На крылечке сидят трое: Петрович, Благовещенский и Ваня Миролюбов, мальчик лет девяти. Петрович играет с Миролюбовым в городки, а Благовещенский смотрит на игроков. Игра состоит в том, что берут пять небольших гладких камешков, которые бросают известным образом и ловят. Проигравший подставляет руку победителю, который щиплет подставленную руку, дерет ее ногтями, бьет кулаком. Петрович обыгрывает Миролюбова, а Благовещенский исполняет роль палача. Вот в последний раз взлетел камень на воздух, Петрович подставил широкую ладонь, и камень исчез в ней. Скверная улыбка заиграла на губах Петровича.

— Ну-ка ты, Миролюбов, делай.

Миролюбов бросает вверх камни, но его маленькая рука не успевает собрать их во время полета, и они летят в разные стороны. Петрович хохочет, отклонившись всем туловищем назад. Игра кончилась, Миролюбов проиграл.

— Благовещенский, задай ему расчет,— говорит Петрович, потирая руки.

Миролюбов протягивает руку на доску. Благовещенский высоко подбрасывает камень и, пока тот летит вверх и обратно, успевает больно щипнуть подставленную руку. От нескольких десятков таких щипков рука при-

пухает и начинает покрываться синяками. С каждым щипком появляются багровые пятна. По лицу Миролюбова пробегает нервная дрожь, но он еще терпит. Благовещенский серьезно выполняет свою обязанность, Петрович судорожно хохочет.

— Ну, Благовещенский, теперь коготками...

Благовещенский бросает камень в воздух и всей пятерней дерет кожу с подставленной руки своими большими ногтями, нарочно отрощенными для этого случая. На руке появляются продольные борозды, из них сочится кровь. Камень подымается и падает, маленькая рука покрывается кровью, губы сводит в судорожную улыбку. Но нет больше терпения, Миролюбов плачет. Благовещенский разгорается справедливым негодованием и в ответ посылает звонкую пощёчину.

— О чем ты расхныкался, свинья этакая, разве тебя кто заставляет играть?..

— Хорошенько его, Благовещенский, вишь, какая неженка.

Опять камни летят в воздух, опять синие ногти вонзаются в маленькую руку. С наслаждением заглядывает в лицо маленькому мученику Петрович.

— Что, голубчик, больно? — гадкая улыбка появляется на его толстых губах.

С раскрасневшимся детским личиком стоит Миролюбов перед своими мучителями, крупные слезы катятся по лицу из больших карих, детски-наивных глаз. Вот одна слезинка забежала на кончик носа и оттуда упала прямо на израненную руку. Еще раз Петрович посмотрел со своей подлой змеиной улыбкой в лицо Миролюбову, и ему пришло желание самому руку приложить.

— Постой, Благовещенский, дай мне докончить. Камни под руку!

С умоляющим видом смотрит Миролюбов на Петровича, потом сам разложил камни под руку, расположив их таким образом, что они острыми своими углами приходились как раз в руку. Камень летит вверх, и Петрович своим громадным кулачищем бьет подставленную руку. С отчаянным криком отдергивает Миролюбов израненную руку, дует на нее и лижет языком. Петрович дико хохочет, его двадцатилетнее существо хочет разорваться от смеха.

— Что?! Это видно не Благовещенский!.. То-то ты,

нюня, учись, как на свете жить... Так и быть, уж прощаю два раза, подставляй в последний раз и беги с богом.

Еще удар, и Миролюбов бежит в комнату. Там садится на свой ящик и долго и горько плачет, обдувая и смачивая слезами израненную руку.

Неужели это люди? Да, это люди.

Спросите Петровича, спросите Благовещенского, зачем они сейчас мучили Миролюбова? При таком странном вопросе на физиономиях двух достойных друзей явилось бы безграничное удивление. Они играют, они наслаждаются всеми фибрами своего существа, а их спрашивают, зачем они мучат. Мучат?! Да разве так мучат! Спросите вы их, Петровича и Благовещенского, как их в свое время мучили, а то нашли мученье... И это совершенная правда, Петрович и Благовещенский действительно играют без всякой задней мысли.

Наплачется досыта Миролюбов, заснет с горя, и пройдет это маленькое горе. Поболит рука с неделю, много две, и пройдет все, останутся маленькие царапины на память, чтобы вперед был осторожен. Но плохо то, что в душе девятилетнего Миролюбова после трехчасового раздумья западет радостная надежда, что и он вырастет когда-нибудь, сделается большим и тогда... задаст Благовещенскому. Плохо, когда такие мысли забираются в молодую душу, плохо, когда их лелеют целые годы, когда десятилетний мальчик в задушевной своей молитве просит бога дать ему силу, чтобы отколотить какого-нибудь Благовещенского. Вырастет Миролюбов, сделается сильным и отомстит, только не Благовещенскому, а такому же маленькому, такому же беззащитному, каков теперь сам.

Была весна на земле, оделся яркой зеленью лес, побежали белые перистые облака по небу, солнышко обливало землю морем тепла с утра до ночи. Заходила кровь по телу, налетели в голову весенние мысли, мутят и мешают все в ней, поджигают и подталкивают человека на всякие глупости.

Вон Захар наслаждается природой в своем садике, лежа на брюхе и болтая от нечего делать ногами. Он в одном халатике, грудь открыта, по лицу разливается густым слоем краска. Не удовлетворяет больше Захара ни крупка, ни раздавленная косушка, ни волокитство за хозяйской стряпкой. Дело нужно какое-нибудь Захару.

работа ему нужна, чтобы устали сильные руки, чтобы работой вышло из тела то, что мешает теперь Захару жить на свете. Чувствует Захар, что нужно ему что-то сделать, что иначе жить нельзя, но что сделать? Что можно, кажется, уж все сделано. Рассердила утром Захара хозяйка, он поставил вверх дном всю мебель в доме, отвязал цепную собаку и забросил ее на крышу. А дальше что? Положительно нечего делать Захару. Смотрит Захар на березу. В густой зелени ее прыгают, свистят и чирикают маленькие птички. Долго и сосредоточенно смотрит на них Захар, пока в его душу не заползает скромное желание поймать хоть одну из них.

— У, ясен колпак, что они тут летают, надо поймать хоть одну птаху,— ухмыляется Захар.

Достал Захар западню, купил за копейку чечетку и принялся ловить птиц. Целые часы, как аллигатор, лежит Захар, выжидая добычу. Звонкой песнью заливается пленная птичка, жалуется и плачет она о потерянной свободе, но вот на ее голос подлетает подруга, все ближе и ближе, вот она села на жердочку западни. Захар едва дышит. Птичка развязно перепархивает порог ловушки, Захар дернул снурок, птичка забилась под сеткой.

— А, язви тебя, попалась...— дрожащим голосом говорит Захар, вынимая из сетки своими большими пальцами испуганную птичку. И гладит он ее, любуется, расправляет пёрушки, и приятно его богатырскому сердцу, сильно оно разгоняет кровь по телу, а с ней новую силу.

Мало птиц прилетает к Захару в его огород, да и те — такая все мелочь, что, пожалуй, по-настоящему об них и рук не стоит марать. Захотелось Захару в лес, где птиц не переловишь, и птаха все на отбор.

Подговорил Захар еще двоих товарищей, и отправилась честная компания на ловлю. На большой поляне среди леса расположились самым удобным образом птицеловы. Тайники растянуты, западни насторожены, Захар с соучастниками дуют в дудки и всякие пикульки, стараясь подманить птичек. На опушке леса на писк Захара вместо птичек появляются трое мещан здоровенных с топорами в руках. Ученики вели настоящую кровавую войну с мещанами, называя их козлами. Дрогнуло сердце у Захара, когда завидел он козлов; но делать нечего, козлы подходят к тайнику и западням с явным намерением

забрать их в свои руки, и Захар выступает из засады.

— Не тронь!— кричит зычным голосом Захар.

Козлы не обращают внимания и забирают тайник. Ухватил Захар первую попавшую под руку палку и пошел на врага; но враг был не из трусливого десятка и допустил Захара до самого тайника. Ухватился Захар за свою собственность, но получил здоровенный удар по согнутой спине обухом, Захар невольно отскочил в сторону. Еще раз Захар бросился на врага, но несколько таких же ударов заставили образумиться, и Захар отступил, быть может, еще первый раз в своей жизни. Опустилась сильная рука в бессильной ярости, злоба душит Захара.

— Козлы смердящие!— вопит он на весь лес.

— Кутейные балалайки, соломенные струны!— орут козлы.

Воротился Захар домой без птах и без инструментов. Много было хохоту над Захаром, и он постоянно приходил в ярость, когда его расспрашивали, много ли он наловил птах в лесу. Козлы были старые приятели Захара, ему не раз приходилось водить с ними дела, и они знали Захара. Когда поступил Захар в училище, то однажды на него по дороге напал козел лет восемнадцати, а Захару в это время было лет четырнадцать. Дело было зимой, Захар смял козла под себя, закатил его в канаву, закопал в снег, набил снегом рот и ушел преспокойно домой. По осеням, когда застывала река, Захар вел войну с козлами на льду. Любимым его делом в это время было поймать какого-нибудь козла подлиннее, и бить его длинными ногами об лед, пока он не взмолится о пощаде.

Душно, тошно сидеть в классе весной. Все в каком-то полусне, учитель тоже чуть не дремлет. Вон один положил голову на парту и дремлет, другой, третий... Только один что-то вырезывает на парте самым старательным образом, другой натянул струну на парте и тихонько наигрывает на ней. Вон Максун разложил нюхательный табак дорожкой на своей парте и старается вынюхать все зараз. Вот повел он длинным носом по парте, потянул в себя воздух,— весь табак очутился в носу у Максуна. Еще раз раскладывает дорожкой табак Максун, еще раз вытягивает его весь зараз. Голова кружится у Максуна от такой деятельности, слезы застилают глаза, но доволен Максун, что у него полон нос табаку.

— Апельсин-лимон...— протягивает неожиданно звонким тенором татарин под самым окном.

Все пробуждаются от этого резкого звука, начинается движение. По классу ходит учитель русского языка, он разбирает сочинения. Вот он посмотрел на полулистик, рассмеялся и подал автору.

— Прекрасно,— смеется он,— вы отлично пишете. г. Попов.

Попов, красный как рак, берет свое сочинение и садится за парту. Темой было составление причинного периода из предложения: «Почему мы должны любить и уважать родителей». Попов написал: мы должны любить и уважать родителей, потому что они нас кормят, одевают и обувают. Под этим периодом учитель написал своим мелким почерком: «Метет»!

По классу ходит другой учитель, учитель греческого языка.

— Виктор Поднебесный.

Поднебесный подходит и ничего не знает, учитель берет его за руку и ставит в угол.

— Вот встаньте так. Знаете, как маленьких детей ставят. Мне стыдно, Поднебесный, ставить такого большого в угол, и вам, я думаю, тоже немного совестно.

Покраснел Поднебесный и стал лицом в угол. А за полчаса перед этим, в перемену, сидел перед греческой книжкой и рассуждал сам с собой: ведь вот знаю, что спросит, непременно спросит... Не знаете, скажет, опять. Встаньте, скажет, в угол, как маленький мальчик. Ведь вот знаю, а она, проклятая, до смерти надоела... И Поднебесный с остервенением бросил греческую книгу под парту.

Даже и на инспектора действует весна, хотя бурса его давным-давно причислила к нездешнему миру. Вызвал он двоих по латинскому языку, отдирают так, что чертям тошно, как говорит бурса.

— Ну-с, так как же Sat, Satis, abunde, affatim?

Спрашиваемые молчат, они перебрали все значения. Дальше они не знают, а потому смущаются духом и опускают глаза долу. Инспектор любуется их смущением и с укоризной покачивает головой.

— Эх вы, и этого не знаете: сядем-ка, сват, да по рюмочке хватим,— и чудовище улыбнулось.

У спрашиваемых гора с плеч свалилась, и они улыба-

ются начальству. Лениво спрашивает инспектор, еще ленивее выговаривает он, грозя пальцем, свою любимую фразу:

— Великолепнейшую порку задам я тебе...

Но вот молнией пробегает по всему училищу радостная весть, что назначена рекреация. Все идет вверх дном, беснование поголовное.

Вон Тюря вытянул шею, как курица, и самым пронзительным тенором выводит:

— И пребы Мариам с нею три дня, яко, три месяца!

А вон за партой сидят Зима с Патроном и немилосердно выводят десять раз один и тот же куплет, один басом, другой тенором:

Сын на матушке снопы возил
Молодая жена в пристяжках шла

Бурса валит на рекреацию. Попадаются проезжие.

— Ось-то в колесе,— кричит Курира.

Мужичок долго смотрит на ось и на колесо и едва догадывается, что ось действительно в колесе.

— Хомут-то на шее,— вопит еще кто-то.

— Кутья!— энергично отплевывается мужичок, догадываясь, в чем дело.

Навстречу попадается один помешанный, которого бурса дразнит каждое утро, когда он ходит мимо училища.

— Жарко съел, жарко съел! — катится от первых рядов до последних. Жарко съел вытянулся во фронт, сделал палкой на караул.

— Жарко съел?!

Жарко начинает ругаться самой отборной руганью, бурса тоже за словом в карман не лезет.

Прошла весна, прошло лето, наступила длинная осень. Нескончаемой грядой тянулись облака над городом, сыпался из них мелкий дождь и день и ночь. Редко показывалось солнце на небе, с кислой миной смотрело оно на землю и страшно недовольное пряталось снова.

Долго стояла непроходимая грязь на улицах, долго мы месили ее. Наконец, ударила первая изморозь, и все застыло.

На нашей квартире был больной. Захворал маленький Ваня Миролюбов. День, и два, и три лежит больной, раз-

горелся весь, как маков цвет, глаза помутились. Явился в квартиру инспектор, посмотрел больного, пощупал пульс, дал крупинки. Это было время гомеопатии, инспектор был один из самых ярых последователей и лечил своими крупинками даже от ногтоеда.

Больной лежал в большой комнате, на деревянной скамье, которая одним концом касается печи, а другим — дверей, которые ведут в прихожую. У больного горит голова, губы запеклись и растрескались, дыхание порывисто. Кругом него свирепствуют пятнадцать человек, день и ночь зубрят, дерутся, шумят. Тяжело больному, тошно ему, с тихим стоном поворачивается он с одного бока на другой, с трудом раскрывает он глаза.

— Ну, что, Ваня, лучше?— заботливо спрашивает Татьяна Ивановна.

— Нет,— едва шепчет больной.

— Где болит, Ваня?

— Голова болит... пить хочу...

С чайной ложечки поит больного Татьяна Ивановна, подолгу просиживает она над его постелью, всячески стараясь усмирить шумящих. Проходит дней восемь, больному день ото дня становится хуже. Дело плохо, видит инспектор, что не берут его крупинки, приглашает доктора. Приехал доктор, посмотрел больного.

— Кто его лечил?

— О. Василий.

— Чем?

— Крупинками.

Бедный доктор только головой покачал и уехал, не прописав ничего.

Чрез два дня Миролюбов умер. Его положили в маленький голубой гробик, который поставили в переднем углу под иконами. Ученики попеременно читали над умершим псалтырь. Кругом жизнь шла по-прежнему: зубрили, кричали, дрались.

Вечер. Луны не видно на сером небе, обложенном со всех сторон мутными облаками. Темно и жутко под таким небом. Вдоль улицы по направлению квартиры Татьяны Ивановны идут трое бурсаков: Варава, Патрон и Лупетка.

Они идут читать по покойнике. Бурсаки заходят в квартиру, они весело подскакивают, согревая замерзшие ноги.

— Ну, братцы, мороз, ноги чуть-чуть не отмерзли совсем,— подскакивая, говорит Лупетка.

Все размещаются по местам. Идут разговоры.

— А что, братие, как насчет водчонки смекаете,— лукаво прищуривается Варава,— сегодня разрешение вина и елея.

— В складчину, робя!

— Разумеется!

Складчина собрана, Патрон подзывает одного из мальчуганов.

— Эй ты, рыжий-красный, человек опасный, в кабачино, знаешь?

— Да не попадись, смотри, инспектору.

— Знаю,— и рыжий летит в кабак. Через полчаса полштоф красуется на столе.

— Насладимся, братие, брашно.

— А ну, где же мухи с комарами, так и быть выпью сегодня для середы: одна середа в неделю-то.

Патрон наливает рюмку, выпивает и крякает.

— Всяк выпьет, да не всяк крякнет.

— А ты, Патрон, не пробовал водку с крошками есть?

— Нет.

— А вон отец Максун так делает всегда. Купит полштоф, нальет в деревянную чашку, накрошит ржаного хлеба, да ложкой и ест.

— Ишь ты, до чего человек может дойти,— удивляется Патрон,— надо уж будет когда-нибудь попробовать. А ты пробовал?

— Пробовал, да вырвало.

— А ты, Варава, захватил инструмент-то?

— Как же без него, вот он.— Варава достал из кармана громадных размеров табакерку из бересты. Эта табакерка была сделана иждивением всей бурсы и была известна всему училищу. На ее боках красовалась надпись по-гречески: «Для табака».

— Ну, братие, вкусите и видите, яко благ господь к нам грешным.

Все пользуются случаем, и начинается нюханье. Каждый старается вынюхать больше другого.

— Что, Ермилыч, хорошо?

— Отлично,— едва мигая глазками, говорит Ермилыч.— А мы этим зельем будем потчевать, кто вздумает ночью спать,— смеется.

Полштоф распит, рюмки лежат на боку, по столу валяются объедки колбасы и корки черного хлеба. Свеча нагорела, но никто не снимает нагара. Одна группа поместилась около стола, другая на ящиках около печи. В комнате страшно накурено, идут разговоры.

— Приезжает это инспектор к Захару на квартиру,— повествует Варава,— дело было вечером, поздно. В комнате учеников нет. Где? Спят на сарае. Инспектор — туда. Выходят рабы божии, а в сарае-то накурено, хоть топор весь. Ну-ка ты, Захар, говорит инспектор, дохни, говорит, на меня. Захар дохнул, инспектор только головой покачал. Принесите мне, говорит инспектор, розог, я хочу, говорит, расправиться с вами по-семейному. Принесли вицы. Ложись, говорит инспектор, Захару. Разлегся на полу Захар в собственной квартире, и отодрал его инспектор. Нисколько не больно, говорит Захар, только стыдно было, потому хозяйская стряпка в щелку смотрела.

— А вчера инспектор перехватил записку у Дышло. Этот Дышло с какой-то горничной связался и написал ей записку. Милая моя, пишет Дышло, чтобы наша любовь не рассохлась, как старая кадочка... Инспектор и перехватил ее, да и прочитал всем. А сам спрашивает Дышло: как старая кадочка, говоришь, а? Я, говорит, задам тебе великолепнейшую порку, вот тогда забудешь про любовь.

— А знаете, братцы, что этот Дышло делает?

— А что?

— У них в огороде растет береза. Дышло залезет на эту березу да оттуда прямо на брюхо и падает.

— Не может быть!

— Я сам видел.

— Да как он себе печенку не отшибет?

— А черт его знает. Отчаянная башка!

— А что, братие, еще по одной грянем?

— Грянем, братцы!

Новый полштоф является на столе при помощи рыжего. Он стоит и смотрит на старших.

— Иди-ка, сюда,— подзывает его Варава. Рыжий подходит. Варава ставит его перед собой, наводит средний палец руки и спускает в лоб. От первого щелчка рыжий сильно покачнулся, со второго он полетел, как сноп, на пол. Варава славился в училище тем, что с двух щелчков одним пальцем десятилетний мальчик падал на пол.

— Что, хорошо? — спрашивает добродушно рыжего.

— Больно,— отвечает тот, потирая лоб, на котором образовались две красные вздувшиеся полосы.

Густой дым стоит в комнате. Второй полштоф начинает разбирать всех. Вон Петрович сидит в углу на своем ящике, глаза у него слипаются, он потирает руками. На губах иногда появляется что-то похожее на улыбку.

— Давайте, братцы, напоим Змея?— заявляет он, глядя в землю.

— Давайте.

Змея достали, подали ему рюмку. Змей выпил и поморщился.

— Что, хорошо?

Змей улыбнулся.

— Другую ему.

Другую выпил Змей.

— А теперь?

— Теперь хорошо.

Какое-то дикое беспричинное веселье начинает овладевать всеми. Начинается пение, крики, дикие возгласы. Шиликун заунывным голосом читает над покойником...

Эх, барыня, не могу, сударыня, не могу
Наступил комар на ногу...—

напевает Ганька Гарин, покачивая в такт белобрысой головой.

— Грянь, белокаменная, грянь...— поощряет Патрон.

Благовещенский ходит по комнате, размахивает руками, сосредоточенно выговаривает вполголоса:

— Веселится небо...— претерпех до конца и смятохся.

— Ты что тут бормочешь?— пристает к нему кто-то.

— Уйди, убью!— кричит Благовещенский, вытаращив глаза.

— А я вот выставлю тебе зубы-то, так и узнаешь, каково заживо человека убивать...

— Уйди!..

Опьяневший Варава обнимает Патрона и густым басом гудит ему прямо в ухо:

Выпьем, что ли, Коля, с холоду да с горя
Говорят, что пьяным по колено море...

Патрон приложил одну руку к щеке и помогает Вараве:

— П-по колено м-море...—выговаривает он пьяным языком.

— Варава! Спой Владыку!

— Не его, а Вар-раву!..— кричит Патрон.

И сам-то наш Владыка
Подчас не вяжет лыка,
Напьюсь же я-то горемыка —
Положительно!

— Пол-л-ложительно! молодец Варрава!!.

Я-то в пономарском чине,
Весь свой век хожу в овчине,
По этой причине мне и
Позволительно! —

Гудит Варава молодым басом.

Лупетка наливает рюмку и подносит Патрону.

— Изопьем, друже!

— Лупетка многострадальная, не искушай...

— Друг я тебе аль нет?

Патрон берет рюмку.

— Будь здоров на сто годов; покажется-так двести проживай, а не покажется, хоть сейчас же помирай.

— Вали другую.

— Будет.

— Да лешак твоей матери, чего ты шеперишься-то! Пей.

— А и в самом деле: кого ся убою...

Ах, жестокая фортуна, коль мя тяжко обманула.
Покой мой весь пропал!
Не хотел я жить на воле, буду жить я поневоле,
Утехи потерял!
Пушки, бомбы, барабаны, завели мя в дальны страны...

— Попал, братцы, один солдат в рай,— рассказывает Лупетка,— водка есть? Нету. Дак что, говорит, у вас и за рай. Пошел в ад. Водка есть? Есть. Вот рай-то где, говорит солдат. Тут и остался жить, я недавно от него поклон получил.

Дым ест глаза, свеча едва мигает.

Не родись-ка на свет вина,
Тошен был бы мне свет...

Поет Варава, свесив голову на руку.

— Не его, а Вар-р-ра-вву...— кричит Петрович из угла.

— У таракана жиру много...— вопит Патрон.

— При царе Горохе, когда свечи не было,— вопит кто-то.

И сквозь все это, сквозь весь этот шум и гвалт, продирается густой бас Варавы:

Молитву пролию ко господу
И тому возвещу печали яко там душа моя исполнится

Поет он, облокотившись на стол и подперши голову руками. Благовещенский, Гарин и Петрович составляют хор и напевают:

Приятна, весела,
Разумна и мила,
Как роза расцвела,
Как лилия бела,
Как крылышки бы ей,
Так стала бы порхать
Кто?
Сашенька, душенька.

Варава надевает ризу, берет в руки кадило и встает в передний угол.

— Святая великомученица Лупетка, моли бога о нас,— заводит он, и хор отвечает.

— Помяни, господи, раба твоего Патрона и сотвори ему ве-е-ечную память!— гремит Варава.

— Вечная память, вечная память,— поет хор, поет сам Патрон.

Пение, крики, заунывное монотонное чтение,— все это перемешивается в какой-то невыразимый кавардак. Всем хочется спать, но все стараются мешать друг другу. Вон Благовещенский задремал в углу. К нему подкрался Патрон и подставил щепоть табаку. Благовещенский вдохнул весь табак и как дикий соскочил со своего места. Он глупо озирается кругом.

— Ха-ха-ха!— заливается Патрон.— Неужели вам, Благовещенский, не нравится?

— Патрон!

— Просвирня!

— Подлец!

— Сволочь!

В одном углу опьяневший Змей рассказывает товари-

щам, как однажды зимой он ночью шел по улице и над ним разверзлись небеса.

— Это над Змеем-то?

— Врет, поди.

Пьяный Петрович схватил за руку Благовещенского и подтащил его к гробу.

— Пошлепай его теперь, Благовещенский... Ха-ха-ха!

— Уйди ты от меня, подлец...— пропел Благовещенский, едва поводя помутившимися глазами.

Петрович посмотрел на него, подумал с минуту и с силой толкнул в угол. Кубарем покатился Благовещенский, а Петрович сел к столу и призадумался.

Густыми клубами стоял дым в комнате, свет от восковых свеч пробивался через него. Слышалось храпенье. По полу, по ящикам разбросаны были тела спавших, точно тут было какое поле убиенных. И над всем этим глухо гудело похоронное чтение, шелест переворачиваемых листов псалтыря, тиканье маятника.

— Плачь, дочь Иерусалима, плачь о детях своих...— читает Шиликун.

Как восковой лежал Миролюбов в гробу. Нос немного завострился, брови и ресницы резко вырезались на помертвевшем личике.

А со стены, из небольшого киота, смотрит большими, печальными глазами богоматерь. Точно все горе земли перешло в эти божественные черты, десять раз усилилось там и, отразившись, смотрит этими глазами, полными великой печали и горя...

Снесли Миролюбова на кладбище. Схоронили под двумя березками, и занесло в тот же день эту могилку мягким пушистым снегом. Придет весна, зазеленеют березки, запоют на них птицы, солнышко будет так приветливо греть нашу землю, и зацветут цветы на маленькой могилке, зазеленеет трава. Ветер побежит по ней, колыхнет траву, качнет цветы, нагнет их ниже к земле. Унес с собой маленькое горе маленький Ваня и положил в могилку рядом с собой, оттого-то на ней и цветы и трава. И никто-никто не вспомнит Ваню, ничья совесть не перевернется от воспоминания об нем, никому не представится его заплаканное личико и детские глаза, полные слез... Один только человек вспомнит его, то его бедная мать. Она дострадает за него то, что он не выстрадал на земле. Долго и пристально смотрела она на могилу сына,

точно унесенное сыном горе переходило в грудь матери.

Дела в училище шли своим чередом.

Я совсем втянулся в свое положение и погрузился по уши в бездну зубренья. Целые дни проводил я напролет за книгой, набивая свою голову текстами и словами, именами и названиями. У меня от таких занятий начинала побаливать грудь, но я не обращал внимания на такие пустяки и продолжал исполнять свой священный долг. Дело кончилось тем, что у меня серьезно заболела грудь, и я лег на ту же деревянную скамью, на которой умер Миролюбов.

Я лежал, закрыв глаза, голова болела, грудь ныла. День и ночь мучительные грезы толпились в моей голове. Мысль уходила далеко. И видится мне далеко-далеко наш дом. Как там хорошо! Как весело, зелень... как хорошо там теперь! Как не хочется умирать. Нет, я не умру, я буду жить, я хочу, я должен жить. Вон маленькая сестра с голубыми глазенками, с густыми русыми волосами на голове, вон Володя, а тут мать стоит... Заплачет мать, а тут столько зелени и света, жизни и движения... Ух, как страшно, тяжело умирать! Боже, спаси меня!.. А вон мы с Костей идем в лес. Как там прохладно теперь, как хорошо дышать этим лесным воздухом, я пью его, как пьют воду. Как хорошо, Костя, здесь, зачем ты раньше не сказал мне. Но зачем кругом все так бело, бело, как снег. А там какие-то тряпки лежат среди этой ослепительной белизны, зачем они тут? Они мне не дают покоя, какой-то непонятный страх давит меня из-за этих тряпок. Зачем они тут, зачем?.. Уберите их ради бога, на что это? Они увеличиваются, растут, закрывают все белое... Нет больше спасения, везде тряпки... Проклятые тряпки! О! как тяжело, невыносимо тяжело!.. Мама!.. где ты?..

— Давно он очнулся?

— Сейчас только.

Татьяна Ивановна держит у меня на голове холодную повязку, возле нее стоял инспектор.

— Теперь будет лучше, кризис прошел,— говорит мне он успокоительно.

И я начал поправляться. Мне позволили выходить. Была весна, и весенний шум давно ворвался в нашу ком-

нату, и с неописанной радостью ступил я на твердую землю в первый раз после болезни. Сильно билось мое сердце, мне хотелось плакать и смеяться, смотреть и слушать, петь и радоваться. А солнце так приветливо смотрит с голубого неба, серые тучки торопливо бегут мимо него, всякая тварь гогочет от радости, наполняющей ее до самого хвоста. Облитые изумрудной зеленью, кланяются нам знакомые березы. Как хорошо кругом! Вон те белогрудые ласточки, что вьются и щебечут около своих гнезд с утра до ночи, тоже радуются от всего сердца. Я понимаю их радость и понимаю все наслаждение жить, дышать, смотреть, слушать.

Но нужно учиться, нужно догонять товарищей. Скоро последние экзамены, а от них зависит все. Еще рябило в глазах, когда я взялся за книгу; ноги еще плохо держали меня, но я уже ходил и зубрил. Инспектор как-то во время классов зашел ко мне и удивился:

— Ты уж учишься?

— Скоро экзамены.

Быстро катится день за днем. Двери и окна нашей квартиры были постоянно отворены. Утренний воздух свободно врывался в комнату, дразнил и подмывал бросить книгу и бежать, бежать без оглядки куда-нибудь за город, в лес.

Начались экзамены. Каждый выбрал себе угол где-нибудь в огороде, ограде или в саду и тут зубрил целые дни напролет. Весь дом превратился в какой-то улей, из каждого угла которого неслось постоянное жужжание. Людей не было видно, казалось, самый дом ожил и немилосердно зубрил к экзамену.

Со страхом и надеждой встречали каждый экзамен, с радостью провожали. Радовались все, радовались даже те, которым не везло на экзаменах. Нельзя было не радоваться общей радости, она заразительна против желания. Но вот последний экзамен. Еще раз понатужиться, и все кончено, и училище, может быть, прощай навсегда. Но этому не верится, не буду лучше об этом думать, я не выдержу экзамена, меня оставят в том же классе еще на два года. Такие мысли волновали приблизительно каждого накануне рокового дня. Но вот и он, ослепительно-светлый и яркий, свежий, как только умывшаяся сейчас девушка, налитая молодой кровью от ногтей до корня волос. Что-то будет!

Девять часов утра. Ждут архирея. Вызвали. С трепетом выходишь к столу. Экзаменаторы смотрят пристально, словно на тебе невесть, что такое написано. Быть или не быть? С нервной дрожью протягиваешь похолодевшую руку за роковым билетом — на карту поставлено всё. Вот и он, кажется, знакомый... да. Не помнишь, как отвечаешь, холодный пот выступает на лбу.

— Довольно,— отрезывает инспектор, ставя балл в список.

Всё кончено!

При окончании года или при окончании курса в училище существовал обычай расправляться со своими недругами за старые грешки. Когда-то в минуту тоски и ничего неделания Благовещенский ухитрился налить Ермилычу полные сапоги воды, которые последний только что успел купить и отчистить до последней степени светлости. При виде такого поругания неотъемлемой свой собственности Ермилыч побледнел от подступившей злости, но расправиться с Благовещенским тут же, на месте преступления, было нельзя, потому что на стороне Благовещенского был Петрович, с которым Ермилыч не любил водить дела. Со временем дружба Петровича к Благовещенскому охладела, и теперь была на точке замерзания, но не охладела ненависть Ермилыча, и он решил воспользоваться удобной минутой, чтобы отомстить за все своему неприятелю. После ужина, когда все улеглись спать, Ермилыч поднялся со своей постели, направился к ложу Благовещенского, ничего не подозревавшего в простоте своего мощного сердца.

— Ты куда, Ермилыч, —спросил кто-то.

— Благовещенского буткать,— отрезал Ермилыч.

Все поднялись, потому что дело обещало быть интересным.

— Ну-ка ты, просвирня, вставай,— тормошил Ермилыч,— рассчитываться пришел к тебе, помнишь сапоги-то...

Благовещенский поднял голову, он, видимо, ничего не понимал и немилосердно протирал глаза.

— Какие сапоги,— спросил он сонным голосом.

— Зачем ты мне в сапоги воды налил?—стиснув зубы, шипел Ермилыч. Не дожидаясь ответа, он со всего плеча ударил по щеке Благовещенского. За первым ударом дождем посыпались следующие. Благовещенский спал

под столом, а потому ему теперь не было никакой возможности действовать оттуда, да и на свободе ему было не под силу возиться с Ермилычем. Он молчал и в бессильной ярости скрежетал зубами, как пойманный зверь.

— Катай ты его, катай по толстой-то роже... Ха-ха-ха!— заливался Петрович, стоя на коленях перед столом и любуясь избиением своего благоприятеля. Это побоище очень нравилось Петровичу, так что, когда Ермилыч вдоволь натешился, он схватил двух второклассников и толкнул их на Благовещенского.

— Вы чего смотрите, лупите и вы,— поощрял Петрович недоумевающих птенцов,— ведь он вас шлепал...

Юнцы сомневались начать действие, потому что боялись со стороны Петровича какой-нибудь измены, но Петрович снова толкнул их на Благовещенского.

— Вали, Гадарь, не бойся, а ты, Мерзость, помогай ему!

Робевшие воодушевились и принялись за дело с большим усердием. Удары сыпались на Благовещенского с двух сторон, но он не издавал ни одного звука, точно умер.

— Ха-ха-ха!— заливался Петрович, поджавши живот.— Молодцы, работай, катай его в хвост и в гриву, пусть узнает кузькину мать.

Гадарь и Мерзость усердствовали, но и этого было мало Петровичу.

— Эй, Змей, валяй и ты, и твоя копейка не щербата,— и Петрович бросил Змея в свалку. Змей воодушевился и принялся донимать Благовещенского по мере своих змеиных сил. Петрович был на верху блаженства, он катался по полу от надрывавшего его смеха.

— Змей-то, Змей-то орудует! Ха-ха-ха! Что, Благовещенский, поди, не нравится?! Ха-ха-ха!

Долго продолжалась сцена в этом роде, пока не заболел живот совсем у Петровича, пока не натешились вдоволь Гадарь, Мерзость и Змей. Я не дождался конца и ушел наверх, в мезонин, потому что там было тихо, а внизу был шум и гвалт. Мезонин открывался только летом, к нему был приделан небольшой балкон с беленькой решеткой. Я вышел на этот балкон, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Над городом спускалась летняя ночь. Первые тени ночи кутают кровли домов, сады и пустыри. Я долго смотрел, как последние проблески света уходили с неба, как зарождались на нем звезды. Какие-то мысли толпились в голове, приходили, уходили,— я забывался.

— От кого у тебя брюхо-то?— доносился до меня угрожающий голос хозяина дома, который жил внизу.

— От тебя...— слышался визгливый женский голос.

— Как от меня?

— Ты ко мне по ночам ходил...

— Ах, ты... да я к тебе ночью-то за копеечный калач не пойду...

Это хозяин дома, гражданин Затыкин, ругался со своей стряпкой, которая неожиданно родила ребенка и которую Затыкин среди ночи гнал из дому с новорожденным. Жена принимает участие в происшедшем скандале,— шум, гвалт. Но мало-помалу все стихает.

Напротив нашей квартиры стоял большой барский сад с многолетними раскидистыми деревьями, аллеями, обстриженными сиренями и акациями, с искусственными горками и тенистыми беседками. Сад спал в ночной тиши. Являвшийся ветер боялся тревожить его сон и обходил мимо, нанося на меня волны ароматного воздуха. Ночные тени причудливым образом убрали знакомые вершины, и над их покровом все приняло фантастические очертания. Из черневшей глуби сада доносились порой какие-то неясные звуки,— деревья ли шептали меж собой, сонные ли птицы перебирались с одной ветви на другую, иль запоздалый любовник договаривал свои последние клятвы. Но вот на одной дорожке мелькнуло что-то белое, кто-то бежит по дорожке, за ним другой, третий... Сад проснулся, шелохнулись птицы, раскатилось далеко кругом эхо молодых голосов. Понеслись дружной толпой звуки из каждого уголка сада, огласилась летняя ночь молодым смехом, и людским говором, и звонкой девичьей песней. Долго гудит сад, долго отдает он звуками, но мало-помалу все стихает. И опять кругом тихо, опять молчит ночь в темном саду. И над ней шелестят вековые деревья, точно старики про старое время... С раздирающим душу воплем выскакивает из нижнего этажа какая-то

женщина в одной сорочке. Изо всех сил несется она вдоль по улице, за ней на всех парах несется мужчина в пестрой ситцевой рубашке, какую носят городские мещане. Это гражданин Затыкин устремился за своей дражайшей половиной, вот он, как орел, вцепился в свою сожительницу, и две фигуры покатились по пыльной дороге, ползая и извиваясь, как змеи.

— Убью... зар-р-режу!— скрежещет зубами гражданин Затыкин, впиваясь в сожительницу.

— Ой!.. Кар-р-раул!.. убьет!..— катаясь по земле, вопит достойная половина, длинная и сухая, как жердь.

А ведь не убьет и не зарежет, а так просто, чтобы откатилась кровь от затыкинской души, чтобы легче было его гражданскому сердцу... Дикими воплями, глухими стонами и рыданием оглашается ночь, но опять все затихает. Месяц плывет в вышине, звезды смотрят на землю, ночное глубокое небо над всем.

ХУДОРОДНЫЕ

I глава

Еще в детстве мне пришлось выслушать много рассказов о семинарии и семинаристах. В моем воображении рисуется, например, такая картина. Зима. Вечер. На улице тридцатиградусный мороз с треском раздирает бревна и доски. Двери в нашу прихожую растворяются, и в облаке ворвавшегося с улицы пара является отец Николай в сопровождении своей супруги и «чад ея».

— Ух... уф!..— отпыхивается он,— замерз, как есть замерз!.. Ну и стужа, батышко,— обращается он к моему отцу, слегка прискакивая в своих валенках,— ой, какая стужа... бр...

Все мы собрались в небольшой уютной комнатке, именуемой чайной. На столе среди комнаты шипит и отдувается самовар, запуская пары под самый потолок. Две свечи бросают мягкие тени на собравшееся общество. В комнате тепло и как-то особенно уютно, начиная с простенькой мебели, картин и образов по стенам и кончая небольшой лежанкой в углу комнаты, которую о. Николай называет «лоном Авраамовым» и на которую не упускает случая забраться по старой привычке к теплым местам. Самовар дружелюбно ворчит на столе, о. Николай весело ходит по комнате, трет одной рукой другую и даже легонько подскакивает от удовольствия. Пить чай о. Николай любил до страсти и выпивал почти залпом самого горячего кипятку стаканов до десяти.

— Как это вы, о. Николай, весь рот не испортите себе,— спросит его кто-нибудь.

— Эка, парень, у меня, поди, вся шкура-то выдублена раз семь, так ее не скоро проберешь.— И он

дрожащими руками брался за новый стакан, страшно отпыхивая и отдувая пар во все стороны.

— Отчего это руки у вас, о. Николай, трясутся?

— А вот — не отнимая ото рта поднятого стакана и лукаво сверкая небольшими черными, как уголь, глазками, отвечает скороговоркой о. Николай,— а вот, если бы тебя хоть раз бы отодрать так по рукам-то, как в наше время драли, тогда бы ты и совсем без рук находился...

Отец Николай, не разбирая ни пола, ни возраста, ко всем обращался на ты, притом, обращаясь к кому-нибудь, будет ли то мужчина или женщина, он начинал свою речь постоянно с одного и того же слова, именно: «Эка, парень!» Отец Николай был небольшого роста со смуглой, изрытой оспой физиономией, с бойкими, как мыши, глазами, с жиденькой черной бородкой и усами. В своем неизменном сером подряснике, с резкими ухватками, он так и выглядывал настоящим кровным бурсаком. Он им и был, и не желал, и не мог быть ничем иным. Бурсацкие замашки и привычки он унес с собой из семинарии и сохранил на всю последующую жизнь, так что никакие внушения, влияния и передряги житейского моря не могли вытравить из него этой бурсацкой закваски. О. Николай был круглым сиротой, ни отца, ни матери он не помнит, и свое воспитание до восьми лет получил у какого-то дяди. За этим следовала бурса в течение двенадцати лет, в которые о. Николай прошел сквозь огонь и воду и медные трубы всех и вся. Трудна эта школа, холодом и голодом и всяческим истязанием воспитывала она немощную плоть бодрых духом питомцев, только огня и железа недоставало для полноты картины. О. Николай вынес эту школу на своих плечах и остался цел и невредим для каких-то неведомых миру целей по неисповедимым расчетам судьбы. О. Николай часто вспоминал время своего учения и рассказывал кое-что в назидание нам, особенно когда предварительно «пропустит» с дюжину стаканов чаю и усядется на лежанке. Это «пропустить» как нельзя более верно характеризовало его способ чаепития, потому что он действительно не пил чай, а пропускал его.

Мой отец учился позже немного о. Николая и притом в другом училище, так что многое было ему но-

востью. Как рассказчик, о. Николай был неподражаем, особенно в тех случаях, где дело касалось бурсы. Ни один человек не изображал, наверно, на своей физиономии столько движения и жизни, как о. Николай при своих рассказах о матери-бурсе. Он трепетал, как младенец, изнывая от сознания полной невозможности передать слушателям жестами и словами всего того, чем до краев была переполнена бурса, вынесшая на своих волнах о. Николая.

Как теперь вижу: вот о. Николай напился чаю и забрался в самую сушь, то есть на лежанку, мы расположились кругом, чтобы слушать его. В комнате тепло, свечи нагорели, самовар заглох, точно и он приготовился слушать длинную повесть о делах и делишках, которые в свое время творились в стенах матери-бурсы.

— Придешь это, бывало, в класс,— повествует о. Николай со своего пьедестала,— засядешь в огневку и сидишь, авось да не заметят. А покойная головушка Антон Андреевич сейчас завидит: «Эй ты, такой-сякой, опять, видно, не знаешь урока, иди-ко к столу». Вытянет это он из-за парты, а ты ни в зуб толкнуть, и начнется крестное страдание. И доймет же, бывало, пыхтишь-пыхтишь,— не выходит, хоть тресни. Нечего делать, подойдет это он к тебе, а ты ему на ухо тихонько: «Антон Андреевич, гусака привезу...» «Ну, ладно, ты у меня парень славный, ступай за парту!» Так и отъедешь от него до следующего раза. Книг-то не было, учить-то не по чему было, вот в чем беда-то наша была, а пороть — порют, как сидорову козу.

— А вот как отпустят на вакат — тут нам раздолье было. Соберемся это человек двадцать и пойдем путем-дорогой. Это было еще в училище, денег ни гроша, а идешь. Ночевать надо — не пускают. Подойдешь к окошку, постучишь тихонько: «Пусти переночевать, тетушка», а сам стеклышками в кармане побрякиваешь: заплачу, мол, не бойся. Ну и пустят другой раз, переночуешь, а утром и улизнешь. Только дай бог ноги, на коне не догонишь. Идешь это, идешь, жара страшная, отдохнуть, закусить хочется, а в котомке какая-нибудь ржаная корка болтается — ешь, значит, пей и веселись. Как быть? Сейчас увидишь где-нибудь в поле корову, поймаешь, один за хвост, двое за рога,

третий подоит, вот тебе и закуска. Закусим таким манером — бог напитал, никто не видал,— да и вперед.

— Неужели и вы, о. Николай, доили сами корову?— спросит кто-нибудь.

— Эка, парень, не с голоду же пропадать. А доить коров я первый мастер был, потому голод не тетка, научит калачи есть.

Ну, это в училище нам плохо приходилось, точно, иной раз просто, кажется, ложись и умирай, ну да все прошло, попали в семинарию, наконец, тут уж мы на ноги как есть встали. Тут мы и от древа познания вкусили: и водчонки, и табачишка, и женска пола... Всего было помаленьку. Идешь это в халатике по калашному ряду: «Калачи горячи, синдрист!.. синдрист!..— вопит какая-нибудь калашница,— калачи горячи, калачи горячи!..» Сказывай, мол, нашего брата тоже не скоро проведешь. Учились не по-нынешнему, первые щеголи в тиковых халатиках разгуливали да в котах. Пошлют это кому-нибудь денег на халат или на брюки, купим материи, сами скроим, сами сошьем, а что останется, прогуляем у Ваньки-Каина. Отличные сапоги некоторые шили. Тут мы, как сыр в масле катались. А отпустят это на вакат, сейчас всех отправят в обозе на казенный счет. Наймут это ямщиков, выберут это одного семинариста старостой, нагрузят нашим братом подвод тридцать и отправят как добрых людей в путь. Ну уж дорогой воля наша, делаем, что нашей душеньке угодно, деньги прокутим на первых станциях, а дальше и есть нечего. Обоз идет недели две, есть хочется, а есть нечего, попадет курица — в мешок ее, попадет гусь — и его туда, попадет поросенок — туда его. Бабы это нападут на нас, писк и рев поднимется. Боже упаси, мужики прибегут, мы-де вас, кутейников. Ан не тут-то было, нас человек сотня, не подходи, по бревнышку разнесем. Нас в деревне крепко побаивались, потому с нами шутки плохие были, народ все рослый да крепкий: прижмет кулаком, всю душу из тебя выдавит. Только один раз нам было плохо пришлось, да спасибо ямщик был догадлив — выручил. Ехали мы по татарской деревне, мечеть была открыта, кого-то из нас и угораздило запустить в мечеть поросенка. Только отъехали мы от деревни эдак, может, верст с десять, ямщик и говорит нам, что дело наше плохое, татары отмолятся,

да и пустятся за нами в погоню, а русская деревня далеко. Что тут делать, а через час и в самом деле слышим топот — значит, погоня. Туда, сюда, в обозе далеко не ускачешь, а ямщик и говорит нам: «Ложись, братцы, по четверо в телегу, а я вас, говорит, сверху рогожками закрою, будто кладь какую везу». Так и сделали. Нагнали это татары: «Не видал ли ты обоз с семинаристами?» — «Нет, говорит наш ямщик,— разве впереди». Угнали татары вперед, а мы благополучно добрались до русской деревни, тут уж с нас немного возьмешь. А то попадется навстречу другой обоз. «С чем вы?» спросят встречные. «Семинаристов, родимый, везем, Иисусову пехоту, значит»,— отвечают наши ямщики. А то: «Ты, дядя, чего везешь?» — «Церковные вешши».— «Какие церковные вешши?» — «Да Христовы дудочки».— «Какие дудочки?» — «Да те самые, которые хвалу-то божию за хвост тянут...» Продувательны были эти ямщики, ну и мы маху не давали, на кривой-то кобыле и нас сразу-то не объедешь.

Особенно мастерски читал о. Николай очерки бурсы Помяловского, причем взрывы неудержимого хохота надрывали все существо о. Николая, и он долго и дико хохотал, закинув назад голову и придерживая руками живот.

— «Гришкец закопал Сашкеца в снег...» — читал о. Николай, и за этим следовал прилив хохота.— Ха-ха-ха! «...и хохочет животное...» Тут, видно, парень, дело-то не баранья рожа!.. Ха-ха-ха!.. «Грегочут, козлоглагольствуют, поют на гласы и вкушают затрещины...» Ха-ха-ха!

— Что с тобой, отец?— спрашивает чтеца в этих случаях удивленная сожительница.

— Ничего, зелененция... Ха-ха-ха!..— колыхался о. Николай всем своим существом до слез.

Свою жену о. Николай называл мамашей или зелененцией, последнее название происходило от одного зеленого платья.

Таков был о. Николай. От него в первый раз я получил необходимые сведения о бурсе и семинарии. Но шло дальше время, улегся о. Николай в сырую землю и унес с собой он свои воспоминания и рассказы о матери-бурсе.

У нашего дома были кой-какие хозяйственные при-

стройки: амбары, конюшни, сараи и пр. Одна из таких пристроек, известная под названием «кладовой», особенно сильно привлекала мое внимание, потому что в ней заключались предметы [довольно интересные и приятные] например: старые книги, картины, сломанные и попорченные вещи, целый ряд каких-то банок, склянок, ящичков и т. п., но самое интересное, без сомнения, был небольшой ящик, окрашенный в зеленую краску, который стоял около одной стены кладовой, и в нем сверху до низу были наложены всевозможные лакомства, всевозможные по тогдашним моим соображениям. Зимой в кладовую не приходилось ходить, потому что было в ней тогда и холодно и тесно, но зато летом я с большим удовольствием отправлялся туда каждый раз, потому что, во-первых, там всегда было прохладно, а во-вторых, довольно светло, так что я бывало по целым часам перебирал там всевозможный хлам, задыхаясь от поднятой пыли и утешая себя надеждой когда-нибудь найти тут что-нибудь по меньшей мере необыкновенное. Но мир так устроен, что все необыкновенное крайне редко, а потому, вероятно, и я не встретил ничего особенного, и для меня по-прежнему зеленый ящик продолжал сохранять всю прелесть новизны, хотя я довольно часто справлялся относительно его содержания, в чем не раз и был уличаем, но недостаточно убедительным образом, так что ex officio всегда открыто признавал себя положительно невинным по отношению к содержанию зеленого ящика, хотя частным образом один на один продолжал сохранять с ним довольно близкие отношения. Но время шло, я уже умел читать и писать, а потому мое внимание особенно обращали разные книги, которыми была наполнена целая полка кладовой. Разбирая их, я сначала интересовался переплетами, потом картинками, наконец, начал интересоваться заголовками некоторых книг, особенно чем-нибудь заманчивым. Под моими руками было много раскольничьих книг, но я на них не обращал внимания; меня заинтересовали книги в каких-то особенных переплетах, оклеенных в ярко-зеленую или небесно-голубую бумагу. Эти книги, как я знал, были написаны моим дедушкой с материной стороны, а потому я всегда с особенным вниманием раскрывал какую-нибудь из этих книг, стараясь проникнуть до их содержания.

С каким-то особенным треском раскрывалась такая книга, сделанная из грубой старинной бумаги синего цвета, вся исписанная от начала до конца, как я узнал впоследствии, на латинском языке всевозможными рассуждениями по логике, философии и риторике. Я всегда относился с большим уважением к этим латинским книгам, считая их содержание верхом человеческой мудрости, и до сих пор это невольное уважение к ним я сохранил, но только по другой причине, именно потому, что они были писаны по-латыни, в которой я всегда брел, как слепой возле огорода, то есть до сочинений на латинском языке я никак не мог дорасти. Помню, как славно эти синие книги лежат перед моими глазами. На первой странице крупным почерком порыжевшими от времени чернилами написано Petrus Semenoff, а далее следовал ряд латинских упражнений, из которых под каждым красовалась подпись профессора, интересовавшая меня как по цвету чернил, так и тем удивительным артистическим росчерком, которым обыкновенно сопровождалась такая подпись. Надписано, например, простое bene или optime, но к этому bene или optime приделан такой удивительный хвост, что долго не можешь оторвать от него глаз, а об русских подписях и говорить нечего: там какие-нибудь «изрядно» или «дельно» совершенно терялись в самых неимоверных росчерках пера, делая изгибы и вправо и влево и кончаясь обыкновенно спиралью, разгибающейся кверху, как рисуют плохие живописцы дым. Я сначала долго верил, что такие росчерки обязаны были делать все профессора семинарии, и в этом полагал всю трудность их профессии. Кроме творений дедушки, в кладовой же я отыскал шесть книг с изящными довольно переплетами — эти уже были написаны моим отцом во время его учения в семинарии и написаны по-русски, так что я смог отчетливо прочесть все заголовки: логика, психология, философия, богословие и пр. К последним сочинениям я относился с меньшим уважением, чем к творениям дедушки, потому что последние сохраняли для меня постоянную прелесть полной таинственности. Рассматривая эти книги, я приходил в уныние, потому что терял всякую надежду понять из них когда-нибудь хоть одну строку. Помню и творца этих таинственных книг, приземистого, коренастого старика,

с едва пробивающейся сединой, с серыми упрямыми глазами. Помню, как-то раз водил он нас с братом по городским игрушечным магазинам, где у нас, конечно, глаза разбегались.

— Нет, это, братцы, не по нам...— говорил дедушка, откладывая от себя разные вещи и остановившись на паре каких-то пустых книжонок, которые и были куплены и подарены нам.

От своего отца о семинарии я ничего не слыхал, кроме того, что отдан он был в училище восьми лет всего, что учились они и холодом и голодом, без книг, под руководством пьяных учителей.

Когда было мне лет восемь, я прочел почти уже всего Гоголя, который был в библиотеке отца, мне особенно нравилось гоголевское описание этих риторов, философов и богословов, тонувших в беспредельных шароварах и сидевших с люльками в зубах, с усами и бородами за Горацием. Подвиги и похождения бурсаков долго по ночам не давали мне спать, рисуя в моем воображении эти же картины в громадных размерах и чудовищных формах, так что я дрожал, как осиновый лист, просыпаясь не раз в смертельном страхе от похождений какого-нибудь философа Хомы.

И «Бурса» Помяловского была прочитана мной самим не раз и о. Николай гремел ею во время оно; но здесь не было такого сильного впечатления, как от повестей Гоголя, здесь не было тех простых до наивности и могучих, как львы, типов, здесь они измельчали, опошлились, разменялись на мелкую монету самого последнего разбора. Не свежей, беззаботной молодой силой веяло от них, а надломленными, изуродованными, придавленными смотрели во все глаза эти типы, выведенные Помяловским на свет божий из недр матери-бурсы.

Были героические времена для семинарии, когда на первый план выдвигалась сама коренастая, жилистая мать-бурса, не та мелкая и ничтожная каторжная бурса, чрез которую пропускали нас, которая тяжелым свинцовым гнетом висела над нашими отцами, а та стародавняя крепкая бурса, которая процветала среди семинарии и от которой веяло той стариной, которую позабыли даже наши деды. Но время идет, с ним идет наряду многое другое, так что наши деды не были бурсаками в первоначальном смысле этого слова, хотя и

они с бородами и усами сидели за партой, хотя и они писали и говорили по-латыни. Со временем слово бурсак изменило свое значение, потому что сама бурса изменилась; бурсаками начали называть по преимуществу учеников уездных духовных училищ, а прежняя бурса умерла вместе с греко-латинскими академиями.

Во время господства латыни, риторики, философии учились наши деды; это была эпоха героев-силачей, имена которых молва и предания окружили целым циклом мифических рассказов о их подвигах. Из этих силачей, разбивавших вдребезги один на один человек пять-шесть, как говорит предание довольно близкого времени, были такие, которые жили и промышляли разбоем. Ночью часов в 12 подъезжала тройка, увозившая на промысел таких молодцов, утром они как ни в чем не бывало являлись в класс и садились за парту.

Но и это время миновалось, хотя память о нем свежа еще, наступило другое, когда наши отцы уже вышли из семинарии, а мы еще нигде не учились: это время эпохи славы семинарии, за которым последовало мгновенное падение. Это было то время, когда умственное движение охватило разом всю семинарию, когда семинарские профессора подали руку семинаристам, когда семинария зараз выставила целый ряд светлых голов — свою гордость и славу. Но налетел шквал — профессора в ссылке, светлые головы рассеялись по не столь отдаленным местам России. От этого движения остался широкий след в истории семинарии, рассказы и воспоминания, от которых у честных и умных людей болезненно билось сердце об умных и честных людях, попавших под колесо, раздавившее их.

За этим наступило темное и грустное время для семинарии. Беспощадный террор надолго и с большой силой сжал ее, даже самый воздух, заключенный в семинарских стенах, проникся, кажется, неудержимым стремлением давить и глушить малейшие проблески зарождавшейся мысли. В ответ на это придавленные, спертые силы молодости нашли себе другой выход и создали целую эпоху общего разгула и поголовного пьянства. Это забытая дедами бурса проснулась и шевельнула усами на страх начальству, которое поклялось, что лучше останется совсем без людей, чем будет терпеть в семинарии хоть одного такого человека, то есть

они путем практики хотели доказать, что не суббота создана для человека, а человек для субботы. Странное время, странные люди. Очертя голову бросались они в бездну разгула, безжалостно превращая в пепел свои лучшие силы; они возвели пьянство и разгул в какой-то культ, они были артистами и поэтами пьянства... Да это были люди, сильные и честные люди; они день за днем отравляли себя, отнимая по каплям здоровье и разум, пока не сравнивались с остальной мелочью и не заживали ее мышиной жизнью, с микроскопическими интересами, с телячьими радостями, огорчениями и надеждами. Но мало было таких; большинство испило до дна, не останавливаясь на полдороге, и полегло костьми в безвременных могилах, оставив окружающих в большом недоумении, что их столкнуло туда.

Вечер. На небе не видно звезд. Серыми валами катятся осенние тучи, все ближе и ближе опускаются над землей. Вон несутся они нескончаемыми грядами над городом, чуть не цепляясь за крыши домов. Сыро, грязно, холодно, пусто, бесприютно теперь в городе. По широкой улице, именуемой проспектом, идет семинарист. Это богослов пробирается куда-то по делам. Ветер треплет его «плащ» немилосердным образом и старается даже сорвать с него фуражку. Но крепче на голову натягивает ее он и не обращает внимания на сумерки, которые застилают ему путь, на дождь, который сыплется на него.

— Ав-ва...— слышится ему знакомый голос. Богослов прислушивается.

— Отче!.. Ав-ва!..— доносит ветер до богослова. Он идет на голос, но в темноте ничего не видно. Еще несколько шагов делает богослов и снова прислушивается.

— Ав-ва!.. — неподалеку от него произносит кто-то. Он подходит ближе. На земле видна фигура, которая имеет явное намерение держать путь по противоположному направлению относительно богослова.

— Кто тут?

— Ав-ва,— мычит фигура, подвигаясь к богослову. Он нагнулся и едва рассмотрел физиономию своего

друга, когда-то славу семинарии и гордость профессоров.

— Эк тебя угораздило,— бормочет богослов, поднимая друга.

— Ав-ва! Отче!..— мычит слава и гордость семинарии.

Зима. Святки. По стенам в семинарских коридорах горят лампы, сторожа мерными шагами ходят от одного окна к другому. По коридорам проходят толпами семинаристы. Семинарская зала освещена. В ней стоит кафедра, на которой стоят две свечи. Будет литературный вечер. Публику изображают сами семинаристы и несколько профессоров. Вот заходит один чтец на кафедру, музыка играет что-то, он ждет. Тихо.

— «Работай, работай, работай...» — читает лектор, вскидывая очками на публику.

Кончил чтец, певчие поют какие-то песни, слышатся толки, какой-то профессор улыбается чтецу.

На кафедру поднимается новый чтец. Он крепко пошатнулся при своем поднимании, но вовремя успел схватиться рукой за кафедру и не потерял равновесия. Вот он развернул какую-то тетрадку перед собой и помутившимися глазами посмотрел куда-то в угол. Шёпот пробежал по собравшейся публике; немного кислое выражение явилось на инспекторском лице, но принужденное спокойствие поборело его. Немного охриплым голосом начал чтец, но голос крепнет; он выпрямился, откинул волосы, падавшие на лоб. Мертвая тишина овладела слушателями.

— «Одна дорога — к кабаку!» — закончил чтец, махнув рукой.

Ни одного звука, ни одного слова не слышалось в ответ. Музыка молчала, певчие переглядывались. Среди общей тишины спустился чтец, неровным шагом вышел из залы и, шатаясь, шел по коридору до выходной двери.

— Что же это такое?— с недоумением, тряхнув головой, обратился ректор семинарии к профессорам. Те вопросительно смотрели сами на спрашивавшего, но и ему и им отлично было известно, что это такое: чтец попал не в бровь, а прямо в глаз.

Хорошо известна была эта торная дорога и семинаристам и профессорам, много по ней прошло и тех и

других, много молодых жизней стаяло на ней бесследно, как тает снег, что лежит по весне.

— Эх, возьми, черт, мою душу...— стучит кулаком по столу в тот же вечер один из профессоров, низко опустив голову на стол. Перед ним стояли бутылка и стакан, наполненные вином. Они вздрогнули от неожиданности удара, но, видимо, ничего не понимали и безучастно смотрели на профессора. Полусонная рука протянулась к стакану, поднесла ко рту и залила мысль, которая наклонила профессорскую голову так низко к столу.

— Поцелуй меня...— говорит в тот же вечер в кабаке чтецу его приятель.

— Ав-ва... Отче!— едва шевелит языком лектор, далеко отодвинув ноги и закрыв глаза... Кабатчик стоял за стойкой и смотрел на своих посетителей. Ленивая улыбка проползла по его жирной роже, подняла немного левый ус и спряталась в рыжеватой бороде.

— К-комедия! — процедил он, встряхнув волосами.

2 глава

На другой день утром мы направились в классы.

Нас было сто двадцать голов, поэтому класс нам отвели самый большой. Длинными рядами тянулись парты, на них сидела масса самого разношерстного народа. Все друг друга осматривали с ног до головы, словно каждый по меньшей мере потерял отца родного. Шум и гул стоял невообразимый. Первый класс был назначен по алгебре, которую с незапамятных времен преподавал в семинарии «священник математических наук и профессор замковской церкви». Этот педагог гремел на всю губернию между духовенством, все его знали, если не по личному горькому опыту, то по крайней мере по рассказам очевидцев. Мы тоже были знакомы с ним по рассказам и наставлениям семинаристов, как нужно держать себя с ним для первого раза.

Мы ждали. Но вот дверь отворилась, и к нам в класс вошел священник среднего роста, в камилавке, с большой бородой песочного цвета, с выпуклыми, немного зеленоватыми глазами. Он поклонился нам довольно

комично, держа одну руку на груди. Класс с шумом поднялся с парт и раскланялся с профессором. Профессор прошелся несколько раз по классу, опустив глаза, потом остановился и начал держать к нам речь.

— Теперь вы, господа, пришли в семинарию, и нам с вами придется иметь дело с такой важной наукой, как алгебра... — Профессор глубоко вздохнул и в недоумении остановил глаза на слушателях.

За партами кто-то вздохнул так же, как и он. Класс шевельнулся, на лицах пробежала улыбка. Заговорил профессор дальше, но красноречие его покинуло совсем, он начал путаться в словах, заикаться. В конце, как утопающий хватается за соломинку, схватился он за мел и побежал дробным шагом к доске.

— А вот, а вот... если мы возьмем...—профессор вынул из кармана небольшую бумажку и начал торопливо с нее списывать что-то на доску.

— А вот, если мы возьмем...

За партами начинается глухой шум, профессор оборачивается лицом к слушателям, опять все тихо. Еще раз профессор берется за бумажку и становится лицом к слушателям, но за партами загорается настоящая жизнь. Бедный профессор то подходит к доске, то к партам и каким-то не то сердитым, не то умоляющим взором окидывает всех. Он, видимо, вспотел и дышит как загнанная лошадь, но класс не унимается. Профессор прошелся между партами, остановился против одного и, ткнув в его сторону пальцем, каким-то дребезжащим голосом заговорил:

— А вы шутите... Я инспектору буду на вас жаловаться.

Класс затих от такой выходки, и едва профессор подошел к доске и взялся за свою бумажку, шум поднялся с новой силой. Послышалось пение вполголоса, кто-то кашляет на весь класс. Один свернул трубу и начал в нее жужжать наподобие пчелы. Профессор метался по классу, как угорелый, разыскивая виновников.

— А вы... А вы.. — подходит он то к тому, то к другому, обвиняемые вставали и оказывались невинными, как голуби.

Какая-то искусная рука подбросила кверху вырезанного из бумаги и раскрашенного черта, который пристал к потолку и к величайшему удовольствию всех раскачи-

вался на длинной нити. Класс хохотал, профессор не знал, что ему делать. Хохот еще более увеличился, когда кто-то ухитрился положить профессору на верх камилавки жеваной бумаги. Наконец, профессор убежал к инспектору.

— Се жених грядет во полунощи...— слышалось ему вслед пение.

По уходе профессора все стихли, потому что сейчас должна была налететь гроза в виде инспектора семинарии, священника о. Николая.

Загнув гордо назад голову, торжественно вошел инспектор в класс, за ним, как курица, плелся несчастный профессор замковской церкви. Инспектор был молодой священник в серой рясе с магистерским крестиком, в очках. Мертвая тишина водворилась в классе, когда он вошел. Не говоря ни слова, инспектор прошелся между партами, оглядывая всех с ног до головы олимпийским взором. Наконец, опершись одной рукой на стол, самым внушительным образом, как только можно говорить на земле, нам было объявлено, что за такие поступки с нами будет поступлено со всей строгостью семинарских правил. Проговоривши все и еще бросив молнию на весь класс, инспектор повернулся на каблуках и, мотая головой, вышел из класса. Вслед ему кто-то шикнул. Инспектор снова повернулся на каблуках и застыл в позе бойца, уставя неподвижно свои очки на несчастных, осмелившихся на такую штуку. Да, с ним, инспектором семинарии, магистром и пр. и пр.

— Кто это шикнул? — многозначительно произнес он.

Класс безмолвствовал.

— Вы? — ткнул он пальцем на одного.

— Нет.

— Вы? Вы? — раздавался его резкий голос над классом. Спрашиваемые вставали и заявляли, что это не они. Натешившись вдоволь, магистр остановился, еще раз посмотрел на всех, и, тихонько качая указательным пальцем правой руки, начал вполголоса речитативом:

— Если вы когда-нибудь еще позволите себе такие мальчишеские выходки, я буду принужден донести обо всем ректору, и тогда за это жестоко поплатятся первый, пятый, десятый и т. д. Меньшей мерой наказания будет немедленное увольнение из семинарии. — И, не

договорив, что будет большей мерой наказания, инспектор скрылся так же моментально, как и пришел. Мы остались одни с профессором замковской церкви.

— А вот... — заговорил он, ерзая одной рукой по своему брюху, а другой расправляя свою бороду; так как руки были в мелу, то он к общему удовольствию перешел на брюхо и бороду профессора замковской церкви.

Класс кое-как дотянулся до конца, и профессор вышел осыпанный градом насмешек, шиканья, рукоплесканий.

Так прошел первый класс в семинарии.

Второй класс был класс латинского языка. С шиком разлетелся к нам, хлопнув дверью, такой джентльмен, какого мы еще и не видали никогда. Остановившись, как вкопанный, перед иконой, пока читали молитву, он самым вежливым образом раскланялся потом со всеми, шаркнул ножкой, двинул по-наполеоновски бровями и в заключение прошелся по классу.

— Я поздравляю вас, господа, — начал он баритоном, перебирая небрежно толстую золотую цепочку, — с переходом в семинарию. Поздравляю вас потому, что такой переход имеет большое значение для каждого из вас. И я надеюсь, господа, что каждый из вас недаром принят сюда, что каждый оправдает те надежды и ожидания, которые имели в виду, принимая вас. Надеюсь я также и на то, что тот предмет, с которым нам придется иметь дело, — я не буду говорить вам о его важности — вам уж он настолько знаком, что нам придется, собственно говоря, только читать на латинском языке. Для начала я выбрал Саллюстия.

В конце речи новый профессор сдвинул каблуки и пошел между партами. Походка его была настолько оригинальна, что все невольно засмотрелись. Профессор был довольно жирный господин, с круглым животом, посаженным на коротких ножках. Делая каждый шаг, он самым забавным образом не то подскакивал, не то покачивался. Но особенно поражала в нем необыкновенная какая-то подвижность и юркость. Он делал самые неожиданные повороты и один раз даже подскочил немного. Одет он был по последней картинке с ухватками настоящего джентльмена.

— Ну-с, вы скажите пока, как образуется plusqu-

amperfectum? — взмахнув белым платком, обратился профессор к одному. Спрашиваемый замялся.

— Тшто? — сдвинув брови, спросил профессор. Он не говорил — что, а как настоящий классик произносил — тшто.

— Чтобы образовать...— мялся спрашиваемый.

— Тштобы, што? — подскочил петухом профессор. Долго по уходе профессора смеялись новобранцы над его скачками, некоторые хотели подражать ему, но эти подражания выходили слишком слабы, потому что профессор был артист своего дела.

Третий и последний класс был класс русской словесности. Спокойной, ровной походкой зашел профессор, аккуратно притворил дверь и спокойно встал перед иконой, пока читали молитву, крестясь и делая поклоны самым точным образом. Отодвинув кресло и положив книги на стол, он сделал глубокий поклон классу, встряхнув волнистыми светло-русыми волосами, подстриженными по-русски, в скобку.

— На мою долю, господа, — начал профессор, держась за кресло одной рукой,— выпало счастье познакомить вас со словесностью, или, как говорили прежде, риторикой. — Профессор помолчал с минуту. — Нет такого человека, господа, — начал он опять тем же ровным голосом, слегка встряхнув волосами, — который не знал бы риторики. Потому нет, что тогда он бы не имел возможности словами выражать свои мысли настолько ясно, определенно, чтобы каждый мог его понять. Я говорю, — нет такого человека, потому что каждый человек непременно пользуется теми законами, которые дает нам эта наука, будет ли это пользование вполне сознательное и отчетливое или полусознательное, даже такое, когда человеку ни разу в жизни и мысли не приходило в голову об этом. Даже если мы возьмем самую низкую ступень цивилизации, если мы опустимся до языка дикарей, состоящего всего из нескольких десятков слов, и там мы увидим, что все высказанное мною оправдывается самым фактом. Напрасно было бы мне поднимать вас до царей языка и мысли, до Шекспира и Гете, напрасно потому, что, я надеюсь, вы и без меня поняли, что здесь законы риторики нашли себе самое лучшее место приложения и доказали, насколько может возвыситься искусство выражения словами мыслей и чувств,

возвыситься, оставаясь простым до гениальности и гениальным до простоты. Не знаю, господа, понимаете ли вы меня?

Класс молчал. От таких речей он пал духом, потому что понимал чуть-чуть более того кресла, за которое держался профессор.

Дальше говорил профессор, красноречиво и убедительно говорил он, отчеканивая каждое слово, округляя фразы и периоды до мельчайшей подробности. Наконец, он кончил и, раскланявшись таким же образом, как и в первый раз, вышел своей ровной походкой из класса.

3 глава

Так начались классы в семинарии. Профессора задавали шику вступительными лекциями, мы, слушая их, чувствовали себя дураками и волей-неволей трусили, но помаленьку дело обошлось, и люди оказались людьми, с их достоинствами и недостатками.

Я поселился с новыми товарищами у некоторого гражданина Луки Новикова, обладавшего очень сизым носом и непреодолимым стремлением к «последней рюмочке». Хвативши ее, он, полузакрыв глаза, говорил к каждому слову:

— Ах, Павел Петрович, пирог-та поспел!

Новые мои товарищи были Иван Молосов, Насонов и Миша Гробунов. Все, кроме Гробунова, были из одного класса и из того же училища, где я учился. Гробунов поселился с нами потому, что был хорошим знакомым Ивана; он уже учился в философии вместе с Тимофеичем.

У Гробунова был отец священник, но такой бедный, что он был принужден существовать на свои средства. Эти средства Гробунов добывал себе, переплетая книги. У него были все необходимые принадлежности своего мастерства: станки, тисы, доски, шрифт и пр.

Гробунов был приземистый малый с широкой грудью и крепкими руками. Его небольшая коротко остриженная белокурая голова плотно сидела на плечах, небольшие серые глаза смотрели так прямо и спокойно. У Гробунова не было свободной минуты, потому что все время уходило на работу, он умел дорожить своим временем.

Его всегда можно было найти или за книгой или за работой. У него была отдельная маленькая комната, в которой он с раннего утра до полночи стучал громадным железным молотом по книгам, сбивая корешки и передвигая свои станки.

Бывало выскочит Гробунов к нам весь в поту, грудь открыта, рукава засучены, — ни дать, ни взять настоящий рабочий из какого-нибудь немецкого романа последнего времени.

— Ну, что, Гробунов, наработался?

— Пойди-ка, поверти за меня тисы-то, — улыбнется Гробунов.

Зажимать в тисы книги была работа тяжелая, Гробунов, несмотря на свою силу, подолгу потел над этим. Мы ему иногда помогали в этом, но больше любили печатать золотом на корешках переплетенных книг. Для этого нужно было сначала нарезать литеры, наклеить как следует золото и потом уже давить шрифт. Гробунов доверял нам необходимые инструменты и недорогие книги, над которыми мы и трудились по целым часам.

Ближайшим помощником по старой дружбе и своей охоте у Гробунова был Иван.

Фамилия Ивана была Плотников. Он был сын одного богатого протоиерея, но жил вместе с нами, платя Новикову за квартиру и за обед с ужином по три с половиной рубля, как и мы все. Плотникова обыкновенно мы звали Иваном, и это название за ним удержалось за все время учения в семинарии. Иван был такой же здоровяк, как Гробунов, только голова у него была несколько иначе построена. Бледное лицо, большие темнокарие глаза, густые черные брови, широкие губы, — все у него было как у настоящего барчонка. Весь склад физиономии и развитой лоб обличали в нем ум, и он действительно обладал им настолько, что все учителя, с которыми ему приходилось иметь дело, были им более чем довольны. Иван не любил что-нибудь делать скоро, а все делал потихоньку, не торопясь. У Ивана был широкий халат из коричневого сукна, в этот халат он обыкновенно забирался дома на весь день, и его было трудно вытащить оттуда.

— Это родительское благословение, прямо с родительского плеча, — отвечал обыкновенно Иван на все приглашения оставить халат.

В голову Ивана заходили иногда странные желания, которые он и стремился осуществить непременно в продолжение нескольких годов. Так засела ему в голову мысль, что он непременно должен был выучиться какому-нибудь ремеслу, чтобы всегда иметь возможность существовать трудами рук своих. То примется Иван починивать часы, начиная со своих, уверяя всех нас, что это самая выгодная и удобная работа; то начнет учиться переплетать у Гробунова. Последнее ремесло дольше всех держало Ивана, и он не один месяц сряду сидел за сшиванием и склеиванием книг, вымарывая себе весь халат клейстером, прокалывая руки иголкой и не обращая внимания на наши замечания, часто летевшие в цель довольно удачно.

— Ремесло за плечами не виснет, — был ответ Ивана на все наши замечания.

Иван много читал, много слышал и потому знал гораздо больше всех нас. В училище, благодаря особенным обстоятельствам, он был поставлен несколько иначе, а потому избегал зубренья и успел прочитать множество книг. Иван знал все, и мы в трудных случаях всегда обращались к нему за справками. Зайдет ли речь о паровых машинах, телеграфах, водопадах, важных исторических событиях, последних новостях технического мира, — словом, о чем угодно, у Ивана был всегда ответ и довольно подробный. Откуда и когда Иван успел узнать столько, мы не знали и обращались в этом случае к нему как к энциклопедисту.

Отец Ивана имел страсть к математике и эту же страсть передал сыну. Иван был математиком от рождения. Везде, где он был, всегда можно было найти лоскутки бумаги, исписанные разгонистыми цифрами. Эти лоскутки всюду сопровождали Ивана, как его первая и необходимая принадлежность. Смотришь-смотришь, как он пыхтит, бывало целый час над таким клочком, и спросишь, что он тут делает.

— Да вот, высчитываю, сколько нужно лет, чтобы доехать на хорошей тройке до Луны.

— А не считаешь, Иван, сколько мух прилетело да сколько улетело, — подшутит кто-нибудь.

А то рассчитает Иван, что и как можно выгоднее купить. Обыкновенно он рассчитывал выписывать что-нибудь из-за границы, например, часы. Целые дни возится

он около тарифов и разных прейскурантов, исписывая один клочок за другим. Такие расчеты его довели, наконец, до того, что он выписал себе часы из Петербурга, но его жестоко обманули, прислав часы с медными крышками вместо серебряных. С этих пор Иван расчеты с заграницей и Петербургом покончил, решив, что за глаза непременно надуют.

— Давай, Иван, выпишем часы из Каира, там, говорят, очень хорошие и дешево продаются, — шутит кто-нибудь.

— Нет, я русский человек, а русский даже и глазам не верит — дай пощупать, говорит, не то что выписывать по за глаза.

— А каково петербургские-то часы идут, Иван?

— Ничего себе, идут помаленьку.

— А ты крышки-то мелком дерни, они и будут сиять, как солдатская пуговица перед [праздником].

— И так ладно!

— А то татарам продай крышки-то на золотники, они скупают серебро-то. Ведь это будет выгодно, а ты заведешь новые. Или ты, может, в бессребренники записался?

— В бессребренники.

Вообще в Иване проглядывало что-то комичное, хотя он и был серьезным человеком во всех отношениях. Эта комичность проявлялась особенно в тех случаях, когда Иван, углубившись в свои расчеты, начинал жить своей особенной, высчитанной по бумажке жизнию, которая часто расходилась с действительностью. Иван был глубоко убежден в верности своих выкладок и причину всех неудач сваливал на несоблюдение каких-нибудь непредвиденных условий.

— Если бы мне часы привезли не через Москву по железной дороге, а через Рыбинск на пароходе, то провоз обошелся бы гораздо дешевле, и мне прислали бы часы с серебряными крышками. Я это пропустил, я рассчитал на Рыбинск, а мне послали через Москву.

— Скоро будут в ходу стальные часы, которые будут стоить не больше двух-трех рублей, тогда выпишем себе получше.

— А теперь, Иван, носи лучше пятак вместо своих часов-то — выгоднее гораздо. А там стальные купишь.

— Куплю,— уверенно говорил Иван.

Остальные двое — Насонов и Молосов — были первыми учениками того училища, в котором я учился. Насонов жил на одной квартире с Захаром, с ним ходил в лес ловить птичек, где разыгралась над ними катастрофа. Насонов был замечательно талантливая голова. Его заметили в училище с первого раза и развили в нем различными отличиями самолюбие до таких размеров, что оно сделалось в нем каким-то болезненным чувством. Инспектор училища особенно любил его и многое спускал ему, что не спустил бы другому никогда. Дело кончилось тем, чем обыкновенно кончается в этих случаях, — Насонов пошел в разрез с начальством. За это его не выпустили первым из училища. Это был большой удар его самолюбию, и он никогда не мог забыть такой обиды; другая обида была то, что он рассчитывал на семинарию, но и тут ему не повезло — первым приняли другого. Замечательна была память у Насонова, все удивлялись ей; но еще более замечательна была другая сторона его мысли — это наклонность к поэзии. Насонов не написал ни одного стихотворения, но те описания и заметки, которые делались им по классу словесности или просто для себя, обличали в нем сильное, сосредоточенное чувство, которое билось в каждой строке его ученических произведений. Форма выражения этого чувства, те взгляды и мысли, которые родились в его голове по причине того или другого факта, были настолько оригинальны и сильны, что учитель словесности не раз, прочитав его сочинение, посмотрит на класс и скажет своим ровным голосом:

— Вот человек пишет, так пишет,— ни одного слова прибавить, ни одного слова убавить. Просто, сильно, сжато, — больше нечего требовать. Благодарю вас, Насонов! — И профессор, раскланявшись, отдавал сочинение, предварительно прочитав его всему классу.

Насонов часто сталкивался с Окосовым на спорных пунктах, но по большей части каждый раз проигрывал дело, потому что Окосов знал больше его и отлично умел пользоваться своим знанием. Эти спорные пункты уводили спорящих дальше, чем следовало бы, и потому они несколько косо смотрели друг на друга, хотя каждый отдавал должное другому, но подать руку первому — ни у одного не хватало духу.

Молосов был тоже из первых по списку, он тоже от-

личался своими способностями, но это был ум довольно своеобразный, именно тот ум, который на чем упрется — не сдвинешь его никакими силами. Молосов долго доходил до всякой истины, долго добирался до мысли, проверяя ее и опровергая на всякие манеры, и если что забралось в его голову, то оттуда трудно было выходить назад. Как тяжело двигалась его мысль, так же сложился и характер. По характеру он принадлежал к числу тех прямых, идеально-честных характеров, которым кажется, без малейшего колебания отдал бы свою душу на сохранение. Я не знаю, как вырабатываются такие характеры, но знаю, что люди родятся с таким характером... К числу последних принадлежал и Молосов. Первые шаги на жизненном пути дали полную возможность развиться и укрепиться такому характеру, полученному, может быть, по наследству от отца. Отец Молосова своей честностью и набожностью до фанатизма был известен не только в своей губернии, но и в высших инстанциях духовного ведомства, где он имел громадное дело, наделавшее много шуму в свое время.

Мы занимали три небольших комнаты, из которых одну отдельно занимал Гробунов. Сам хозяин жил внизу. Он был мещанин, и главным его занятием была рыбная ловля во время лета и осени. У него целая комната была наполнена рыболовными снастями, где он и проводил свое время над несколькими тысячами крючков, наплавков и шнурков. Новиков часто заходил к нам наверх потолковать о том, о сем. Он давно держал семинаристов, потому был знаком с их жизнью, нравами и обычаями. Мы от него узнали все подробности большой рыбной ловли, и он дал нам слово по весне свести нас к себе на свою тоню. После классов, когда кончится обед, особенным удовольствием было для нас помять Луку.

— Ну, что, Лука, разве мы с тобой поборемся? — предлагает кто-нибудь.

— Куда вам со мной возиться; кормили вас сладко, тело у вас жидкое, а у меня кулаки жесткие. Пожалуй, и не угодишь.

— Да уж ты очень много хвастаешь своими кулаками, Лука.

— Есть чем, так и хвастаюсь, а вы бы и рады похвастаться, да нечем.

— А ты расскажи нам, как тебя вчера хозяйка била, а?

— Хозяйка? Нет еще, видно, у ней волосы длинны, а руки коротки.

— А до тебя достали все-таки?

Кто-нибудь раздражал Луку, он бросался за обидчиком.

В конце мы брались за Луку вдвоем или втроем. Лука хотя и был силен, но с троими ему было не под силу возиться, и ему крепко доставалось, хотя он в этом и не сознавался никогда.

— Ну, что, Лука, намяли тебе лен-то?

— Кто кому намял.

— Поди, проболит загривок-то недели с три?

— Да вас бы еще человек сорок насело мне на шею-то?

— У тебя теперь, Лука, четверит в глазах-то. Нас было трое, а тебе показалось больше двенадцати. Тебя, пожалуй, придется соборовать, а?

— Кутейники вы эдакие,— смеется Лука.

Насонов особенно задирался в этом случае, и ему обыкновенно доставалось больше всех. Схватит его Лука своей жилистой рукой, сожмет, инда кости захрустят, только Насонов не из таких, чтобы уступить — чем дальше, тем в гору везет он.

— Што, больно, — смеется Лука, сжимая Насонова еще сильнее.

— Нисколько. Вот моя бабушка, так та гораздо сильнее давила моего дедушку.

— А так она давила? — сжимает еще сильнее Лука.

— Нет, она вот как делала,— улучив минуту, щелкнул Луку по сизому носу.

— Ах ты, курицын сын! — и Лука устремился за Насоновым.

Была осень. Тонкой белой пеленой покрыл все кругом снег; не раз принимался он таять, не раз, растаяв, замерзал. Перепадали со снегом и дожди. Вечер. Темнота. Дождь льется с неба, точно там какая дыра образовалась в тучах. Вчерашняя гололедица сделалась слизкой, так что ходить нет никакой возможности. Две-

ри в квартире Новикова растворяются, и из них выскакивают на улицу какие-то три тени.

— У?! Какая ночь-то!

— Хоть глаз выколи, ничего не видно.

— Осторожнее, господа, а то и лоб недолго тут расколоть.

Господа осторожно добираются до калитки и ощупью выбираются на улицу. Нет ничего в свете неприглядкее тех улиц, которые тянутся где-нибудь в захолустьях наших губернских городов. Эта непроглядность достигает своего максимума в темные осенние ночи, когда кругом непроходимая грязь, когда ни зги не видно, а фонари пока еще чаяние языков, населяющих эти улицы. Тихо двигались тени около забора, нащупывая каждую ямку, каждый шаг. Кто-то поскользнулся и пал. Ругаясь, поднимается упавший с земли, остальные хохочут.

— Ну что, ушибся?

— Нет, а кажется, потерял деньги.

— Ну-ка, сосчитай.

— Да не видно.

— Зажигай спичку кто-нибудь.

Яркой точкой вспыхнула спичка, ветер колышет слабое пламя, его закрывают между ладонями. При слабом свете Молосов старается сосчитать деньги. Дождь падает сверху, руки мокрые, деньги считаются плохо.

— Все? — нетерпеливо спрашивает Насонов, зажигая другую спичку.

— Двух копеек недостает.

— Ну?

— Право.

— Так как же? Что будем делать?

— Да нужно будет поискать их.

Вспыхивает другая спичка, и три тени на корточках рассматривают тропинку, на которой пал Молосов.

— Ну что, не нашел?

— Нет.

— Надо руками, господа.

И господа начинают руками шарить по мокрому льду.

— Ах ты, проклятье! — ворчит Насонов.

— А вот, вот!.. Нашел, — кричит кто-то.

— Нашел?

— Да.

— Куда идем?

— К Катеньке.

Едва прошли несколько шагов во тьме кромешной; но вот там вдали мелькнул какой-то свет — это у Катеньки горит огонь. Путешественники молча поднялись по деревянной лестнице до стеклянной двери, которая со скрипом отворилась, приняла в свои объятия промокших и замерзших. Комната, в которую зашли семинаристы, ничем не отличалась особенным от других кабаков, разбросанных по закоулкам. За стойкой тянулись рядами бутылки с разноцветными жидкостями. Из соседней комнаты вышла краснощекая молодая женщина с полной грудью, с масляными глазами, — это и была Катенька.

— Ну что, господа, по каким пройдемся?

— Черемуховую сегодня надо попробовать.

Катенька налила какой-то темно-коричневой жидкости в стаканы, которые и были немедленно выпиты.

— Мне еще,— подал свой стакан Насонов.

Катенька налила еще. Насонов выпил.

— Отличная штука эта черемуховая наливка, — говорил дорогой Насонов, цепляясь одной рукой за забор.

Все эти недавние уездники были теперь семинаристами, настоящими семинаристами, а потому и считали своею обязанностью практиковаться по части выпивания. Тем более, что поучиться в этом было у кого. Гробунов не пил ни капли никакого вина; Окосов никогда не ходил в кабак, хотя и не прочь был раздавить косушку-другую с хорошим человеком. Молосов пил не знаю по каким причинам: Насонов пил потому, что семинаристу нельзя было не пить; я пил потому, что не хотел отставать от других семинаристов, хотя долго плевался после каждой выпитой рюмки.

В большой комнате квартиры Новикова стоит посредине комнаты большой стол, заваленный книгами. Небольшая лампа обливает слабым светом всю комнату, но из-под абажура свет падает главным образом на стены. У стола сидит Иван в своем халате; он застыл на какой-то мысли, карандаш шевелится в руке, на тетрадке длинными рядами тянутся цифры. Гробунов во-

рочает в своей комнате станками, что-то разговаривает вполголоса.

— Вишь ты, угораздило ее...— И Миша начинает с ожесточением бить по корешку тяжелым железным молотом. Сделав ударов пять-шесть, он снова смотрит на труды рук своих, но они его, видимо, не удовлетворяют. Снова он колотит молотом по книге, крупными каплями выступает пот на его лбу. Дверь в прихожей скрипнула, и в комнату заходят ходившие к Катеньке. Гробунов, бросив книгу, вышел в общую комнату.

— Ах вы, пьяницы,— смеется он.

— Молчи, Миша, никому не сказывай,— смеется Насонов, легонько покачиваясь на ногах.

— Лупить вас надо, жуликов.

— Ну, уж лупить как-то, нельзя чем получше обойтись.

— Эх, Иван, Иван! Сидишь ты и ничего не знаешь, какая славная наливка есть у Катеньки.

— Ну ее к черту,— бросает Иван свою тетрадь,— а чтобы вам догадаться да мне и принести по пути.

— Денег, братец, не прохватило, а то бы и тебя не позабыли.

Через полчаса все сидят за работой. Иван опять за выкладками морщит свои брови, Молосов читает «Самодеятельность» Смайльса, делая какие-то выписки карандашом. Насонов сидит за Гоголем.

— Что за молодец этот Гоголь,— хлопает он рукой по раскрытому месту книги,— как он чудно пишет!

— Все это картинки да фантазии,— цедит Молосов, поднимая глаза от своей тетрадки,— ты бы лучше почитал вот Смайльса да узнал, как люди живут на свете.

— Не выходит! — ожесточается Иван над каким-нибудь невинным лоскутком бумаги.

Двери отворяются, и в комнату заходит Тимофеич с каким-то семинаристом.

— Мир вам и мы к вам,— говорит он своим неизменным веселым тоном, точно у него невесть какая радость постоянно.

— Откуда это?

— А вот с Михельсоном пробираемся на вечеринку да по пути и зашли проведать вас,— живы ли, здоровы ли, как живете-можете,— говорит Тимофеич, отряхивая капли дождя с фуражки и футляра.

— Идете играть?

— Да. Нас приглашали на сегодняшний вечер.

Тимофеич успел научиться в семинарии играть на скрипке и теперь пожинал плоды своего искусства. Тимофеич был сын небогатых родителей, поэтому его приняли на казенный счет, и он жил в семинарии вместе с другими казеннокоштными. В семинарии были казеннокоштные, но не было бурсы. Тимофеич и еще несколько других таких же артистов составили свой небольшой оркестр человек в шесть. У них была виолончель, три скрипки, две флейты, и они кое-что играли довольно сносно. Их приглашали иногда играть к знакомым, по большей части куда-нибудь к чиновникам или купцам. Не отказывались они и от вечеринок, где им давали денег, где было много вина и женщин. Этот импровизированный оркестр проводил свое время довольно весело и не особенно заботился о завтрашнем дне, возвращаясь часто домой далеко за полночь, с туманом в голове.

— Вы, господа, совсем заучитесь, целый день сидите за книгами,— смеялся Тимофеич.

— Ну, а как ваши дела идут?

— Наши? Наши, благодарение создателю, идут, как по маслу,— сегодня пьян, завтра с похмелья, послезавтра опять пьян, а там опять с похмелья.

— А начальство?

— Начальство — особь статья, с начальством у нас своя политика. Сегодня пришли домой в три часа ночи и проспали до десяти часов ровно. Встали, подумали-подумали — в класс идти поздно, да еще, пожалуй, спросят по какой-нибудь логике, давай, мол, Михельсон, соснем еще; ну и проспали ровно до двух часов, когда кончились классы. Говорят, инспектор ходил по комнатам, и уж он стучал-стучал у нас, а мы и ухом не ведем, спим — и делу конец. А вы, поди, все классы отсидели подряд!

— Конечно.

— Постойте, пообживетесь, пооботретесь маленько, тогда научитесь, как дела-то вести. С ними, подлецами, надо ухо востро держать. Вон сегодня после обеда я иду по коридору с папироской, а за мной ректор бежит. Я сейчас взял да и спрятал папироску в рукав.— Рукав сожжешь,— кричит. Я бросил на пол.— Семинарию сожжешь,— говорит, а потом остановил меня, да пальцем этак трясет: «Я, говорит,— доберусь до тебя когда-ни-

будь, художник». А я думаю себе: — Нет, мол, ваше высокопреподобие, далеко еще кулику до петрова дня, не при нас, мол, это писано.

— Доберутся же до тебя когда-нибудь, Тимофеич,— замечает Гробунов.

— Да на той неделе и то чуть не добрались. Шли мы вечером тоже на вечеринку, как и теперь. Ну, снегу тогда еще не было. Идем себе по берегу, да балагурим. Только подходим к брезгинскому дому, где иконостасы делают, а оттуда как раз и выходят рабочие, с работы значит. Мы идем себе, ничего не думаем, а и позабыли, что не так еще давно в одном злачном месте поколотили порядком одного брезгинца. Нас было трое, брезгинцев человек восемь. Как завидели они нас,— эй, говорят,— вас-то голубчиков и надо. Со мной была дорогая скрипка, рублей в сорок, да вдобавок еще чужая, как тут быть? А они на нас наступают и делу конец. Мы пятились, пятились, да Михельсон как засветит одному, он и покатился под гору. Вот тут и началась потеха. Ухватились они за Михельсона да за Попова, а один наскочил на меня. Я его, а он меня; только вижу дело плохо, пожалуй, и костей не соберешь от нее, отмолотят на славу, да и скрипку изломают. Он меня как двинул, я подвернулся да под гору, да ползком, да ползком. Кое-как добрался до семинарии. Забегаю в свою комнату: «Ребята, мол, наших брезгинцы бьют». Были занятные, все в сборе, как подымутся да со мной кто с чем, кто палку, кто ножку от железной койки. Прибежали, а Михельсон в крови весь, как баран. Наступили мы на брезгинцев, видят, что дело их плохо, сейчас отступать, так и скрылись. Михельсону крепко досталось, Попову тоже, а у меня только на носу царапинку сделали, подлецы.

— Плохо они тебя колотили, Тимофеич, они не знали, по какому месту тебя надо было бить-то.

— По какому?

— А по толстой-то шее.

— По шее?— и Тимофеич с удовольствием провел по толстому красному затылку.

— Ну, а как вечеринки ваши идут?

— Вечеринки — разливное море. Придем это, выпьем маленько для начала; начнутся танцы. Это скучная материя. Потом еще маленько выпьем, а потом уж и пойдет пир на весь мир. Что только не делается тут! Сначала

все народ такой важный, степенный,— не подходи, а как подвыпьют и пошли писать. Эти бaрыньки разные, такие все расфуфыренные, дохнуть страшно; а глядишь, к концу-то и поразойдутся маленько. Кто-нибудь затянет русскую песню, мы подыграемся, и пойдет пир горой. Эти бабенки разгорятся, раззадорятся,— а мы сейчас русскую закатим, барыню или комаринского. Не стерпят и пойдут, только платочками помахивают. Вот на вечеринке у одного купца жена плясала русскую, так просто объядение. Купцы не то, что чиновники,— разгуляются — море по колено. Сам хозяин пристал к нам — целуется, вы, говорит, мне словно родные, а жена в одну руку беленький платочек, другой юбки подбросила и пошла откатывать русскую — аж чертям тошно. Ну, только и баба, Михельсон три дня ее во сне видел.

— Поменьше маленько.

— Зачем же отпираться-то, Михельсон, это нехорошо. Долго мы тогда тут пировали, а купец все с нами сидит,— сыграйте, говорит, мне самое жалобное, а потом, говорит, барыню отхватите, да с перехватом непременно, а то, говорит, и рук тут не стоит марать. Мы с Михельсоном тогда порядком тут приложились. Михельсон под конец не помнит ничего. Сидит это, ужинает, подали мороженое, Михельсон положил себе на тарелку, половину-то съел, а половину в карман положил.

— Ну, это ты врешь, кажется,— пытается защищаться Михельсон.

— Вот тебе раз, и врешь как-то, будто я не рядом с тобой сидел тогда.

— Ты лучше про себя-то расскажи, как ты играл тогда на скрипке. Спать человек хочет, и глаза совсем закрывает, а все играет. Я думаю, вот человек уронит скрипку, нет, играет, и поди с ним.

— А вы что, господа, киснете здесь, учитесь у нас, как на свете жить. А нам, Михельсон, и в путь пора.

— Да ведь ты разболтался здесь.

— Идем.

Тимофеич с Михельсоном исчезают.

— Ишь ведь, их носит в какую погоду,— смеется Гробунов.

— Охота пуще неволи.

— А славное житье: жаль, что я не умею ни на чем играть,— про себя замечает Насонов.

— Пошел бы с ними?

— Конечно, пошел бы.

— Этому Тимофеичу не сносить своей головы, даром, что здоров, как бык. Кто-нибудь доберется до него, особенно за этих баб: ведь ни одной горничной не пропустит, чтобы не щипнуть.

— Да ему никогда ничего не сделают, потому что он никогда не задорит. У него везде смех да веселье, не то что другие,— напьется человек, сейчас в гору и везет.

— Что они только делают в своих комнатах,— удивляется Насонов,— придешь это к ним: музыка, пьянка, веселье. И каждый день так, не то что мы.

Водворяется молчание.

4 глава

Казеннокоштные семинаристы жили по так называемым «номерам», всех номеров было около тринадцати. В каждом номере жило от шести до десяти человек. Эти номера находились в третьем этаже и нижнем. У некоторых были свои специальные названия, например, была Лапландия, где солнце заглядывало один раз в год, был Рай, где солнце было круглый день, а окна выходили в небольшой семинарский сад.

Тимофеич жил в пятом номере. Зайдешь, бывало, к ним в комнату, так сразу и опахнет чем-то особенным, какой-то особенной жизнью. Вокруг стен тянутся койки, покрытые серенькими байковыми одеялами. Четыре или три стола, окруженные табуретами, несколько гардеробов по углам дополняли картину. Семинаристы в своих казинетовых серых сюртуках или пальто выглядывают какими-то . . . . [1] среди разбросанных книг и всевозможных тетрадей и записок. Отличительная черта семинаристов та, что они любят всевозможные записки. Произошло это сначала, вероятно, по недостатку книг, а потом и по особенному складу семинарской науки, требовавшей самостоятельной работы на бумаге по разным логикам, психологиям и философиям. Даже Тимофеич, и тот имеет какие-то записки. В этом, конечно, странного

[1] Пропуск в рукописи.

ничего нет. Но странно то, когда успел он написать их. Едва ли бы и сам он ответил на такой вопрос, потому что время у него было дороже денег.

Ей-богу, хорош был Тимофеич в своем «пиджаке», с высокой грудью, с беззаветным весельем на лице и в речах. Бог знает, какая сила веяла от него, вероятно, та, что ему всю жизнь будет по колено море. Да и о чем он мог беспокоиться, чего ему недоставало? Впрочем, находили и такие минуты на Тимофеича, надоест ему все, повесит свою буйную голову.

— Надоело все! Будь они прокляты совсем,— махнет рукой Тимофеич.

— А что, Тимофеич?

— Да делать нечего.

— Учись.

— Учись? Логику, што ли, учить? Нет уж, поучите за меня ее вы, пожалуйста, а меня увольте.

— Готовься куда-нибудь.

— Куда же это?

— В университет.

— В университет?!. Надо, раз, всю математику выучить, а я деление позабыл, да нужно пиджаков побольше.

Хоть бы и пиджаков дали Тимофеичу, все-таки не стал бы он учиться, потому что не написана была ему на роду эта ученость. Дело ему было нужно какое-нибудь, где бы наработались сильные руки, приключений и подвигов жаждал он. Где ему было сидеть со своим здоровьем за наукой, когда на волю, на широкий простор просилась душа.

— С удовольствием бы пошел куда-нибудь в лес дрова рубить недели на две,— улыбнется Тимофеич,— вот житье, так житье: рубишь до обеда, рубишь до вечера, ешь за четверых, спишь за пятерых, а как весело-то. Дай бы гору, так, кажется, всю бы ее разворотил с радости-то.

— А логику разворотить не можешь?

— Ну ее к лешему.

Жизнь казеннокоштных семинаристов по отдельным комнатам представляла много интересного. Так, в одной комнате живут певчие, в другой — музыканты и т. д. Всякая комната живет отдельной жизнью, своими собственными интересами. У многих семинаристов были свои самовары, поставят их на столы, соберутся одной

семьей около стола и беседуют себе. А кто подогадливее, прихватит водочки, для воображения тоже не лишняя вещь.

— Господа, не разобрать ли нам дело,— говорил Тимофеич,— о погружении монаха в воду, повлекшем за собой и кончину оного?

Вечер. В одной из комнат виден огонь. Комната разделена на две половины небольшой аркой. В одной половине за большим столом двигатели науки, в другой — всякий сброд: и артисты, и аферисты, и запивальщики, и просто веселые ребята. В первой комнате тихо, потому что все заняты делом,— кто пишет, кто читает. На всех лицах самое сосредоточенное внимание, все заняты своим делом. Другая половина занята переливанием из пустого в порожнее. Какие-то разговоры о чем-то тянутся целые часы, пересыпаясь громким смехом и возгласами. В одном углу играют в шашки.

— Ну-с, так как же,— говорит один, передвигая пальцем одну шашку.

— Ну-с, так как же,— говорит другой, передвигая с одной клетки шашку.

— Да-с...— протягивает первый, щелкая себя по носу пальцем,— да-с... Так вы вот как значит хотите, а? С подвохом-с?

— Нет.

— А мы вот ей сейчас того, карачуна зададим.

— Не торопитесь, пожалуйста.

— А вот...

— А вот.

— Эк тебя берет, ну для чего ты портишь игру-то?

— Для того играем-с, милостивейший.

— А этого не хотите?

— Этого? А этого?

— Этого... А вот так-с?

— А эдак-с?

— А к родителям письма писать не желаете?

— Па-ачтеннейший, куда это вы нос-то протягиваете?

— А вот куда...— И почтеннейший проходит в дамки.— Теперь мы вам, милостивец, кой-что приготовим, так сказать, некоторое место злачное, иде же несть печаль, ни воздыханий...

— А вот посмотрим,— стучит шашкой первый.

— А не увидим, так услышим,— стучит второй.

— Приди, мой друг, под сень черемух и акаций,— говорит один, запирая шашку в угол.

— И ты Брут...

— Тэ-э-эк-с.

— А вот этого вы не пробовали?

— А вы без очков-то не слышите, вероятно, да?

— А вы недавно ослепли, да и не видите, как у вас из-под носу шашки-то берут?

— Еще единую...

— К родителям.

— Га-а! Попал, милый, попал!..

— Эк угораздило!

— А чем это пахнет,— тычет пальцем выигравший на припертую шашку.

— А давай еще?

— Изволь, дружище, и петь ты, говорят, великий мастерище.

— А теперь мы посмотрим!

— А мы увидим.

— А вы сегодня обедали?

— С предварением,— движет шашкой первый.

— С предварением?!

— А вы не знаете ли, в котором месте у козы хвост растет?

— А как сладки гусиные лапки!

— А ты их едал?

— Нет,— а мой дядя видал, как его барин едал.

— Уж ты, кумушка...

— Ты, голубушка...

— Камо жду от духа твоего.

— Ни, отвеща бес.

— А как вашу тетушку звали?

— Обмакни.

— А вот сейчас обмакнем... С чем прикажете: висячий или сухопутный?

А вон тут же рядом с игроками известный в семинарии Костя рассказывает что-то собравшимся.

— И только это, братцы, я подхожу к воротам — заперты. Так-сяк — заперты. Фу ты, черт тебя разорви, как быть? Пощупал подворотню — шевелится, еще нащупал — выпала. Просунул голову — идет, грудь кое-как придавил, да и засел. Сторож слышит, что кто-то возится

под воротами, взял дурак да и уськнул собак. Вот и побежали, а у меня одни ноги, я ими болтаю. Уж они меня грызли-грызли — беда, едва жив ушел от проклятых.

— И того?

— Само собою разумеется.

— И черт его душу возьми, этот инспектор...

— Да что такое?

— Иду по коридору: «Куда вы?»—«В рынки».— «Поздно, лавки заперты», говорит.— «Ну, так по пути прогуляюсь».—«А в кармане что у вас?» А у меня бутылка на ту беду случилась из-под водки. Вынял я ее: «Бутылка, говорю, для лекарства».— «Какого же это?» — «Полосканье доктор прописал».—«Понимаю, понимаю, что за полосканье, говорит, только у меня смотрите, за это полосканье божьей милостью да из семинарии».— «Это, мол, точно-с, бывает, только мы этому делу не причастны и ни в чем не замечены. Поимейте, говорит, это в виду.

Недалеко от стола на двух койках два рослых семинариста, известные под именем Медведя и Хори, стояли на головах, стараясь взять верх один над другим.

— А-н-е-т...— отдувается Хоря, вонзая крепче свою голову в кровать.

— Сдавайся, Ховринька, на капитуляцию и паки преклониша колена...

— Не торопись: погоди не роди, дай по бабушку сходить...

— Во как... а на бок не хочешь? Откровенно, Ховринька, главное дело...

— Куда там...— и Ховря покачнулся, едва сдержав прежнее положение.

— Это в силу тяготения к центру земли тянет тебя, Ховринька.

— Ляжем костьми, но не посрамим земли русской.

— И видел я, братцы, сон...— рассказывал Костя Покатилов в другом углу.— Вышли семь коров тучных на берег, поднялись в гору к кафедральному собору, посмотрели на семинарию и пошли к Ивану Никитичу, за ними вышли семь коров тощих и тоже к Ивану Никитичу.— Так и так, говорят тучные, вы нас еще в Египте пожрали, поэтому вам нас угощать сегодня, а нам завтра; а тощие отвечают им: старая, братцы, песня: вы уже, говорит, нас эфтим-то манером другую тыщу лет ведете

за нос... Вижу я, дело у них не клеится, пожалуй, до драки недалеко, ну и подхожу: так и так, учась еще в преблагословенной матери-бурсе, досконально постиг всю историю вашу, а потому рассуждаю так, только чтобы без шума, насчет этого строго в нашем городе начальство... Согласились. Я к Ивану Никитичу. Так и так, из Египта тучные и тощие коровы в гости пожаловали, нельзя ли в долг как. Уперся Иван, хоть ты кол на голове теши. Ну, паря, так и быть, уж очень, говорю, мне хочется угостить египетских-то, а он улыбается — вот, мол, што: доставлю я тебе завтра утром две египетских пирамиды, полтора фараона (ну они-то подержаны маленько,— ничего, говорит), а в придачу — сие... свой жилет. Расступился, выдавил полштофа. Ну, известно, тощие натощак, толстые для аппетита прохватили русского-то, хорошо, говорят, мы, говорят, в своем Египте и во сне такой сладости не видывали. А я им, у нас, мол все попросту: ешь солоно, пей горько, умрешь — не сгниешь. Поговорили еще маленько, ну, говорят, пора и домой, до свиданья, мол, а вот от нас на прощанье, говорит, тебе даем предсказанье: через столько-то дней вечером перед ужином ты выпьешь в складчину с такими-то...

— Ховринька, не превратись ты, пожалуйста, в соляной столб, как жена Лотова.

— А тебе, Мишенька, видно, грустно приходится, покорись заблаговременно.

— А ты устал, Ховринька, признайся?

— Ни, отвеща бес.

— Может быть, у вас желудочное трясение?

— А у вас под коленками вздохнуть не дает.

Через четверть часа Костя Покатилов подошел к Ховре, взял на руки и понес к столу, где уже собрались музыканты.

— Как дочь фараона принесла из воды младенца Моисея, так я приношу Ховрю, который будет почище всякого Моисея, особенно насчет мусикийских-то... Ну-ко, грянь лучше, чем на голове-то стоять, а мы под шумок-то сообразим кое о чем вот с этими милордами-то, потому что я сегодня ночью видел еще новый сон. Вижу, будто я во время классов сижу здесь один в комнате, и что-то почитываю, только вдруг какая-то рука чертит вот на этой стене какие-то знаки. Читаю: мани, факел, фарес, то есть как значится по переводу: перед ужином сходи и пред-

вари, иначе на завтрашний день будешь превращен в осла и будешь питаться исключительно одними казенными экземплярами до окончания курса.

В другом углу комнаты за круглым деревянным столом сидела целая партия семинаристов, двигавших науку, большинство было, конечно, новички, не вкусившие еще от древа познания добра и зла. Глухое жужжание висело в воздухе, окружавшем деревянный прилежный стол, точно это был улей.

— С незапамятных времен в долинах Средней Азии...—выливалось из одного растворенного рта.

— Что такое литература?— задавал другой рот себе самому вопрос.— Под словом литература, в обширном смысле слова, должно разуметь все то, что только написано на каком бы то ни было языке; в более же ограниченном смысле слова — есть такие произведения, которые содержат в себе мысли, желания, чувствования, стремления и вообще всю внутреннюю духовную жизнь известного народа...— цедила другая голова сквозь зубы, справляясь по временам с записочками профессора.

— А плюс бе плюс це минус де...— закусив губы, неистовствовал тут же Поспелов, неистово выставляя на бумаге буквы и цифры.

— И рече безумен в сердце своем: несть бог...— выкрикивает какая-то фигура с длинным тонким носом, с полузакрытыми глазами.— Солдат, зеленая голова, изведи из темницы душу мою...— пронзительным тенором выделывает он в заключение, закрывая книгу и щелкая по носу своего соседа.

— А я, братцы,— говорит Покатилов,— когда отобедаю и захочу отдохнуть немного, всегда на сон грядущий читаю «Правила для учеников семинарий», а уж потом и засыпаю со спокойной совестью. Просто душа радуется над иным правилом минут десять. Примерно, § 46 гласит: «Питье крепких напитков крайне предосудительно и пагубно для юного возраста. Это яд, растлевающий самые свежие юные силы... И самое малое вкушение оных напитков в лета юности обращается с возрастом в непреодолимую пагубную привычку пьянства...»

— Я полагаю со своей стороны,— заявлял Ховря,— что здесь переврана латинская поговорка, простая опечатка, в подлиннике должно быть так: «Vinum venenum senum, juvenum lac“

— Sic, Ховря.

— Смеется!— щелкал Покатилов по бутылке с водкой, переливая и взбалтывая ее.

— Над тобой?..

— Надо мной смеяться ничего, потому свои люди, старые приятели.

— А Тимофеич, братцы, как смотрит на эту самую водку, точно Тантал какой... — подмигивает Ховря в сторону Тимофеича, поглядывавшего довольно умильно на принесенную водку.

— Еще хуже...— улыбался Тимофеич.

Водка выпита, музыканты уселись по местам. Ховря взялся за свою длинную музыку, из-за которой выставлялся только его нос, приподнятый кверху. Покатились волной звуки, заходила, разгулялась бесшабашная музыка около стен, вокруг столов, подошла к семинарским головам, взмутила, взбаламутила в них разные мысли.

Распустила сухоту
По моему животу
Да — эх, барыня, не могу.
Сударыня и — не могу!

Прискакивал Покатилов на койке, выделывая самые невероятные па.

— Ну ее... — хлопнул книгой Поспелов, не выдержав музыки, к которой имел непреодолимое стремление.

— А ну, сынку, поворотись...— тормошил его Покатилов, выставляя на другой конец комнаты... — вали русскую!

Началась пляска. У Поспелова тряслись жирные щеки, и он еще более покраснел; Покатилов, обливаясь потом, выделывал всевозможные коленца, с присвистом и громким криком пускаясь вприсядку, распуская полы халата на подобие парусов.

Славно и вольно и весело жили семинаристы по своим номерам, двигая науку, с одной стороны, и развлекаясь, чем бог пошлет, с другой.

5 глава

Время шло. Мы ходили в классы. Алгебра, то есть профессор замковской церкви и священник математиче-

ских наук, не знал окончательно, что с нами делать. Как только он заходил в класс, начинался шум с первого раза. Профессор имел обыкновение перед каждым классом перекликать всех по списку. Этим пользовались, и перекличка длилась чуть не полчаса каждый раз, потому что перекликавший фамилии проходил весь список раза два... За этим профессор говорил что-нибудь вперед или вызывал кого-нибудь к доске. Что ни говорил профессор, о чем ни спрашивал, никто не обращал на это внимания. Шум поднимался в классе невообразимый: одни разговаривали, другие пели вполголоса и т. д. Вон товарищ Поспелова, Антон сделал из бумаги трубу и гудит в нее. Профессора особенно смущает этот гул, и он давно высматривал своим беспокойным взглядом виновного. Антон продолжает свое дело, мало обращая внимания.

— Бу-у...— несется из-под его парты. Профессор не выдержал, наконец, соскочил со своего места и подбежал к Антону.

— Вы, а вы, что тут делаете? — говорит он, придираясь к Антону. А последний преспокойно сидит на своем месте и ждет приближения профессора.

— А что у вас такое там? — тычет профессор под парту Антону.

— Бумага, — спокойным голосом отвечает Антон, развертывая перед самыми глазами профессора трубу.

— А нехорошо, нехорошо, — с укоризной качает головой профессор.

— Я ничего не делаю.

— А я буду жаловаться инспектору.

— Вас бог накажет за напраслину,— невозмутимо отвечает Антон.

— А нехорошо, нехорошо,— бормочет профессор, ретируясь к доске.

Опять шум, опять профессор выглядывает, на кого бы напасть. Между тем составилась компания певцов, которые затянули сначала потихоньку «се жених грядет». Профессор подбегает к одной половине парт — пение умолкает, зато на другой с удвоенной силой продолжает его другая половина. Профессор отскакивает от первой и накидывается на другую, но пение начинается назади снова. Долго мечется таким образом несчастный профессор, пока пот не выступает на его лице, пока класс не нахохочется вдоволь.

Если пение надоело, начинается визжание или урчание и тому подобные смешанные звуки. Профессор бежит куда-нибудь, звуки слышатся в противоположной стороне; утомленный профессор оставляет всякую попытку отыскать виновного и, стоя у своего столика, смотрит на весь класс немного исподлобья, начинает усмирять словом:

— А разве здесь волки?— бормочет он.— Это волки воют, в лесу воют.

Класс смеется.

Под партами несколько человек разостлали шубы и играют в карты, что очень удобно, так как задние парты много выше передних. Некоторые от нечего делать спят. Профессор пошел между партами открывать кого-то и нечаянно наткнулся на игроков. Никто не ожидал нападения, поэтому самые заспанные физиономии одна за другой начали выплывать из-под парт среди общего хохота.

— А что же это такое,— удивляется профессор.— Они под партами спят... А так, господа, нельзя, надо слушать.

— Да у меня голова болит, — оправдывается один.

— А в больницу нужно, к доктору...

— А я слушал,— оправдывался другой.

— А нет, а нет, так нельзя! Я к инспектору, вы спите под партами... А что же это такое?

А то ходит профессор по классу, иногда что-нибудь замечая вызванному к доске. В классе сравнительно тихо, потому что половина дремлет или спит, а другой надоело шуметь. Вот Миротворский положил голову на парту и спит самым ангельским образом. С другой парты долго смотрит на него его приятель Хитров, наконец, ему стало невтерпеж, он добирается до своего спящего приятеля и насыпает ему прямо под нос чемерицы. Миротворский потянул воздух, и вся чемерица очутилась у него в носу. Он поднял голову, тряхнул ею раза два, посмотрел кругом осовелыми глазами. Слышится смех, профессор смотрит на Миротворского. Тот начинает чихать, класс хохочет.

— А вы, а вы... — начинает профессор, подходя к Миротворскому. Миротворский чихает ему в ответ, опустив голову под партой.

— А вы зачем шумите?

Миротворский поднимается за партой и продолжает чихать.

— А выйдите из класса...

— Это пройдет сейчас... — Миротворский опять чихает перед профессором, класс хохочет.

— А я к инспектору... Пойдемте. Вы смеетесь надо мной.

И профессор начинает тянуть Миротворского за рукав из класса, тот не идет.

— Я не пойду... Кхи... Кхи... Это пройдет... Кхи... Кхи... Кхи...

— А я к инспектору, вы смеетесь.

Класс хохочет, пока выведенный из терпения профессор не вывел Миротворского из класса.

Иногда весь класс сговорится и, когда зайдет профессор, сотней голосов грянет:

— С ангелом!

— А я не именинник сегодня, а нет...— жмется профессор около доски, пока крики не стихнут совсем.

— С новым годом!

— А какой новый год теперь?..

В семье не без урода, говорит русская пословица. Таким уродом был профессор алгебры в семье семинарских профессоров. Эта уродливость профессора доходила до замечательных границ, но по каким-то причинам он продолжал существовать в семинарии не первый десяток лет. Своими подвигами профессор прославился на всю губернию, и стоило только завести речь где-нибудь о нем, сейчас отыскивались знавшие его.

— Да это тот, что с бумажки списывает на доску?

— Да, тот.

— У которого есть баран?

— Да.

Бараном называли небольшую рыженькую лошадку самого печального вида, на которой священник математических наук имел обыкновение ездить в класс и по городу. Профессор был довольно толст, и баран не мог поднимать его в гору, поэтому профессор перед каждой горой выходил из экипажа и пешком поднимался в гору. Этот баран был постоянным предметом насмешек для всей семинарии, но профессор продолжал ездить на нем и держал его, руководствуясь, вероятно, теми же смутными рассуждениями, которыми руководилось семинарское начальство,

державшее на такой важной кафедре такого профессора, каким был священник математических наук.

В своей домашней семейной жизни профессор оставался таким же чудаком. Про него ходили самые многочисленные рассказы в этом отношении: так, например, говорили, будто его жена отказывает ему часто в исполнении самых необходимых супружеских обязанностей и т. п. Дома профессор большую часть времени проводил за длинным чубуком, пуская кругом себя облака дыму. У него была дочь Сашенька, про которую он говорил:

— А Сашенька, а одна моя отрада.

Семинаристы ходили к профессору, и он принимал их всегда хорошо. К нему обыкновенно приходили математики за разрешением каких-нибудь трудных вопросов, решая которые, профессор не забывал угощать приходивших водкой и винами. Так, Поспелов, например, успел уже побывать у него не раз, пользуясь первым для последнего.

— Прихожу это к нему,— рассказывал Поспелов,— выходит он в халате и с трубкой: «А заходите, заходите». Я ему: «Так и так, мол, вот не знаете ли вы, как это сделать».— «А сейчас, сейчас, садитесь». А сам убежал в другую комнату, я сел и жду, что дальше будет. Минут через пять является ко мне в подряснике, как следует: «А не хотите ли, Поспелов, со мной чаю напиться?» — «Да я, говорю, пил уже, а впрочем, ничего». Подают мне один стакан, выпил, другой выпил, третий — тоже. Профессор смотрел-смотрел: «А вы, говорит, Поспелов, а пили чай...»— Потом выставил графинчик. Сашенька закуску приготовила. Ну, мы с ним поговорили, выпили по малости, закусили. «А заходите еще, говорит, когда время будет».— «Ладно, мол, зайдем, когда выпить захочется».

Инспектор семинарии Николай Иванович Игнисов был магистр, кажется, Казанской духовной академии. До посвящения в священники он был профессором словесности в этой же семинарии, еще и нам он преподавал несколько недель по случаю болезни настоящего профессора. В семинарию Игнисов приехал молодым, только что выпущенным профессором и потому либеральным до того, что семинаристы удивлялись, хотя они видели виды и в этом роде. Он за панибрата якшался с семинаристами, ходил к ним и они к нему. На этих сходках молодой профессор много и о многом толковал со своими друзьями. Особен-

но хорошо он относился к тем личностям, которые выдавались среди других. Это было сейчас после грозы, но в семинарии остались еще две-три головы, на которых можно было с удовольствием остановиться. Эти головы не чуждались профессора, и его слова не проходили даром, так что сочинения листов в тридцать — в пятьдесят не считались редкостью особенной. Игнисов покровительствовал своим друзьям и помогал по мере сил своих.

Игнисов был развитой человек, хотя глубиной мысли и чувства не отличался особенно, но власть, попавшая в его руки, довольно странным образом подействовала на его характер. Какая-то забавная гордость наполнила все существо Игнисова, он картавил, отбрасывал особенным образом голову на ходу, оттягивал губы, поводил очками самым величественным образом,— словом, петушился и раздувал перья до смешного. И все это для того, чтобы задать шику, пустить пыли в глаза, испугать, застращать. И это делал человек совсем не глупый и не подлый: новое положение немного как будто сбило его с толку.

Учившись в академии, Игнисов слыл первым чтецом, это искусство унес он и в семинарию с собой, где своей декламацией задал такой пыли семинаристам, что в том классе, где он преподавал словесность и читал разные отрывки, к дверям приходили любители и в замочную скважину наслаждались его чтением.

Словесность Игнисов преподавал мастерски, не расплываясь, не туманя слушателей громом фраз и периодов.

— Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки,— говорил нам Игнисов, покачивая с самой иезуитской улыбкой своей головой.

Сострить или сделать что-нибудь оригинальным образом — было дело Игнисова. Так он задал нам на первый раз сочинение: «Идеал грязи».

Своими остротами и всевозможными выходками он наводил невольный страх на новичков, хотя для первого раза и дали ему отпор.

В первый класс своего преподавания Игнисов раскритиковал для первого раза наши фамилии. Одного не оказалось в наличности.

— Где?— обвел очками всех.

Никто не отвечал.

— В воздушном пространстве?

— Да.

Перебирая список, он дошел до знакомой фамилии.

— И еще Кольников?

Кольников замялся, кровь прилилась к лицу.

— Это последний брат?

— Последний.

— А много ли всех?

— Шесть, я седьмой.

— То-то я помню бесчисленное множество Кольниковых. Ничего, порядочная семейка; садитесь, пожалуйста.

После переклички Игнисов прочитал свою лекцию нам. Мы, как настоящие дикари, развеся уши, слушали его простую, толковую речь. Нам казалось удивительным, что люди могут говорить в классе таким простым языком.

— Ну-с, повторите,— обратился он к бывшему Вараве. Варава поднялся, но повторять ему было не суждено, потому что он не ожидал, что его спросят.

— Ну-с, осчастливьте вашим ответом?

— Изящное...

— Вы видали когда-нибудь изящное?

— Нет.

— И вам никто не рассказывал?

— Нет.

— Как вы думаете, что же это такое: зверь какой, что ли?

— Нет.

— Что же такое?

— Изящное...

— Ну, изящное...

— Изящное...

— Изящное, изящное...

— Изящное...

— Ну, словом, изящное и есть то самое, которое вы не знаете.

Варава потупился.

— Впрочем, продолжайте.

Варава начал продолжать. Игнисов отвернулся лицом к окну. Кто-то подсунул Вараве учебник, и он начал по писанному, как по сказанному. Страничку прочитал Варава, половину другой и остановился, потому что Игнисов все молчал.

— Что остановились? Читайте, читайте,— улыбался Игнисов своей змеиной улыбкой.

Варава даже посинел от стыда.

Был еще довольно оригинальный профессор, которого все называли Тессарой или Тессаракандой, что по-гречески значило сорок. Кто и почему дал профессору такое название, история умалчивает, но профессор существовал, существовало и прозвище. Тессара по наружности походил на тех чиновников, которые сначала желтеют над бумагами, потом зеленеют и, наконец, принимают какой-то желто-зеленый цвет лица. По характеру Тессара был воплощенной флегмой, говорил в нос, едва поворачивая языком и еще реже поворачивая головой. Говорили, что в семейной жизни и вообще в сношениях с людьми — это прекрасный человек. Те же семинаристы, которым приходилось иметь с ним дела, хвалили его. А за то в классе, на уроке, не было скучнее его особы. Одно то, как он зайдет в класс, производило неловкое впечатление. Притом профессор имел скверное обыкновение вызывать к столу, тогда как все другие спрашивали за партой, что не в пример было удобнее. Профессор никогда не вставал со своего кресла, случаи такого вставания были крайне редки, а вызывались обыкновенно какими-нибудь особенными обстоятельствами или необходимостью усмирить кого-нибудь, или когда члены профессора окончательно немели от неподвижного сидения. Свою апатию он нагонял и на весь класс, так что с его приходом всеми овладевала невыразимая тоска, но профессор продолжал свое дело, то есть из минуты в минуту продолжал тянуть из нас душу.

— Колосов, — прогнусит он, нагнувшись низко над тетрадками. — Переведите мне, что следует дальше.

Колосов перебирает то одну строчку, то другую: он не слушал, на чем окончил его предшественник. Тессара, как аллигатор, смотрит своими бесстрастными зеленоватыми глазами.

— Вы не слушали?

— Нет, я слушал.

— Так что же не читаете?

— У меня другого издания текст.

— Возьмите того, по которому вы слушали.

— Я по списанному.

— Ну, возьмите тетрадку.

Колосов идет за парты, кто-нибудь дает ему свою тетрадку и, между прочим, показывает, откуда нужно начинать.

— Не так, — слышится опять невообразимо сухой и какой-то деревянный голос профессора. Колосов поправляется.

— Не так, — невозмутимо гнусит профессор. — Вторая поправка.

— Не так.

Колосов встает в тупик, потому что переводил на все возможные способы и дальше пикнуть не знает.

— Не так, — невозмутимо смотрит на него профессор. Еще отчаянная попытка со стороны Колосова.

— Не так. — Колосов переминается, он, видимо, посылает все и всех к семи чертям.

— Вы не знаете.

— Знаю.

— Худо! — и профессор начинает ставить единицу в свою нотату.

У Тессары было обыкновение доводить некоторых из своих слушателей до того, что они, наконец, выучивали спряжения, склонения и греческие слова, которые считали своей обязанностью позабыть с переходом в семинарию. Таких результатов профессор достигал обыкновенно невообразимым постоянством спрашивания и наказывания.

— Я вас буду спрашивать каждый класс, — скажет он кому-нибудь, и скорее небо перевернется, чем он не вызовет к своему столу. А то:

— Пока не выучите спряжений, стойте на ногах за партами.

Были охотники стоять за партами по целым неделям, но каждый класс греческого языка продолжался час, а классов было в неделю пять, то такое стояние самых терпеливых выводило из себя, и греческие спряжения со скрежетом зубовным заучивались-таки.

— Хорошо,— улыбался профессор, принимая плоды самых героических усилий воли и мысли.

За обманы тоже очень сильно доставалось от профессора. Так, однажды кто-то сказал ему после какого-то отпуска, что не знает урока.

— Это почему?

— Вчера приехал.

Профессор удовлетворился этим ответом и ничего не поставил в нотату, но от инспектора он узнал каким-то образом, что его провели. Не говоря ни слова, он изо

дня в день постоянно спрашивал недавно приехавшего. Когда он вызывал, то по классу разносился глухой шепот:

— Вчера приехал! Вчера приехал!

— Что такое? — подняв очки, поводил носом профессор.

— Вчера приехал.

— Слышите, что говорят, будто вы вчера приехали,— и губы профессора складывались в такую улыбку, точно его сейчас повысили.

Тессара был помощником инспектора и приезжал иногда на квартиры, где наблюдал за порядком. Если находил табак, то иногда брал его с собой и отдавал своему кучеру. Если нападал на следы пьянства, то доносил высшему начальству только в крайнем случае, обыкновенно смотрел на такие вещи довольно снисходительно, так что пропускал многое сквозь пальцы. За это свойство Тессару семинаристы уважали, хотя за классные свойства его души не особенно; но ко всему на свете можно говорят, привыкнуть, так и к классам греческого языка, как они ни были тошнотворны, помаленьку как будто привыкли все.

6 глава

Жизнь в нашей квартире текла своим чередом. Утром вставали в семь часов, в классе сидели до двух, обедали в три, после обеда каждый брался за свое дело. Я и Иван что-нибудь читали, потому что у нас был билет из Публичной библиотеки, или спорили от нечего делать. Миша немилосердно стучал в своей комнате молотом или передвигал станки; Сенька вел диспуты с Лукой или же отправлялся по старой памяти в огород ловить птичек, как во время оно с Захаром.

Тонкой пеленой лежал выпавший снег, деревья стояли совершенно обнаженные, каким-то унынием веяло от каждого уголка. Сенька брал западню, закутывался в свою шубу и отправлялся в огород. Я никогда не ловил птиц, а потому иногда сопутствовал Сеньке в его занятиях. Придет Сенька в огород, насторожит западню, раскинет тайник, а сам заберется в конюшню и ждет целые

часы, поглядывая, как порхают с ветки на ветку какие-нибудь кузнечики, как мягкими хлопьями валится снег на землю, как скачет в западне на жердочке копеечная чечетка или чечень, посаженные для приманки. Нужно было посмотреть на Сеньку в эти минуты: он весь превращался во внимание, боялся дохнуть, мигнуть глазом, особенно, когда какая-нибудь невинная птичка подлетала к западне. Я в одно время вступил было в компанию с Сенькой для ловли птиц, но у меня не было терпения, и Сенька разбранился со мной после первой же неудачи, и я поневоле должен был оставить эти занятия.

Читая книги и рассуждая о некоторых предметах, мы однажды чуть было не подрались с Иваном, то есть он чуть не побил меня. Дело было, кажется, по поводу «Самодеятельности» Смайльса, которой Иван восхищался, а я опровергал.

— Смайльс прав, — горячился Иван, — мы русские ленивы до последней степени, оттого у нас ничего хорошего нет. Всего-навсего самовар да лапти в тысячу лет изобрели.

— Да ведь, Иван, дело тут зависит от условий, в которые поставлены англичане и мы, русские,— говорил я.— Поставь-ка англичан-то на наше место, может быть, и самовара с лаптями не изобрели...

— Не условия делают человека, а человек условия...

— Это еще нужно доказать, Иван.

— Смайльс доказывает.

— Мало ли что он доказывает: не всякому слуху верь. По его словам, нашему брату и жить на свете нельзя, а проживем да еще, может, не хуже его.

— Ну, это на воде вилами писано...

— Мы люди простые, куда нам за англичанами гоняться, дай бог по-русски-то прожить хорошенько.

— То есть прожить дармоедом, ничего не делая...

— Ну, нас-то с тобой даром кормить не будут, Иван.

— Как не будут: поступлю в попы, вот тебе и делу конец: буду лежать на боку целый век, и ничего со мной не поделаешь.

— В попы-то, положим, ты не пойдешь, а полежать в халате тоже не упустишь случая. А без дела все-таки сидеть нельзя будет: под лежачий камень и вода не течет. Значит, Смайльс твой врет.

— Ты врешь, а не Смайльс.

— А ты Смайльсу помогаешь: тоненьким голоском:— это точно-с, бывает...

— Врешь ты все.

— Потому — нельзя, некоторым образом в книге напечатано, так сказать... некоторое начальство, с одной стороны...

— Поумнее тебя во всяком случае, — ядовито замечает Иван.

— И немудрено, когда есть на свете добрые люди, которые каждой печатной строке в ноги кланяются... — отвечаю я, тоже стараясь быть ядовитым.

— Дурак ты, братец, — чистосердечно признается Иван.

— ...которые на задних лапках ходят пред каждой книжонкой.

— Уж ты бы молчал лучше...

— Зачем молчать, когда язык есть.

— А я бы советовал тебе держать язык за зубами...— не переменил Иван свой тон, весь бледнея.

Не помню хорошенько, как кончилось дело, но помню, что кончилось оно горячо, так что Иван едва не прибил меня. Ввиду такого печального исхода нашего спора, ввиду того, что глупости должны иметь известные пределы, мы с Иваном постановили на вечные времена, чтобы никогда не спорить дальше известных границ, где кончается разум и являются страсти. Это решение было соблюдено нами в течение всей семинарской жизни, и мы ни разу более не выходили из себя.

С наступлением зимы в нашей квартире сделалось очень холодно, так что мы были принуждены сидеть в шубах. Для приобретения внутренней теплоты мы обращались к Катеньке.

Наши посещения Катеньки учащались сообразно увеличению холода. Наша жизнь имела много сходства с жизнью какой-нибудь полярной экспедиции, особенно вечером: на столе слабым светом горит небольшая лампа, мы вокруг стола все в шубах, по комнате разбросаны везде груды книг, за перегородкой слышится постоянный стук Миши, Иван возится с цифрами, Сенька читает какую-нибудь книгу Гоголя или Григоровича, которых он возлюбил всей душой и делает из них громадные выписки.

Время приближалось к святкам. Дни были коротки, классы начинались при огне, кончались тоже чуть не при огне. Перед рождеством были назначены репетиции, которые заставляли иногда новичков подумать о своей судьбе, но большинство относилось к репетициям равнодушно, как и к всему на свете. Новички принатерлись около семинаристов и начали втягиваться в их жизнь. Явилось пьянство, охватившее почти всех. Пили один на один, пили по двое, пили по трое, пили компаниями человек в десять-пятнадцать. Начальство смотрело изо всех сил, но, как обыкновенно бывает в этих случаях, ничего не могло заметить, нападая вместо виноватого на правого. И на нашей квартире открылось такое повальное пьянство, от которого выходил сух только один Мишенька, не бравший вина в рот. Кроме Катеньки, выступила на сцену одна из участниц семинарского пьянства, общеизвестная барыня, державшая кабачок по семинарской улице. Эта барыня получила известность, во-первых, тем, что открывала широкий кредит своим знакомым, во-вторых, тем, что ее кабачок устроен был особенно замысловатым образом, как нельзя более удобным для семинаристов. Дело в том, что рядом с кабачком, в соседней комнате, находилась мелочная лавочка, так что, заходя в нее, можно было получать то же самое, как и в кабачке. Последнее обстоятельство представляло то удобство, что начальство следило недремлющим оком, чтобы семинаристы отнюдь не посещали кабачков. Заходя в мелочную лавочку, никто, конечно, не мог навлекать на себя никаких подозрений, а это было очень выгодно, тем более, что кабачок барыни находился недалеко от семинарии, так что, идя в семинарию и из нее, можно было без всяких стеснений среди белого дня заходить под видом благочестия в мелочную лавочку. Вообще барыня была большой находкой для семинаристов, которая, кроме всего описанного, пускала в широких размерах заклады, так что летом к ней тащили зимнее платье, зимой — летнее. Барыня была изобретением нашего времени, тогда как наши предшественники, Мишели, Михельсоны, Тимофеичи и т. п., поклонялись всецело не менее известному Ивану Никитичу, державшему кабачок в двух шагах от семинарии.

Осенью хотя мы и попивали, но не в таких размерах, как перед рождеством. В одно прекрасное время после

обеда мы вдруг по какому-то единодушному соглашению решились справить чьи-то давно прошедшие именины, потому что когда-то бывший именинник получил порядочную сумму. Отправились к барыне, откуда и были принесены бутылки с жидкостями разного цвета. По какому-то странному совпадению были принесены грецкие орехи.

— Целая батарея!..— улыбался Иван, расставляя бутылки по столу.

— Вот приедет Тессара, задаст она вам... — смеялся Миша над нашим замыслом.

— Ничего не задаст, Мишенька, будем хитры, как змеи, и чисты, как голуби.

— Увидим, братцы.

На именины, как водится, собрались друзья и приятели, и загорелся пир. Сначала пили наливку, потом перешли к простому, далее следовал кабацкий ром, самая злейшая и вонючая одуряющая жидкость, ничего общего не имеющая с тем, что продается под именем рома в погребках и что под этим именем привыкли понимать все порядочные люди.

— Это, братцы, гром... Стукни-ка! — говорил Сенька, поднося Ивану рюмку рому.

— Боюсь... — недоверчиво посматривал Иван на поднесенную рюмку.

— Да ну тебя, не будь хуже бабы... Понимаешь.

Иван выпил.

— А вот этим закуси. — Сенька поднес Ивану рюмку наливки.

Иван выпил.

— Вот друга я люблю, зато уж чванных не терплю,— заплетавшимся языком выговаривал Сенька.

Я по каким-то неизвестным причинам люблю смотреть, как пьют и наблюдать далее, как вино постепенно действует на человека и, наконец, лишает его разума. Вот Иван выпил и закусил, и жутко ему с непривычки, в голове тяжело, на желудке черт знает, что делается. Жажда не жажда является, а пить хочется: посидел Иван еще минут десять и потянулся за второй рюмкой.

Выпьем, что ли, Ваня.
С холоду да с горя,
Говорят, что пьяным
По колено море..

пел Сенька, покачиваясь из стороны в сторону. Он начал пить недавно, всего несколько месяцев назад, но он не любил останавливаться на полдороге.

— Пьяница ты эдакая...— тряс его потихоньку Миша, улыбаясь своей вечно добродушной улыбкой.

— Ничего, Миша, смалкивай... Нас тоже не скоро оплетешь...

— Что говорить!

— Ты не смотри на меня, что я пьян... Это только сегодня, потому нельзя — именинник...

— Ладно, вижу, что хорош.

— Ты не подумай, Миша, Сенька-то ведь себе на уме.

— Знаю, знаю.

— Его ведь на кривой-то кобыле не скоро объедешь... Д-да!

— Не объедешь.

— Потому не лыком шиты.

— Не лыком.

— Да ты не смейся, чтоб тебе пусто было.

— Зачем смеяться: по Сеньке и шапка. Иди, вон приятель сидит, ишь, как назюзюкался, нос-то, как вишня...— И Миша, подвел Сеньку к Луке, сидевшему на сундуке и легонько покачивавшемуся из стороны в сторону. Лука, немного подпивши имел обыкновение каким-то хитро-простодушным образом улыбаться в свою чалую бороду, точно он этим хотел сказать, что меня-де не проведешь.

— Где приятель?

— Вон, вон, что рыбу-то по сухому берегу ловит...— смеялся Миша, указывая на Луку.

— А... это тараканья-то сила, что три года у моря сидела да погоды ждала.

— Кутьехлеб!..— улыбался Лука, протягивая свои объятия к Сеньке.

— Комаров-то, Еруслан, нет здесь, силы мои не с кем тебе померять...— подзадоривал Сенька.

— Иди-ка, я тебе поразомну косточки...

— Изволь... О дружба, это ты...— охватывал Сенька здоровенную шею Луки, стараясь стянуть его с ящика.

— А докажи ты мне, почему дважды два четыре, а не пять, и единожды один — один, а не два. Докажи! — брал Иван на абордаж кого-то из математиков.

— Ээ, Пал Петрович, пирог-то поспел...— гнул Лука Сеньку калачом.— Доволен ли, сердешный...

Иван совсем опьянел, брови сдвинулись, лицо смертельно-бледно. Поспелов еще предлагал пропустить одну. Иван не согласился, а Поспелов выпивал, на него вино почему-то не действовало, кроме разве того, что он с каждой минутой краснел все более и более.

— Вот ты, Иван, пьян...— говорил сам с собой Иван, закрыв глаза.

— То есть маленько выпил...— вставляет Поспелов, закусывая жареной картофелью.

— Напился ты, Иван, как сукин сын, как сапожник,— продолжал Иван корить себя.

— Совсем не как сапожник...— улыбался Поспелов, подсаживаясь к Ивану побеседовать.

— Ну и доволен, значит... доволен...

— Известно, доволен, потому пити — веселие Руси.

— Не может без того быти...

— Знаешь, Иван: и пити вмерти, и не пити вмерти, так уж лучше и пити, и вмерти...

— Как сапожник нарезался, а! каково? — удивлялся Иван.— Как стелька, до положения риз, а сознание не потерял, все чувствую и понимаю, только в лучшем виде, да! Просветлел, значит.

Я тоже не отставал от других и пил кабацкий ром, который нестерпимо жег мои внутренности. В голове шумело, я подошел к зеркалу и посмотрел. Глаза навыкате, веки покраснели, лицо припухло, глаза блестят лихорадочным светом,— да я пьян, не хуже Ивана, но еще в полном сознании.

— Иван,— подсаживаюсь я к Ивану,— вот мы с тобой, значит, на линию попали, еле можаху...

Иван только рукой махнул.

— Утешься, Иван, англичане пьют горше нашего, только никому не сказывают. Наверно, твой Смайльс не упускал случая хватить на душу.

— Уйди ты от меня со Смайльсом...

Чем ближе подвигалось время к святкам, тем больше пьянство охватывало нас, принимая какой-то бесшабашный характер. Пили утром, пили вечером, пили день, пили ночь. Словом, все шло в каком-то чаду. Только однажды, на другой день именин, мы чуть было не попали в руки начальству, которое не преминуло бы исключить

нас за такой подвиг. Классов не было, мы встали с больными головами и не знали, куда деваться. Напившись чаю, мы болтали о чем-то между собой, сидя в небольшой комнате, смежной с комнатой Миши. Вдруг отворяется дверь, и нашим глазам представляется мешковатая фигура Тессары, заключенная в широкополую енотовую шубу.

— Что, господа, поделываете? — сонливо окинул нас глазами вошедший.

— Отдыхаем,— отвечал Иван, который всегда вел переговоры со всяким начальством, обладая особым талантом на этот случай.

— Отчего отдыхаете?

— Классы кончились.

— А... — протянул профессор, протирая очки, — а это что...— внезапно ткнул он на пустую бутылку, стоявшую на окне, как живое доказательство нашей недавней деятельности.

Мы переглянулись, физиономии вытянулись. Тессара испытующим оком рассматривал несчастную бутылку, переворачивая ее перед светом, точно сроду в первый раз увидел бутылку.

— В ней было вино...— деревянным голосом заключил он, наводя на нас свои очки, за которыми виднелись не то желтые, не то зеленые небольшие глазки, окруженные желто-зеленой кожей, сложившейся в морщины, ни дать, ни взять — аспид.

— Это...— запнулся Иван,— это вчера у хозяев были гости.

— В вашей комнате?

— Да, в нашей, они просили б этом.

— Наверно, были гости в большой комнате, как же попала бутылка сюда-то?

— Гости были в большой, а вино разливали здесь, потому что стол в большой комнате был занят.

— А...— улыбнулся кислой улыбкой профессор,— понимаю, понимаю... хорошо, только чтобы впредь этого не было.

— Мы больше не позволим хозяевам...— вставил Иван.

Тессара повернулся и хотел выйти, но его заинтересовал конверт с печатями, который держал в руках Сенька, не могший хорошенько очувствоваться.

— Позвольте полюбопытствовать...— прищурил глаза Тессара на конверт, который был отдан Сенькой беспрекословно.

— «Воспитаннику ...ской духовной семинарии, Николаю Бураеву»,—читал с расстановкой Тессара,— «со вложением пятидесяти рублей...» Гм... Это вы получили?

— Да, я.

— Вчера утром,— рассматривал Тессара почтовые знаки на конверте.

— Да, вчера.

— То-то ваши хозяева вздумали принимать гостей в ваших комнатах... Немудрено, только я вас, господа, еще раз предупреждаю, чтобы впредь ничего подобного не было.

Все молчали. Тессара вышел.

Мы с Иваном втянулись в пьянство, так что вино начало терять над нами свою прежнюю силу, и только один кабацкий ром валил с ног беспрекословно. Случалось, что мы выпивали по целой бутылке какой-нибудь наливки, а результатов никаких.

— Как сапожники...— размышлял Иван.

— Как англичане...— подсказывал я, на что Иван плевался каждый раз.

Семинаристов отпустили на Рождество, с нашей квартиры никто не поехал никуда, и мы только поздравляли отправлявшихся на родину проводить праздник. Получив отпуск, семинаристы кутили напропалую, начальство смотрело на это пьянство спустя рукава, потому что в неучебное время. Такой, например, выходит случай: едет Тессара по семинарской улице, от барыни выходит семинарист зело подкутивший и с бутылкою в руке.

— Вы это что...— удивляется Тессара.

— Домой сейчас еду, Алексей Алексеич!..— показывает семинарист на бутылку.

— Так уж убирайтесь, пожалуйста, поскорее, подобру да поздорову.

— С-сию минуту, Алексей Алексеич!

Без меня меня крестили,
Я на мельнице был...—

приплясывал семинарист около кабачка, улыбаясь Тессаре, который, махнув рукой, отправился далее.

Без меня меня женили,
Я в лесу дрова рубил...—

пел семинарист, возвращаясь снова к барыне, где дым стоял коромыслом.

Мы оставались на праздник в городе, а потому закутили горше прежнего. К нам присоединились другие, также оставшиеся в городе на праздник, так что наша квартира сделалась средоточием пьянства.

Представляется мне, например, такая картина, в комнате полусвет, какие-то тени бродят по комнате, наталкиваясь друг на друга. Некоторые из теней сидят около стола, другие лежат на ящиках, на полу; в комнате накурено до того, что по семинарской поговорке, «хоть топор весь», какие-то одуряющие пары носятся в воздухе вместе с табачным дымом, углы промерзли, окна покрыты сплошным льдом, на полу сор и грязь. Мебель разбросана по комнате без всякого порядка, на полу книги, на единственном столе около лампы группа бутылок, пустых и наполненных, целых и сломанных, тут же рюмки, стаканы, латка с жареным картофелем, корка черного хлеба, на обрезке бумаги объедки колбасы. Из переднего угла на всю эту картину неприветным оком смотрит какой-то святитель, покрытый толстым слоем пыли.

— Эх, черт с ними со всеми...— машет рукой Сенька, усмехаясь иронически какому-то стулу.

— С кем это, Сенька?

— С ними...

— Да с кем, с ними?

— Чего?

— Вышибло из памяти-то, видно?

— Не понимаю...

— А мне,— ораторствует Иван,— на репетициях ректор по алгебре поставил нуль и приписал, что я «груб»... Я ему сказал, что не понимаю задачи, а он мне: ты, братец, грубишь... Выпьем разве для воображения.

— Выпьем,— лепечет Сенька.

Внизу, где жил Лука с семейством, поднимается шум, это пьяный Лука начинает показывать свою власть и для начала бьет свою жену, которая спасается от него к нам. Мы принимаем участие в этой распре, вяжем Луку, усмиряем его, поливаем водой, пока он не изнемогает совсем.

— Эх, Пал Петрович, пирог-та...— бормочет Лука, закатывая глаза.

— Эй ты, Аника-воин, тараканья сила, бабья война!..— кричит Сенька, садясь на брюхо Луке.

— М-м-м... — мычит Лука, стараясь развязать руки,— р-развяжите, кутьехлебы!..

— Лежи знай, курицын сын, тараканья плешь,— торжествует Сенька на брюхе у Луки, — говорил я тебе давеча, чалая твоя борода, што не тягаться тебе со мной на счет выпивки-то: тебе нюхать водку-то и то с ног будешь валиться, а вздумал пить еще, да за мной тянуться... Куда тебе!

— А не р-ра-здражай... — глухо ворчит Лука, не имея сил поднять отяжелевшие веки.

— Эх, Лука, Лука, напился ты, как сукин сын... — увещевал Сенька Луку,— как тебе не стыдно.

В комнату входят новые гости.

— У вас там за воротами человек пять в снегу замерзли...

Выбегаем за ворота, действительно лежат люди в снегу, точно не живые.

— Вставайте, бесовы дети!..

Перетащили в комнату, отогрели, привели в чувство, народ оказался все знакомый.

— Как это вас, господа, угораздило в снег-то забраться, замерзли бы совсем.

— Да шли, шли, значит, добрались до ворот, да и легли отдохнуть, а тут и заснули.

— Молодцы! Благодарите бога, что спасли вас от смерти.

— Вот бы погреться...

— Погреться? Это дело.

Началось отогревание, кончившееся тем, что все ожили.

Дым и смрад в комнате, гул голосов, обрывки песен, несвязное бормотание пьяных повисло в воздухе. Каким-то разбойничьим притоном выглядывала наша квартира.

— Неловко мне, — говорит Добродеев, ухватываясь за косяк двери.

— Что такое?

— Горит все...— показывал Добродеев на грудь.

— Воды хочешь?

— Воды... поскорее воды... со льдом... холодной воды...

Принесли громадный железный ковш, полный воды

со снегом. Databaseеев с жадностью ел снег, запивая ледяной водой.

— Хорошо?

— Дайте еще снегу...

— А воды?

— Еще ковш.

Два ковша воды со снегом, заключавших по крайней мере бутылки четыре, не смогли утолить внутреннего жара, и Databaseеев выскочил на улицу в одном сюртуке, лег прямо спиной на снег, расстегнул рубашку и обложил всю грудь снегом. И это при 25° мороза.

— Простудишься!

— Ничего, не простужусь, не в первый раз...

Полежав минут с пятнадцать в снегу, Databaseеев возвратился обратно в комнату и выпил две рюмки водки для согревания.

Пели песни, плясали, кричали, спорили... Кто-то предложил отправиться в семинарию, предложение было принято. Но вопрос заключался в том, как оставить Сеньку дома, потому что он лыка не вязал окончательно.

— Вы, братцы, куда это?..— допытывался Сенька, поглядывая на наши сборы.

— Идем... недалеко тут, по одному делу.

— Возьмите меня!

— Нет, тебя нельзя, сиди дома с Мишей.

— Братцы, возьмите меня!..— молил Сенька слезным голосом.

— Куда тебя, сиди дома.

Для того, чтобы Сенька не погнался за нами, мы спрятали его сапоги, так что ему поневоле пришлось остаться дома.

Ночь была светлая, морозная. Помню, как шли мы вдоль по семинарской улице, по направлению к семинарии: тысячью тысяч глаз смотрело небо на землю, лучи месяца застыли в морозном воздухе, ослепительными огнями горел снег на дороге. Везде в окнах был свет, везде добрые люди готовились по-христиански встретить праздник. А мы, шатаясь, брели по дороге, которая мешалась в наших глазах. Помню, как небо качалось и дрожало надо мною, как прыгали в воздухе лучи месяца, как трепетали на земле тени от домов... Да, это я был пьян, это мне так казалось, а в действительности было все так тихо, просто и торжественно, как и все в городе.

— Смотри, господа, ухо востро, а то как бы не попасть на глаза начальству...— предупреждали мы благоразумно друг друга, рассуждая, что товарищи и порядочных людей подчас могут довольно сильно напиваться.

Вот и семинария заблестела перед нашими глазами своими освещенными окнами, которые в наших глазах как будто потеряли немного прежнюю симметрию.

— Пожалуйста, господа, осторожнее,— еще раз предупреждали мы друг друга, входя на парадное крыльцо.

Нас было человек восемь, и все были навеселе порядочно, так что швейцар, стоявший у дверей, несколько подозрительно посмотрел на нашу нетвердую походку. Помню, как мы поднимались в третий этаж, как я держался за перила лестницы, чтобы не упасть, как падали и вставали мои друзья.

— Настоящая пирамида эта проклятая лестница...— плевался Иван, изнемогая под тяжестью собственного тела.

Не помню хорошенько, как мы очутились в номере у Тимофеича, где нашу пьяную кавалькаду со всех сторон окружили семинаристы.

— Начальство шатается по номерам,— предупреждал нас Тимофеич,— смотрите — ухо востро.

— Знаем сами,— улыбались мы.

Через несколько минут благоприятные известия с поля битвы несколько успокоили взволнованное состояние душ пятого номера, и Тимофеич снял со стены свою скрипицу.

— Тимофеич,— докладывал Иван,— вон Смайльс пишет, что для того, чтобы научиться порядочно... заметь, только порядочно, играть на скрипке, необходимо для этого в течение двадцати лет употреблять по шести часов ежедневно.

— Это, может в Англии, а у нас за неимением гербовой пишут на простой...— смеялся Тимофеич, настраивая свой инструмент.

— Русскую, Тимофеич!

— Чувствую, братцы.

— С перехватом, слышишь.

— Не ударим лицом в грязь.

Грянула музыка, полились звуки, какая-то бесшабашная удаль охватила каждого под наплывом этих звуков. Началась пляска. Даже Иван не стерпел и начал изображать русскую, что случалось с ним довольно редко.

— Иван, Смайльс двадцать один год учился плясать-то...— острил кто-то над Иваном.

— Homo sum, hihil humanum mihi alienum est,— выкалывал Иван какое-то коленце.

— Пал Петрович, пирог-то поспел..— кричит Сенька, отворяя двери в пятый номер.— Они, сукины дети, ушли от меня и сапоги спрятали...— ухмылялся Сенька,— а я взял да пимы надел... Ничего не поделаешь... Я им говорю: братцы, возьмите меня с собой, а они мне: куда тебя, дурака, сиди дома... Во как!

Сенька сильно шатался, мы удивлялись, как он дошел до семинарии и поднялся в третий этаж.

— А н-ну, поворотись-ка, сынку...— И Сенька принялся отхватывать русскую, которую плясал мастерски.

Сенька плясал в больших пимах и в шубе, что было тяжело и не пьяному человеку.

— Эх ты, рассукин сын, комаринский мужик...— тяжело приседал Сенька после двух-трех концов русской в квадрате.

Долго продолжалось веселье, я прилег на койку Тимофеича и смотрел кругом осоловевшими глазами.

— Что, Коля, и ты от древа познания добра и зла...— говорил Тимофеич, похлопывая меня по плечу: Я в ответ только махнул рукой.

Не помню, как все разошлись из комнаты, но, проснувшись, я долго не мог сообразить, где я нахожусь. Перед моей койкой стоял круглый стол, около которого сидело несколько семинаристов, между прочим, на моей койке сидел Тимофеич, играя в карты с Ляпустиным, который когда-то во время оно хотел закалить мой ножик и из-за которого мне тогда сильно досталось. Я всегда любовался Тимофеичем, его открытым прямодушным лицом, манерой говорить, держать себя. Но, играя в карты, он воодушевлялся особенно сильно, так что просто хотелось его нарисовать.

— Ходи, ходи...— змеем шипел Тимофеич, язвительно подсмеиваясь над своим партнером.

— Сходил...— раздумывал Ляпустин над своими картами.

— Посмотри, Коля,— обращался Тимофеич ко мне,— как я его, долгополого, посажу на печку... Ха-ха-ха!

— Пиши заблаговременно, Тимофеич, письмо к родителям, чем балясы-то точить понапрасну.— Ляпустин за

словами не лез в карман и всегда отличался особенным добродушным юмором чисто русского пошиба, то есть какого-то крайне безобидного, но подсмеивающегося над всеми.

— Ходи, ходи...— не спускал глаз с противника Тимофеич, застыв в одной позе, точно он делал стойку,— вот мы тебе напишем, ходи-ка. Ты только попробуй нос показать, мы ее сейчас по усам.

— Куда тебе, Тимофеич, рылом не вышел.

Тимофеич умел так держать своего партнера, что в проигрыше и выигрыше, с хорошими и худыми картами, последний находился всегда в осадном, несколько стесненном положении, а Тимофеич играл роль осаждающей стороны, не разбирая карт и заливаясь хохотом.

— Ты только нос покажи...— угрожал Тимофеич, замахиваясь картой.

— И покажу...

— И покажи...

— А этого хочешь...

— А этого...

— Смажу я тебе салазки-то, Тимофеич.

— Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с...

— Сделай лошадь, подкуй малость...

— Тимофеич! Зачем же ты исправника-то запускаешь...— закрывал Ляпустин свои карты от Тимофеича.

— Есть у него валет пик или нет...— приставив палец к своему носу, раздумывал в свою очередь Тимофеич.

— Конечно, есть.

— Ну, была не была, двух смертей не будет...

— Погубил ты, Тимофеич, свою голову по-напрасному...— смеялся Ляпустин, покрывая десятку пик валетом.

— Эх, ешь тебя мухи с комарами,...— крутил Тимофеич своей головой.

— Ты, Тимофеич, мотай себе на ус, дело-то это разжевать тебе придется.

— Та-та-та!..— защелкал языком Тимофеич,— теперь-то ты попал мне в руки, голубчик: этих-с...— Тимофеич ударил по столу бубновым королем.

— Это мы примем.

— Давно бы так, а то я не я, нет лучше меня. Вспоминай, как мыши кота хоронили.

— Как слово сказал, так и сказал.

— Мы скажем... вот с этого боку пощупаем тебя... Ага!

— Да ведь и мы не лыком шиты...

— А мы простоваты с правого уха.

— Сие не подлежит сомнению,— сказал апостол Павел.

— Не заглядывай — тосковать будешь.

— Как-нибудь благодаря солдату.

— Э-э!.. Малина-голова, куда это подбирается.

— На ваш счет хочем проехать.

— Ну, это еще в трубе углем писано.

— А это писано на стене мелом.

— А это на воде вилами.

— А это по усам.

— А это по шапке.

— А это по мордасам.

— А это, что так жадно глядишь ты на карты.

— Отрекаешься ли ты от сатаны и всех действий его.

— Ага!.. Поздравляю, милостивейший государь!..— брал Тимофеич последнюю взятку.

— Ну, черт с тобой.

— Что, милый, набрил загривок-то я тебе здорово.

— Да я так играл, шутя.

— То-то, мы все по форме любим...— смеялся Тимофеич, сдавая карты,— мы откровенно по-русски, прямо по рылу...

Дни перемешались между собой, пьянствовали с утра до ночи. Физиономии припухли, головы трещали, глаза были налиты кровью.

— Эх вы,— смеялся над ними Лука,— как мухи ползают иль как рыба окормленная. Шут вас задери, кутьехлебы. Пороть бы вас надо за эдакие дела, с солью пороть, как астраханских селедок. Вон наш брат, выпил полштофа — хорошо, выпил еще полштофа — весело, еще полштофа — тут как в царстве небесном. А эти, кутьехлебы проклятые, выпьют четвером крохотную рюмочку наливки и сейчас с ума сойдут. Чему это только вашего брата столько лет в семинарии-то учат.

— Лука ты Лука, чалая твоя борода, рассудил ты, ровно размазал, да толку-то мало. Знаешь, сколько я сегодня выпил, и ни в одном глазу, по одной половичке пройду.

— Знаем мы вашего брата, вам кутью хлебать, а не водку пить.

— Ты, Лука, пей, пока у тебя пуп не почернеет,— это будет по-нашему, а то выпьет на грош да жену изобьет на два рубля.

В каком-то тумане проходило все время, чисел не было, дни трудно было отличить от ночи. От пьянства или простуды у меня начала побаливать грудь. Тимофеич заходил к нам, качал головой, глядя на наше житье, и у него тоже шли праздники.

— Только вот,— самым серьезным образом расспрашивал он меня,— говорят, будто от пьянства рак в желудке делается.

— Да, говорят, делается.

— У меня всегда с похмелья бывает брюхо горячее, это не знаешь, от чего?

— Не знаю.

— Я уж думаю, Коля, не рак ли это...

— Может быть и рак...— смеялся я над опасениями Тимофеича.

— Брошу, Коля, я эту водку. Да и давно бы бросил, да вот проклятые вечеринки попутали совсем. В одно место зовут, в другое, увезут, привезут; на память денег дадут.

— А ты брось музыку-то.

— Да как ее оставишь: тут Федор, Ховря... Не хочешь да выпьешь, а там и пойдет писать губерния.

— Укрепись.

— Укрепитесь-ка сами сначала,— смеялся Тимофеич, поглядывая на нас.

Прошли святки, приехали семинаристы из родительских домов, начались поздравки с праздником, и пошло опять пьянство пуще прежнего. Миша перешел с нашей квартиры. Иван вместо переплетства взялся теперь за французский язык, для которого он пожертвовал даже своими цифрами. И научившись, Иван не оставлял французского языка, так что русского слова бывало едва добьешься от него. Пьянство на нашей квартире стояло невообразимое, денег у нас больше не было, принялись закладывать движимое имущество. С утра до ночи водка не сходила с нашего стола, одни гости приходили, другие уходили, а с гостями заодно и мы выпивали и закусывали. Дело кончилось тем, что Иван захворал и ушел в больницу, где ему всю грудь залепили пластырем. Я дол-

го не знал, куда мне деваться от этого пьянства, то есть на какую квартиру перейти. Из старых училищных знакомых никого не было, новые знакомства были шапочного характера. Между приходившими гостями были трое из нашего класса, они были более знакомы мне, потому что в классе сидели недалеко от меня. К ним я и решил перейти на квартиру.

7 глава

Крутояров, Рязанов и Глотов учились в училище в том же городе, где была семинария. Крутояров был высокий, черноволосый молодой человек, с высоким лбом, карими небольшими глазами, с длинной шеей. В первый же день нашего путешествия в семинарию он перед всем классом показал живость и юркость своего характера, хлопнув по плеши отца Варавы, который зашел в класс посмотреть на свое детище. За это Крутоярову чуть не досталось, но он как-то успел вывернуться. Самое замечательное у Крутоярова были губы и нос. Нос особенно не гармонировал с остальными частями лица и высматривал чем-то недоконченным матерью-природой. А под носом красовалась самая забавная часть в лице Крутоярова — это верхняя губа, длинная, как у англичанина. Когда Крутояров смеялся или особенно когда хотел удержаться от смеха, эта верхняя губа вытягивалась в высшей степени комично, так что без смеха трудно было смотреть на его вытянутую, как огурец, физиономию. Нрава Крутояров был веселого и минуты не мог посидеть спокойно на одном месте, потому что самая разнообразная деятельность постоянно призывала его. Учился он хорошо, хотя от страху сильно вытягивал свою губу каждый раз, когда его спрашивал кто-нибудь. Над профессором замковской церкви Крутояров выделывал штуки самого забавного свойства. Вообще в смуглом лице Крутоярова проглядывало непреодолимое стремление что-нибудь сделать, отмочить какую-нибудь штуку, подвести механику, подстроить подходец, подвести своего ближнего.

Совершенной противоположностью Крутоярова был Рязанов, как по наружности, так и по характеру. Это был один из тех характеров, который сам шутить не любит и с которым другие шутить избегают. Роста среднего, сутуловат немного, лицо постоянно бледное, точно больное.

Смотрел Рязанов постоянно исподлобья, точно он постоянно был сердит на всех. Глаза серые, с тем спокойным стальным блеском, с каким смотрят глаза людей с настойчивым, упрямым характером. Особенной общительностью Рязанов не обладал, но и не избегал людей.

Третий товарищ, Глотов, был первым учеником училища. Спокойное, сосредоточенное лицо, сдержанность и какая-то особенная солидность в каждом движении, в каждом слове как нельзя более шла к коренастой, плечистой фигуре Глотова. Несмотря на свои молодые годы, Глотов выглядывал большим человеком, сложившимся характером.

Я раньше всех познакомился с Рязановым, который сидел почти рядом со мной в классе. Знакомство началось с передачи какой-то книги, но дело происходило так, что точно мы уже были знакомы давно. Рязанов нравился мне своей фигурой, а также и тем, что не выглядывал мальчишкой.

Все трое они жили на квартире у одной чиновницы, Ворониной, занимая вчетвером в нижнем этаже маленькую комнату. Четвертым был брат Глотова, ученик уездного духовного училища. Комната была холодная, потому что низ был каменный; кровать была одна, остальные спали на полу. Я предпочел все эти неудобства квартире Новикова, потому что жить там далее оказалось окончательно невозможным. Это всеобщее пьянство опротивело мне до последней степени, так что я не мог равнодушно видеть пьяных. Распростившись с Лукой, я переехал к Ворониной.

Первое, что поразило меня на новой квартире, это та благочестивая обстановка всей жизни, которая царила в ней. Утром чай без хлеба, классы; после обеда небольшой отдых, вечерний чай и занятия часов до двенадцати ночи. Последнее обстоятельство меня особенно удивило, потому что дольше десяти часов я не привык сидеть по ночам. Глотов сидел до часу, до двух. Во все продолжение вечерних занятий царила общая тишина, так что в первые вечера я утомлялся с непривычки очень сильно, а лечь спать ранее других было стыдно.

Окунувшись в благочестивую жизнь, я с сожалением взглянул на прошлую жизнь у Новикова, чистосердечно раскаялся в своих прегрешениях и дал себе слово более не пьянствовать таким безобразным образом, а жить как прилично и должно порядочному человеку.

Наша хозяйка Воронина была вдовой, чиновницей, какими переполнен наш грешный мир. У нее был сын чиновник и дочь невеста. Однажды сын отправился вечером куда-то к приятелям, а утром его нашли мертвым у фонаря. Убийц разыскать не могли. Воронина жила крохотным пенсионом и отдавала семинаристам внаймы небольшую комнату. Сравнительно с другими семинарскими квартирами квартира Ворониной была довольно чистенькой и уютной.

В домашней жизни Крутояров был гораздо тише, чем в общественной, что зависело, по всей вероятности, от влияния степенных товарищей. Рязанов тоже не был таким степняком, каким казался в классе, только один Глотов не терял ни одной иоты из того, чем был в классе. В домашней жизни, несмотря на всю степенность, Глотова товарищи называли просто Васькой, вероятно, по старой памяти, потому что они были знакомы уже лет шесть, Крутояров и Рязанов не упускали случая пошутить над Глотовым, происходили иногда забавные сценки. Ближе всех я сошелся с Рязановым, хотя в характерах наших была громадная разница.

— Учились мы, братцы, в училище не по-твоему,— рассказывал мне иногда по вечерам Рязанов, поглядывая на меня исподлобья,— учились не два года, а целых шесть лет. Видали видов не мало. Помню, как отец вез меня, мальчугана, учиться. Всю дорогу я ревел. Пришлось на пути заехать к Крутоярову, отцы-то наши были знакомы, а мы еще нет. Только увидел я у Крутоярова отличные удочки, и стоят они на дворе, у меня был с собой нож, я взял да все крючки и обрезал. Украл, что будем делать.

— Да и я у тебя в долгу не остался, Рязанов, ты куда-то вышел, лошадь, у вас была сивая, я подкрался да чуть ей не полхвоста отпластнул. Волоса нужно было на удочки. Я хотел было весь хвост отрезать, да побоялся.

— Значит — квиты.

— Квиты.

— Привез это отец меня в город, привез в училище, вижу, дело плохо, только решил я про себя, что в училище не останусь ни за что, а пешком домой. Отец схитрил: «Ты, говорит, побудь в училище, а я съезжу на час по делам, а потом, говорит, заеду за тобой. Так и уехал, не простился со мной, уж я ревел-ревел после. Главное, бежать-то не знаю в которую сторону домой, а то бы не-

пременно убежал. Пообжился я маленько в училище, попривык, вдруг меня выбирают в архирейские певчие. Мал был, глуп, как таракан, пишу отцу, так и так, что делать. Архирейских держали на казенном содержании, отец с большого-то ума и прельстился им, переходи, говорит, пока берут. Так, в этих архирейских певчих я года три и состоял.

При воспоминании жизни в певческой Рязанов постоянно приходил в какое-то ожесточенное состояние.

— Тут в певческой я с Васькой сошелся, он был такой карапуз, мы его с первого раза прозвали церковным старостой. Помню, как мы жили в певческой. Над нами был старшим Топорков...

При воспоминании этого Топоркова Рязанов всегда скрежетал зубами.

— Встанет ночью — эй, такой-то, принеси мне воды напиться. Не идти нельзя,— изобьет, нечего делать, когда придет очередь, встаешь ночью да бежишь в сени, где стояла зимой и летом вода. Много разных штук выкидывал этот Топорков над нами, а сам был ростом маленький, зол, как змей. Только и зол же я был на него, бывало встану ночью да часа два молюсь, все прошу себе у бога силы, чтобы отколотить проклятого Топоркова. Года через три я подрос, из певческой вышел, встретил где-то Топоркова и давай с ним расправляться. Так отколотил его, что будет меня помнить.

Помню, как я получил от отца целковый. Показать боюсь, пожалуй, отнимут. Думал-думал, наконец, отправился с целковым на черный рынок, зашел в харчевню, потребовал себе рюмку водки, а самому всего еще десять лет. Все смотрят, хохочут надо мной. Выпил я первую рюмку — понравилось, весело сделалось, я другую, потом третью. Была зима, на улице мороз. Не помню, как вышел я на улицу, только очнулся я уже в снегу около части. Какой-то крестьянин ехал мимо, видит в снегу человек замерзает, ну и давай меня будить. Проснулся, вижу, темно, вечер, а встать не могу. Спасибо мужичку, довез меня до певческой, а тут уж я кое-как дополз до своего места. С похмелья дня три тогда ломало меня.

— А мы с Васькой так получше сделали,— рассказывал Крутояров.— С третьего класса Макшим забрал нас в свою канцелярию письмоводителями, житье было хорошее, люди в классе, а мы в канцелярии. Писали мы

таким манером с Васькой год почти целый, вплоть до пасхи, перед пасхой Макшим призывает нас к себе.— Писали вы, говорит, у меня хорошо, вот вам награда от меня, дает нам по двугривенному. Вышли мы с Васькой от него, что делать с двугривенными, не можем придумать. Думали-думали,— придумали идти в рынки. Поприценились кое к чему сначала, не выходит, просят за все дорого, а у нас всего по двугривенному у каждого. Опять думали-думали, я и говорю Ваське, пойдем, мол, лучше к харчевню, напьемся чаю. Отправились да все деньги и пропили, а Макшим сколько давал нам наставления, чтобы денег не тратить на пустяки, а купить себе лучше крест на шею или молитвенник. Едва мы пришли тогда с Васькой домой, утром башка болит с похмелья, приходим в канцелярию, Макшим уж тут, боимся дохнуть, чтобы не услышал, как несет от нас перегорелой водкой. Только приди этому Макшиму охота осматривать у всего класса кресты, есть ли у каждого. У половины, конечно, нет. Прибежал Макшим в Правление, взбесился как черт, ругается всячески, а мы с Васькой прижались у столов, дрожим от страху, потому у самих крестов тоже не бывало. Подбежал Макшим к нам,— есть у вас кресты? Есть, о. Петр.— То-то, смотрите у меня,— грозится Макшим. А мы стоим с Васькой ни живы, ни мертвы, вот заставит показать... Этакого страху я сроду не видал. Так и спаслись мы тогда, а то просто пропали бы совсем наши головы.

А то раз, когда я еще только поступил в училище, лет девять мне, может быть, было, этот же самый Макшим заказал всем лавочникам, что если уездники придут к ним продавать книги, то прямо тащили бы к нему. Я этого, конечно, не знал, понадобились деньги, я и отправился в рынок продавать «Новый завет». Подхожу к одному лавочнику: «Не надо ли купить книжку?» — «Покажи». Показал. «Ты где учишься»,— спрашивает лавочник. «В гимназии».— «А не врешь»,— говорит.— «Нет, говорю, не вру». «А о. Петра знаешь? Хочешь, говорит, я тебя с книгой-то к нему сведу, он нас, говорит, просил об этом». Я то, се, хотел было бежать и книгу оставил совсем. «Нет, говорит лавочник, пойдем, любезный, я тебя представлю, куда следует по начальству». А Макшим живет тут и есть, дорогу перейти наискось. Ведет лавочник меня к Макшиму, а я слезно прошу его отпустить меня.

Привел, сукин сын, к самым Макшимовским воротам да уж тут едва отпустил, я чуть было не принялся в ногах у него валяться. Я и теперь не могу этого лавочника видеть равнодушно, чуть было не подвел меня.

Отец Петр был смотрителем того училища, в котором учились Крутояров, Рязанов и Глотов. Этого отца Петра все почему-то звали о. Максимом, а Крутояров Макшимом, так как о. Николай выговаривал Макшим вместо Максим. Много рассказов ходило об этом Максиме по училищу и по семинарии.

— Этот Максим терпеть меня не мог,— рассказывал Рязанов,— однажды он чуть было меня клюкой не зашиб. Не помню, чем я его разозлил, дело было в Правлении, только схватил Максим клюку, зашлепал губами и накинулся на меня:— «Убью, пащенок!»— А я стою, знаю, что не посмеет он ударить, потому что я был архирейским певчим. Уж он скакал-скакал надо мной, как индийский петух, а сделать со мной ничего нельзя. Этого Максима я постоянно злил напропалую. В класс ходил я в первых двух классах в халатике, подпояшусь ремешком, брюки за голяшку, и приду. Наскочит Максим,— такой-сякой, как смеешь являться в класс в халатике и брюки за голяшку. Молчу, стою, а сам на него исподлобья посматриваю. Выгнал бы Максим давно из училища, да руки у него были коротки. Я был архирейским певчим, архирей меня любил, давал мне книг, конфет и пряников; бывало разлетится Максимко жаловаться к архирею на меня, так и так, грубит, плохо учится, непременно исключить надо. Архирей горой за меня, а Максимко злится пуще прежнего, так я и ушел от него, хоть он и точил на меня зубы сильно.

— А как я табак учился курить,— рассказывал Крутояров,— дело было еще во втором классе, товарищи все курят, а я не могу, затянусь раз, вырвет. Мишка Покровский меня всегда подзадоривал, принесет с собой в класс самой злейшей крупки, да и тянет где-нибудь у душника: дым валит из носу, из роту, на глазах слезы, покраснел весь.— Хорошо, говорит, Крутояров, затянись на, хоть разок. Возьму, глотну дыму — рвать. Зло меня возьмет, завидно против товарищей, научусь же, мол, я, курить, непременно научусь. Выпрошу у Мишки табаку, да дома и практикуюсь от нечего делать. Уж рвет меня, рвет бывало, а я все не попускаюсь, чуть нутро все не выворотит,

нет, мол, научусь, и делу конец. Попрактиковался эдак с месяц и попривык, приду в класс, ну, мол, Мишенька, хочешь в нос выпущу дым. «Выпусти», говорит. Я выпущу и не мигну. «Молодец, говорит, а вот только не знаешь ты, как из ушей дым выпустить. Хочешь, научу?».— «Научи, сделай милость».— «Держи, говорит, Мишка, грудь», а сам затянулся чуть не до пят. Держу я его одной рукой, а сам смотрю в оба глаза, как из ушей у Мишки дым пойдет. Пока я смотрел ему на уши, он взял да папиросой мне руку и ожег. Вот как у нас в уши дым выпускают.

— Прежде жить было не то, что нынче,— говорил Рязанов,— нынешние архиреи над каждым грошем дрожат. Бывало в поездку с архиреем отправляемся, гарцуем все лето напролет. Архирей Феофилакт маленьких любил: «Юность, юность...»— гладит, бывало, нашего брата по голове, набивая карманы конфетами. Феофилакт любил, чтобы хор певчих был у него в исправности, голоса были подобраны, пели отлично. А в этих поездках — разливное море, гарцуем-гарцуем, просто, наконец, надоест все. Иногда останавливаемся на отдых в лесу где-нибудь, раскинут ковры, зажгут костры, закуски, выпивки, песни. «Юность, юность! Веселитесь...» — бормочет Феофилакт, поглядывая на нас, а мы гарцуем во вся тяжкие. Приедет куда в село, встречают с колокольным звоном, поп выйдет навстречу с крестом, дрожит, бедняга, а тут уж закуска готова. Призовет нас к себе в комнату Феофилакт, где приготовлен десерт для него: «Юность, берите...» — мы бросимся, куча мала, крик, шум, гвалт. Феофилакт хохочет: «Юность, юность...» Из поездки я, маленький певченик, привозил рублей тридцать-сорок, а которые побольше — сто-полтораста. А все с попов бедных дерем бывало, удержу нет, давай, где хочешь бери. Кожилится-кожилится, кряхтит какой-нибудь батька, а потом и расступится... Другие попы хуже нищих: плачется-плачется, канючит, веньгает, прослезится даже, а глядишь и раскошелится, вытащит красненькую. Эти архирейские — настоящие собаки: с каждого пономаря сдерут, как ты тут не отвертывайся.

— А какие прежде рекреации задавали...— вздыхал Рязанов.— Бывало летом объявят рекреации. Человек триста семинаристов, полтораста уездников, профессора, учителя, всякое начальство, крупное и мелкое, отправятся в лес, куда-нибудь к речке. Бывало двинемся по го-

роду целым войском, за нами тянутся торговцы, торговки, купцы приедут. Раскинут палатки, начнется торговля, под видом кислых щей да квасу продают наливки, водку, ром, что душе угодно. Профессора да начальство захватят всякой провизии с собой и поместятся где-нибудь в тени, под леском у речки. Архирейский хор соединится с семинарским, и грянут вместе, тут же музыканты, ну, просто душа с радости хочет выскочить. Профессора подтянут нам, Максим впереди всех заносится тонким-претонким тенорком, только борода трясется. Приедет ректор, певчие грянут:

Мы тебя любим сердечно,
Наши зажег ты сердца,
Будь нам начальником вечно,
Мы в тебе видим отца...

Другие подпевают вместо «отца» — подлеца, все сходит за чистую монету, не разберешь, кто о чем орет. Начнется угощение, профессора раскошеливаются, начнут бросать пряники ящиками. Костры горят, музыка гремит, песни, начинается пляска. Семинаристы некоторые приходят на рекреацию в красных рубахах и шароварах — это плясуны: разобьют круг, а в средине запустят трепака. Купцы тряхнут монетой, вместо щей подадут семинаристам в бутылках водку, и пошла писать. Начальство ничего не замечает, потому рекреация, во-первых, во-вторых, сами напиваются до положения честных риз. Бывало как все подопьют, сейчас и затянут:

Максимко — вор,
Максимко — плут,
Максимушко добрый человек,
Максимко с приятным животом.

Максимка будто не понимает, профессора подсмеиваются.

Максимушко по горенке похаживал.
А я, молода, молчу, все смалкиваю.
Пусть Максимушко натешится,
Душа-радость нагуляется!
Вор Максим,
Плут Максим,
Максимушко добрый человек,
Максимушко с приятным животом.
Максимушко к кроватушке приближается,
А я, млада, молчу, все смалкиваю.
Пусть Максимушко натешится,
Душа-радость нагуляется...
Плут Максимка,
Вор Максимка...

Профессора хохочут, семинаристы хохочут, а Максимко стоит да тенорочком своим подхватывает.

— Ну, и напьются же все на этой рекреации — уму непостижимо, кажется, единой души живой не найдется.

Как-то мне пришлось везти с этого попоища профессоров по домам. Дело было так, что кучер ректорский напился с радости, везти некому, я забрался на козла, благо покататься на ректорской лошадке. Профессора пьяны, сидеть не могут, шагов пять проедешь, кто-нибудь свалится — поднимаешь, садишь — возни пропасть. Бились-бились таким манером, дело плохо, вижу, эдак, пожалуй, не уедешь. Веревку какую-то отыскал, да ею и привязал рабов божиих к тарантасу, так и привез их домой, а то бы не довезти ни единого человека. Смех и горе с ними, дорогой-то: один поет, другой кричит, третий ругается, четвертый непременно хочет плясать. А семинаристы пьянствовали всю ночь напролет. Везде огни, палатки, народу куча, словно какой лагерь. Как лишнее начальство поубралось, явились откуда-то какие-то девки, ну тут началась такая история, что верст на десять, может, гул один было слышно. Разбредутся парочки по кустам, а около костра музыка, пляска, борьба, кулачный бой. А утром у всей семинарии голова трещит с похмелья, классов нет, начальство глаз не показывает, а семинаристы рады случаю — давай пьянствовать другой день, да так всеобщий кутеж и стоит почти целую неделю.

— Отлично тогда было...— вспоминает Крутояров.— С чего это они вздумали отменить эти рекреации, всего ведь год назад тому они были еще. Приехал новый ректор в семинарию, вот и отменили.

Тимофеич приехал двумя годами раньше нас в семинарию и застал еще в живых эти знаменитые семинарские рекреации; мы же их не застали. Рязанов и Крутояров учились в духовном училище, которое находилось в самом здании семинарии, а потому рекреации давали и семинаристам, и уездникам.

Вольное было время, дедовщиной, стариной веяло от него, когда живали деды веселей своих внучат.

Я маленьким был очень религиозен, в училище эта религиозность меня не покидала, теперь никак не могу припомнить тот момент, когда совершился переворот в моих религиозных убеждениях. Помню только, что сой-

дясь с Рязановым, я вел себя уже как атеист. Этот атеизм был, конечно, полудетским, неосмысленным, но почва была, и мы с Рязановым целые дни проводили в диспутах богословского характера. Мы разбирали подробнейшим образом самые запутанные вопросы, которые особенно ставили нас в тупик. Первое, что было предпринято, это отрицание бытия божия.

— Вот только эти мощи...— смущался я каждый раз, вспоминая о слабом пункте моего отрицания.

— Да что мощи,— болтал ногами Рязанов,— мощи восковые.

— Да ведь ты не видал?

— Не видал, а знаю.

— Откуда же это знаешь?

— Да уж знаю, люди сказывали.

— А знаешь, что мощи пересматривают через известный срок, перекладывают из одной раки в другую.

— Знаю и это, мудреного тут ничего нет. Живет какой-нибудь угодник, молится, постится, плоть свою истязает, ну и останутся от угодника одна кожа да кости. Чему тут сохнуть-то. А то есть земля такая, положат в нее мертвого, он не портится. Кажется известковая земля...

— А все-таки люди-то перекладывают...— не убеждался я.

— Кожу да кости перекладывают, что им сделается.

— Ты прикладывался к мощам-то?

— Прикладывался, какое-то черное пятно.

Так вопрос о мощах и остался открытым, хотя другие были решены в положительном смысле. Крутояров безучастно относился к нашим спорам.

— Есть бог — хорошо, нет бога — тоже хорошо...— рассуждал Крутояров.

Глотов защищал бытие божие, обзывая нас дураками и безбожниками.

— Рече безумен в сердце своем — несть бог...— поражал он нас.

— Не всякому слуху, Васька, верь...

По вечерам Глотов подолгу молился перед иконой, поставив с собой маленького брата; мы в это время обыкновенно были уже в постелях.

— Молись, Васька, пуще. Нет бога кроме бога, а Магомет — пророк его...— поощрял Рязанов, запуская клубы дыма,— твое дело плохое.

Глотов откладывает поклоны в землю. Крутояров ходит из угла в угол по комнате.

— Васька этот боится смерти пуще всего,— смеялся Рязанов над молившимся Глотовым,— оттого он и молится прилежно. Его тоже не скоро надуешь. Мы как-то жили на квартире около гробовщика, в семинарию ходить приходилось около его лавки, где выставлены были всякие гробы на вид; Васька всегда проходил мимо и глазом навести боится. А теперь он за ангельников своих молится. Васька, перестань ты понапрасну время терять, читай уж лучше Дон-Кихота.

Глотов читал Дон-Кихота несколько месяцев после молитвы вечерней, сосредоточенно перелистывая одну страницу за другой. Он и к легкому чтению относился с таким же серьезным вниманием, как к греческим и латинским спряжениям и алгебраическим формулам. Вообще, за что ни брался Глотов, он ко всему относился серьезным образом, что составляло отличительную черту его характера.

Время шло к масленице. У хозяйки завязалась свадьба. Женихом был какой-то молодой приказный, с бледной поношенной физиономией. Невеста, русоволосая девушка с серыми глазами, часто оставалась наедине со своим женихом, и нам приходилось иногда выслушивать длинные разговоры, так как наша комната отделялась от хозяйской всего тонкой дверью.

— Ты, Саня, любишь меня?..— спрашивал в десятитысячный раз запьяневший приказный, наливая рюмку.

— Люблю, Петя...— слышался тихий голос невесты.

— То-то, смотри...— слышно было, как он выпивал рюмку,— ты лучше не выходи за меня, если не любишь.

— Нет, я люблю.

— Ты скажи мне прямо, если не любишь...—цедил сквозь зубы жених, прожевывая закуску.

— Люблю...

— Ну, поцелуй, если любишь.

Слышался длинный сонливый поцелуй, от которого тошно было даже в нашей комнате.

— Еще целуй меня...— разнеживалась «приказная строка».

Поцелуи звучали, точно кто поздней осенью шлепал по лужам.

— Эк их разбирает... — плевался Рязанов, — лижутся как телята.

8 глава

Наступил пост, первую неделю мы ходили утром и вечером в семинарскую церковь, так как положено было первую неделю всем семинаристам говеть неопустительно. Мы с Рязановым в церкви стояли в одном ряду и все время беседовали о разных предметах, за что иногда и получали внушения от помощника инспектора. Классов не было, время было свободное, мы от нечего делать занимались чтением разных книг, которые мы получали из Публичной библиотеки. Между прочим, нам попался пятый том Писарева, в котором нами и была прочитана «Университетская наука». Я читал вслух. Рязанов слушал и делал некоторые комментарии.

— Так их, прощалыг, вали их в хвост и гриву...— неистовствовал Рязанов, болтая ногами по кровати,— лупи их, друг любезный, по мордасам лупи... Классики анафемские! Вот бы еще Максимка вздуть эдаким манером... Важно бы вышло, черт побери!

Мы прочли Писарева раза по два и потом уже успокоились немного.

— А может, он и врет половину-то...— сомневался иногда Рязанов.

— Да с чего же ему врать-то, когда он про себя пишет,— утверждал я.

— А черт их знает, как они там пишут, а хорошо, ей-богу, хорошо... Так их и пробирает, так и пробирает, небось живого местечка не осталось... Молодец!

Писарев был отложен, и мы перешли на другие занятия. Это чтение, по крайней мере, как мне кажется, оставило по себе в нас сильное впечатление, здесь в первый раз я почувствовал влияние живого слова печатной книги.

Наступала весна. Снег таял, солнышко грело, на улицах стояла грязь. Мы выставили в своей комнате зимние рамы и по вечерам открывали окна, хотя перед нами еще лежали груды снега. Крутояров особенно любил сидеть у открытого окна, когда пил чай. Весь в поту, в одном халатике, с открытой грудью, сидел он у окна, а на него с улицы неслась ледяная струя весеннего воздуха. Комната была почти в земле, и уличный холодный воздух лился в эту яму как вода. Стены отсырели, по углам явилась плесень, мы спали на полу, кроме Глотова, который устроился на кровати. Мне очень не нравилось подобное помещение, но,

скрепя сердце, я переносил все, притом совестно было и перед товарищами жаловаться на сырость. В середине поста у меня явились лихорадочные припадки, но я перемогался кое-как, делаясь с каждым днем все больнее и больнее.

— Умрешь ты, Бахарев,— говорил мне Глотов,— вот тебе и сказ весь.

— А что, это бы важно было,— хохочет Рязанов,— мы бы его похоронили с респектом.

— А я бы надгробную речь сказал...— поднимал верхнюю губу Крутояров, что всегда предшествовало его смеху.

Но дело приняло другой оборот, я отделался легкой лихорадкой, а Глотов однажды утром проснулся, и у него пошла горлом кровь, доктор сказал, что пустяки, но кровь шла. Глотов ушел в больницу.

— Умрешь, Васька...— говорил Рязанов на прощанье своему товарищу.

— Ну, уж и умирать от всяких пустяков...— улыбался Глотов бледными губами.

— Я тебе, Васька, эпитафию важнейшую сочиню...— тряс Крутояров Глотова за руку.

— Не ходи ты, Васька, в эту больницу, там и здоровото человека недолго заморить, не то что больного. Останься, умереть, так и здесь умрешь...— заверял Рязанов.

— Здесь сыро... я простудился, вероятно, как-нибудь.

— Пустяки! Посмотри на нас с Крутояровым... а Бахарев-то на што! Стыдно, Васька, тебе будет умирать, если Бахарев жив останется.

— Ничего не поделаешь...— печально качал головой Глотов, улыбаясь своей спокойной, уверенной улыбкой.

— Дон-Кихота-то захвати с собой, все веселее будет, да богу-то побольше молись, а мы с Крутояровым здесь выпивать почаще будем за твое здоровье. А то еще так сделай: пообещай свечу какому-нибудь угоднику или на богомолье сходить куда-нибудь... Я, когда в училище, всегда так делал перед экзаменами, а после и позабудешь все, как выздоровеешь...

Глотов ушел, мы остались жить втроем.

— Пожалуй, Васька-то в самом деле умрет,— размышлял Рязанов,— жаль парнюгу, дельный бы парень, пожалуй, вышел.

— Не умрет, палкой не убьешь его,— уверял Крутояров.

Через полтора месяца Глотов по болезни уехал домой.

— А ведь и в самом деле умрет...— начинал сомневаться Крутояров.

9 глава

Была пасха. Тронулся лед, река вскрылась. Весь городской берег был усеян барками, толпы оборванных захудалых бурлаков сновали по городским улицам, проживая последние гроши.

— Это все твои соотечественники...— говорил мне Рязанов.

— Есть и соотечественники.

— Скоро экзамены, и домой.

— Да...

Мы сидели у открытого окна, снег вполовину стаял, но зато непроходимая грязь стояла по всем городским улицам, которым и во сне не снилось что-нибудь подобное мостовой. Крутояров уехал на праздник домой, и мы вдвоем с Рязановым распивали чай по-прежнему перед открытым окном.

— Отличное дело — этот чай...— обливался Рязанов потом.

— Алексей, ты куда? — спрашивал он через минуту кучера хозяина дома.

— Так маленько разгулять, значит,— улыбался Алексей, молодой парень с окладистой русской бородкой. Этот Алексей замечателен был тем, что ухаживал за хозяйской дочкой, которая, видимо, сочувствовала ему. Крутояров давно подметил завязавшиеся отношения и не упускал случая подтрунить над Алексеем, который по целым ночам просиживал с гармоникой в руках за воротами, поджидая, когда вполовину откроется окно во втором этаже, откуда смотрела на Алексея пара голубых светлых глаз, принадлежавших хорошенькой хозяйской дочке.

— Достоишь ты, Алешка, у ворот-то,— разговаривал Крутояров в форточку,— попадет ужо в загривок-то... Мотряй!

— Покедова бог милостив...

— До поры до времени. У хозяина шея-то потолще твоей будет, как раз налупит бока-то.

— Не за што...

Размилая Груня утром
Рано окна отперла,
На меня в окно смотрела,
Ручкой правой, бровью черной повела...—

тихонько напевал Алексей, подыгрывая на гармонике.

— Вот ужо поведет тебе хозяин-то...

— А што это есть такое нам состоит, к примеру, хозяин, а?— встряхивал волосами Алексей.

— А по лону не хочешь, чтобы натрес он тебе.

Отпирай, Груня, окошко,
Как все ночью лягут спать.
Постою я здесь немножко,
Буду Грушу поджидать...

— Да уж это не ты ли сочинил песни-то?

— А может, и я...— таинственно улыбался Алексей.

Во время одного из наших чаепитий, к нашему окну подошла девушка с корзиной.

— Купите, барин!

— Что продаешь?

— Крапиву молодую...

— А ее куда?

— В щи кладут.

— Убирайся ты!— топал Рязанов ногами.— Вишь, выдумала в щи да крапиву класть, это еще что за новости!..

Маленький Глотов жил с нами.

— А сколько тебе поставили сегодня в классе?

— Три.

— А сочинение подавал?

— Подавал.

— Что сказали?

— Сказали, хорошо.

— Он вчера писал, я видел,— рассказывал Крутояров.— Задали им описать свой день, вот он и пишет: «Утром встал, маленько помолился, напился маленько чаю и пошел в класс. После класса маленько пообедал, потом маленько отдохнул и напился маленько чаю. Потом занимался маленько, отужинал, помолился маленько и лег спать. Петр Глотов». Так?

Мы были в театре, шел «Кардинал Ришелье». Мы конечно, поместились в райке. Народу был полон театр, в антрактах играл оркестр, человек в пятнадцать. Я был в первый еще раз в театре, и на меня произвела сильное впечатление не самая пьеса, а музыка. Какое-то томительное сладостное чувство охватило все существо, и было зараз как-то грустно и вместе с тем чудно хорошо. Эти волны доморощенной музыки открывали каждым штрихом, каждой ноткой какой-то совершенно новый, еще неведомый мир, полный смутных, туманных образов... Но вот звуки сгустились, новой силой обдало все существо, в глазах потемнело, целый мир строго-величавых, чудно сотканных грез проносится в душе. Волны какого-то далекого, полного очарования и силы бездонного моря манят и тянут к себе, какие-то мысли, какие-то чувства кружатся вихрем в голове, сплетаются и расплетаются, точно рой духов... Но взвизгнула скрипка, прокатилась дробь по барабану, какой-то веселый мотив сменил прежнюю музыку... И видения отлетели, точно после глубокого сна, было смутно и дико в голове.

— Что, расчувствовался, видно? — ткнул меня в бок Рязанов и прервал мечты на самом интересном месте.

10 глава

Подошли экзамены. Носились слухи, что из трех прежних классов будет сделано сообразно новым правилам преобразования семинарии целых шесть классов, то есть целая половина должна остаться в том же классе. Перед экзаменами, действительно, объявили, что экзамены будут строги.

— Ну, брат, теперь, видно, держись крепче за землю...— соображал Рязанов, перебирая свои знания.

— Плохи дела в Испании, как раз, пожалуй, и смажут...— волновался Крутояров преимущественно за греческий язык, который представлялся ему некоторым камнем преткновения.— Кажется, чего ты хошь скажи, сделаю, только бы не этот распроанафемский греческий язык.

— Ничего, Нафанаил Васильевич, посидишь за разной мудростью. Посверлишь, ибо корень учения горек, а плоды еще горше.

— Да вот теперь словесность: любо-дорого. Что такое наука? Наука — умственная картина предметов нашего познания или система понятий и мыслей. Что такое дух народа? Дух народа составляют: во-первых, его религия, во-вторых, запас умственных знаний, в-третьих, нравственный характер и, в-четвертых, его язык. Отсюда...

— Ты это по писанному, как по сказанному, а нет, ты скажи-ка мне все это своими словами?

— Вот на экзамене и скажу.

— Знаю, как скажешь. Помнишь, как в уездном училище зубрили. Вопрос: как подразделяются тела мира видимого? Ответ: тела мира видимого подразделяются на твердые, жидкие и газообразные... р... р... р... р... то-то-то. Ровно головой по ступенькам покатишься. Впрочем, как говорит Макшим перед приездом ревизора: свинья не выдаст, бог не съест.

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...— поднимал Крутояров глаза к небу.— Да воскреснет бог и расточатся врази его...

— А я так думаю, что черт с ними совсем: переведут — хорошо, не переведут — тоже хорошо.

— Хорошо поешь, где сядешь.

Начались экзамены, мы превращались, как хамелеоны, из одного цвета в другой: то классики, то математики, то историки, то риторы, то теологи. По всем предметам дело шло сносно, только у священника математических наук мы все провалились, получив по единице, что немало огорчило нас, но, с другой стороны, из всего класса, больше сотни человек, удовлетворительный балл по алгебре получили кажется человек шесть, остальные ничего не знали. Я, например, не мог победить алгебраическое умножение, Рязанов тоже что-то в этом роде, а бедняк Крутояров потерпел самое ужасное поражение. Дело в том, что во время экзамена была задана алгебраическая задача, которую все обязаны были разделать. Крутояров по алгебре не знал ровно ничего, но ему помог Иван, и Крутояров своим отличным почерком переписал ее и подписал свою фамилию. Вызвали, предложили разделать на доске заданную задачу.

— Да она у меня уже разделана...— воспользовался Крутояров случаем и подсунул только что переписанную набело задачу.

— А хорошо... А прекрасно... г. Крутояров... а вы от-

лично...— бормотал профессор замковской церкви, проверяя задачу.

— А сделайте, потрудитесь, еще раз нам на доске ее,— предложил инспектор.

— А для чего, а для чего...— ежился профессор, ставя на задаче пятерку...— а он знает... отлично.

— Что же? Его при нем и останется,— настаивал инспектор,— а мы поучимся...

Несчастный Крутояров писал ряды букв и знаков, но ничего не мог сделать, и красный, как рак, стоял у доски, кусая губы.

— А списал... а списал...— метался профессор, перечеркивая пятерку на единицу,— а нехорошо... а ничего не знает.

— Ага!— язвительно улыбался инспектор, поглядывая из-за своих очков на Крутоярова, любуясь его конечным истреблением.

Уничтоженный и разбитый в прах, возвратился Крутояров за парты, но скоро ободрился, видя такое же крушение своих ближних.

Экзамены кончились, мы с замиранием сердца ожидали решения нашей участи.

— У тебя, Крутояров, наверно, желудочное трясение делается...— смеялся Рязанов.

— Не то чтобы очень сильное, а вот под коленками сдыхать не дает. Это точно.

— Не трусьте вы, не трусьте, переведут вас всех,— заверял нас всех Тимофеич.

— Ну, это старуха-то еще надвое сказала.

— А давайте пари!

— Что пари, знаешь пословицу: спорь до слез, а об заклад не бейся.

Но Тимофеич не успокоился до тех пор, пока не заключил со мной такого условия, что, если я перейду во второй класс, то обязуюсь ему, Тимофеичу, штоф водки.

Поздно вечером собрались члены Семинарского правления решать нашу участь. Долго мы ходили кругом семинарии, дожидались, когда объявят, наконец, списки. Около двенадцати часов вынесли списки; Крутояров, Рязанов и я были переведены во второй класс.

— Ну, не говорил ли я тебе?! Не говорил ли, а?— немилосердно тряс меня Тимофеич, точно он отца родного нашел.

Штоф был распит, Тимофеич как ни в чем не бывало отправился в семинарию, Рязанов долго говорил и спорил со мной, с Крутояровым сделалось дурно, он в одном халатике отправился гулять по городским улицам. Я ничего не пил, на душе у меня было хорошо, потому что громадная пропасть осталась позади.

Билеты не были еще готовы, и нам приходилось ждать целые сутки, инда хотелось просто лететь из города. Я зашел от нечего делать в семинарию в номер Тимофеича. Везде был полный хаос, койки сдвинуты на середину комнаты, табуретки грудой свалены в угол. Сор и грязь кругом. В номере было четверо семинаристов, сидевших и лежавших на койках. Тут же был и Тимофеич.

— Ну вот, Белозеров, перевели тебя в следующий класс,— говорил он приземистому малому, одетому довольно прилично, что говорило за его состоятельность,— перевели как хорошего человека, а ты и в ус себе не дуешь. Разве это порядок... Порядок это, Ховринька? А!..

— Какой же порядок, это просто... ну, просто, черт знает что такое...— крутил головой Ховринька, закрывая глаза, как кот на солнышке.

— Да и все так, а он казанской сиротой прикидывается, нет денег, говорит... Эх, народ!.. На что это они только живут на белом свете!..

Белозеров стоял среди комнаты в глубоком раздумье, точно он и в самом деле недоумевал, зачем он живет на свете.

— А что же я, Тимофеич, буду делать... Денег нет! В долг не дадут... Сам знаю, что следовало бы по обычаю христианскому.

— Да ты только захоти... Вот в чем дело! — настаивал Тимофеич.

— Ну, хочу... Что из этого?

— Что из этого, ты говоришь... а вот что: время теперь теплое, домой ездят обыкновенно налегке... значит.

Белозеров снял жилет и подал Тимофеичу. Через четверть часа на одной из коек стояла бутылка с самой злейшей зеленовато-желтой перцовкой...

— Иван Никитич говорит, что... столетняя...— потирал руками Тимофеич.

— Цель оправдывает средства,— опрокидывал Ховринька рюмку над своей глоткой, в которой при этом происходило бурчание, как в пустой бутылке.

— Эх вы, горехваты! Не знаете, что делать: рукавицы ищут, а они за опояской.

Семинаристы в два приема осушили бутылку.

— Э-эх, Белозеров, Белозеров, умная твоя голова...— качал головой Тимофеич,— скажу я тебе, как отец сыну: не о хлебе едином жив бывает человек.

Постепенно с Белозерова исчезли сюртук и пальто, пока он не остался в брюках.

— Вот молодец!..— трепал выпивший Тимофеич Белозерова по плечу.

Семинаристы раскраснелись, спорили, кричали, пели.

— Теперь, Коля, вакат наступил, значит наша взяла, никакого начальства знать не хотим...— говорил мне Тимофеич заплетавшимся языком.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
И
КОММЕНТАРИИ

ОЧЕРКИ МАМИНА-СИБИРЯКА О БУРСЕ

Эта книга о детстве, но не для детей. В ней собраны не публиковавшиеся ранее очерки Мамина-Сибиряка о страшном, гнилом и уродливом быте старой духовной школы, известной под названием бурсы. «Если бы каким-нибудь чудом выплыло наружу все то, что творилось на том месте, где жила бурса,— пишет автор очерков,— самый терпеливый, самый незастенчивый человек, привыкший ко всяким мерзостям, отвернулся бы с непреодолимым отвращением от представившейся картины». Но Мамин-Сибиряк далек от простого воспроизведения «свинцовых мерзостей» русской жизни. Изображая бурсу, он страстно защищает человеческую личность от кулачного права, от растлевающих душу цинических, звериных отношений, от иссушающей ум бессмысленной зубрежки никому ненужных предметов. Книга эта — громкий протест писателя-демократа против уродливой системы воспитания, в которой, как в зеркале, отразилась система человеческих отношений буржуазно-дворянской России 60—80-х годов девятнадцатого столетия.

Как и многие писатели-разночинцы, Мамин-Сибиряк сам прошел тяжелую школу бурсы и возненавидел ее. Тема быта духовной школы была глубоко личной для писателя, выстраданной им. Он учился в 1866—1868 годах в Екатеринбургском духовном училище, а 1868—1872 годах в Пермской духовной семинарии. «Нужно было много лет, много страшного труда, чтобы вытравить все то зло, которое вынесено мной из бурсы и чтобы взошли те семена, которые были заброшены давным-давно в родной семье»,— писал Мамин-Сибиряк.

Публикуемые очерки носят автобиографический характер. Вместе с тем они представляют достаточно широкое художественное обобщение. Это не мемуары, а очерки в духе беллетристики семидесятых годов, жизненная правда в которых выступает в обнаженном виде, в подчеркнутой безыскусственности повествования.

В 1877 году Мамин-Сибиряк возвратился на родной Урал. Пять лет, проведенных в Петербурге, который он в письмах к родным называл «сердцем земли русской», не дали ощутимых творческих результатов. За пять лет он закончил два курса ветеринарного отделения Медико-хирургической академии и прослушал лекции на первом курсе юридического факультета университета, не сдав ни одно-

го экзамена. В течение трех лет он был газетным репортером, напечатал несколько рассказов в малозаметных журналах, рассчитанных на мещанские вкусы, выпустил роман, названный предприимчивым издателем «В водовороте страстей» и никем не замеченный.

Но все же эти годы не прошли впустую. Пожалуй, главным итогом был твердый выбор писательского пути. Решение во что бы то ни стало проложить себе дорогу в большую литературу вызывалось желанием найти свое место в общественной жизни. Мамин-Сибиряк учился в Медико-хирургической академии в тот период, когда ее аудитории заполнялись разночинной молодежью, считавшей себя партией народа и готовой служить ему. Это было то самое учебное заведение, которое дало наибольшее количество участников знаменитого «хождения в народ» 1873—1874 годов. Будущий писатель не стоял в стороне от движения эпохи, хотя политические интересы не захватывали его ни тогда, ни после. Тем не менее в литературе он хотел представлять то же демократическое направление.

Мамин-Сибиряк еще с детства, на Урале, был близок к народу. Эта близость поддерживалась ощущением своего «худородства», как объединяющего с простыми людьми труда и отделяющего от тех, кто именовал себя «благородными».

Через полгода после приезда в родное гнездо он потерял отца и стал единственным кормильцем семьи: матери и малолетних брата и сестры. Старший брат был жертвой бурсацкого воспитания: мягкий, восприимчивый и безвольный, он сделался горьким пьяницей и «по новым правилам» был уволен из семинарии, не окончив даже первого курса. Он не мог оказать поддержки родным. Его печальная судьба заставляла много размышлять будущего писателя, и он горячо доказывал родным, что брат не виноват, что он жертва условий.

Перед Маминым встала задача немедленно найти источник существования. Литературный труд еще не мог быть таковым. Попытка в 1878 году напечатать роман «Семья Бахаревых»— первую редакцию «Приваловских миллионов»— не увенчалась успехом. В поисках работы будущий писатель переезжает из Нижней Салды в Нижний Тагил, а затем в Екатеринбург. Здесь он становится репетитором, подготовляя малоуспевающих учеников гимназии к экзаменам. Впрочем, среди его учеников были и талантливые люди, которые по тем или иным причинам вынуждены были сдавать экзамены за курс гимназии экстерном. Педагогические занятия сближали Мамина-Сибиряка с детьми, заставляли присматриваться к их внутреннему миру, обостряли интерес к вопросам формирования человеческой личности в процессе воспитательного воздействия.

Так прошло четыре года. Это был период самого настойчивого, самого интенсивного творческого труда. Продолжалась начатая в Петербурге работа над романом о приваловских миллионах, была закончена первая редакция романа «Горное гнездо», носившая название «Омут», тогда же были написаны очерки из жизни Среднего Урала «Сестры», «Старатели», «В камнях», «Максим Бенелявдов», «На рубеже Азии» и другие.

С марта 1882 года имя Мамина-Сибиряка появляется на страницах «толстых» журналов. Он публикует свои произведения одно за другим. «Такое обилие напечатанных статей,—писал позднее сам автор, называя статьями все виды литературных произведений,— объясняется, во-первых, тем, что они писались в течение десятилет-

него периода, во-вторых, необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала, и, в-третьих, необходимостью осветить сейчас же некоторые злобы дня и свои уральские проклятые вопросы».

«К проклятым вопросам злобы дня» Мамин-Сибиряк относил проблему воспитания, проблему школы. Внимание к детям, к вопросам воспитания, как к «злобе дня», нашло выражение в настойчивых попытках писателя выступить с очерками о школе, о системе образования детей и юношества, калечащей людей. Писатель исходил из твердого убеждения, что условия воспитания и формирования человека определяют его дальнейшую судьбу и общественную ценность. На грани семидесятых-восьмидесятых годов его волнует этот вопрос, как гражданина, болеющего за человека, как писателя, считавшего своей целью борьбу с общественной несправедливостью и социальным неустройством.

В сборнике «Урал», изданном в Екатеринбурге в 1913 году, составители его по не дошедшим до нас источникам опубликовали «Выдержки из черновых тетрадей Д. Н. Мамина». Здесь напечатан подробный конспект «Каменного пояса» — одной из редакций «Приваловских миллионов», датированный автором 1879 годом. Вслед за конспектом идет план и рабочие наброски к «Запискам семинариста» — «очерку современной бурсы», как определяет жанр сам Мамин-Сибиряк.

Писатель хочет вслед за Л. Н. Толстым написать о детстве, отрочестве и юности. Он задумывает ряд автобиографических очерков о семье, обучении в духовном училище, о пребывании в семинарии. В заключение, выделенное в плане как самостоятельная часть, писатель предполагал ввести «Главу итогов», публицистическую по характеру, и набрасывает ее содержание.

В заметках к «Главе итогов» он говорит о «настоящем царствовании, ознаменованном освобождениями», то есть о времени Александра II, казненного народовольцами 1 марта 1881 года. Следовательно, план «Записок семинариста» оформился в сознании автора не позднее этой даты. Здесь же он вспоминает умершего отца, который скончался в январе 1878 года. Таким образом, наброски не могли быть сделаны ранее этого года. Указание автора на то, что «пятнадцать лет назад», «в самый разгар преобразований», он вышел из духовного училища, приближает нас к дате 1880—1881 годов, поскольку Мамин-Сибиряк окончил училище в 1868 году, а преобразования относятся к 1867 году.

В том же сборнике фототипически воспроизведена страница из черновой тетради писателя. Мамин-Сибиряк набросал список рассказов и очерков, задуманных им. Этот список открывается очерком «Сестры». На третьем месте стоят «Очерки современной бурсы», но уже с заглавием «Мудреная наука». Тут же черновые записи, относящиеся к очерку «Сестры», законченному 4 марта 1881 года. Все это показывает, что творческое сознание Мамина-Сибиряка было занято темой бурсы в самом конце семидесятых и начале восьмидесятых годов.

В Государственном архиве Свердловской области сохранился ряд не датированных Маминым-Сибиряком рукописей, в которых развиваются отдельные части плана «Записок семинариста». Правда, они носят совершенно иные заглавия, и многие из них представляют законченное и относительно самостоятельное целое. Первой и второй

части плана — детство и отрочество — соответствует рукопись с названием «Семья и школа». Писатель рассказывает в этом очерке о ранних детских впечатлениях, характеризует родителей, рисует обстановку дома, набрасывает портреты друзей, окружавших его в Висиме, говорит о подготовке к училищу. Большая же часть рукописи отведена повествованию о бурсе. Эта часть в отредактированном и несколько доработанном виде вошла в другую сброшюрованную тетрадь, на первом листе которой по наклеенной сверху бумажке написан заголовок «Отрезанный ломоть». Под наклейкой легко читается первоначальное заглавие «Худородные, Книга первая» и подзаголовок «Из воспоминаний, не предназначенных для печати». В этой рукописи механически объединены два различных очерка. Открывается «Отрезанный ломоть» описанием первой поездки автора по Чусовой до Кыновского завода и дальше на лошадях до Перми. Он едет поступать в духовную семинарию. Рисуется первое знакомство с городом и семинарией. Заканчивается очерк сценами экзаменов и торжеством принятого в семинарию героя. Все это соответствует первым двум пунктам плана третьей части «Записок семинариста», где мы читаем: I. «Отъезд в семинарию», II. «Alma mater»: экзамены, четыре училища». Некоторые признаки тем не менее заставляют думать, что этот очерк написан до того, как оформился замысел большого целого «Записок семинариста». Очерк начинается фразой «Мы в горах Урала». Такой стереотипной формулой начинались четыре рассказа из семи, напечатанных Маминым-Сибиряком в 1875—1877 годах. Сочетание натуралистической детализации с народно-песенной романтизацией — характерные для этих рассказов приметы стиля — встречаются и в настоящем очерке. По сравнению с другими произведениями этого цикла в «Семье и школе» чувствуется значительно меньшая авторская опытность. Описания растянуты, диалоги беспредметны, писатель фиксирует поток возникшего в памяти без достаточного отбора и целеустремленности.

Рукопись «Худородные. Книга вторая» представляет дальнейший этап работы над темой. Этот очерк — законченное повествование о первом годе обучения героя, носящего здесь имя Коля, в семинарии. Вместе с тем он соответствует третьему и четвертому пунктам плана «Записок семинариста». Итак, Мамин-Сибиряк, очевидно, вначале работал над материалами, относящимися к семинарскому периоду жизни. Позднее возник более широкий замысел «Записок семинариста», включающий также детство и отрочество героя — автора. Рукопись, включающая отредактированную часть «Семьи и школы», очерк, озаглавленный «Отрезанный ломоть», и очерк «Семья и школа» представляют попытку реализовать план «Очерков современной бурсы». Самостоятельные заглавия отдельных частей, не соответствующие заголовкам плана «Записок семинариста», вероятно, объясняются тем, что сам писатель стал считать их отдельными, самостоятельными очерками. В семье, которая обычно была в курсе творческой работы Мамина-Сибиряка, они воспринимались также как самостоятельные «повести». Владимир Мамин в письме к брату пишет, что они с Николаем читали его «повести о школе» и они очень им понравились [1].

Следующий этап работы писателя над темой бурсы относится к 1880—1883 годам. Мамин-Сибиряк пытается на ту же тему написать

[1] Письмо В. Н. Мамина Д. Н. Мамину от 12/II 1882 г.

сюжетные очерки, тогда как раньше материал их располагался в простом хронологическом порядке, что мотивировалось характером жанра очерков-воспоминаний.

В одном из авторских списков задуманных произведений мы находим вслед за «Бойцами», известнейшим очерком писателя, «Сорочью похлебку». Далее идут еще два произведения из жизни бурсы: «Ректор Протоген» и «Квартирные». Список, очевидно, относится к самому началу 80-х годов, так как роман «Горное гнездо» здесь еще называется по имени героини «Мария Останина» [1]. В другом списке, объединяющем произведения о духовенстве, Мамин-Сибиряк помещает десять названий, в том числе: «Сорочья Похлебка», «Квартирные», «Первые ученики» (начальный замысел рассказа «Башка»), «Ректор Протоген», дальше же идут названия трех произведений, очевидно, уже напечатанных ко времени составления списка, так как при них точно обозначен объем каждого в печатных листах. Это «На рубеже Азии», «В худых душах» и «Максим Бенелявдов», то есть очерки и рассказы, опубликованные писателем в журналах в 1882—1883 годах [2]. Фигурирующая в списке «Сорочья Похлебка» была направлена Маминым-Сибиряком в «Вестник Европы», но не принята в нем, как и рассказ «Нимфа», получивший позднее заглавие «Максим Бенелявдов» и напечатанный в 1883 году в журнале «Дело».

Такое поистине неустанное внимание демократического писателя-реалиста к теме бурсацкого воспитания, к теме школы заставляет нас с вниманием отнестись к сохранившимся в архиве и не публиковавшимся ранее очеркам «Сорочья Похлебка», «Семья и школа» и «Худородные».

Вопрос о бурсе Мамин-Сибиряк поднял не первым. В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов он лишь продолжил ту литературную традицию, которая шла от шестидесятых годов. После «Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского (1858—1863 гг). и «Записок семинариста» И. С. Никитина (1860 г.), которые открывали новый мир, дотоле не известный читателю, появляются повесть Н. Оськина «Ливанов» (1864 г.) и начало романа Н. Благовещенского «Перед рассветом» (1865 г). Все эти произведения принадлежали перу авторов революционно-демократического лагеря. Их появление было обусловлено исторической необходимостью разрушительной критики старых крепостнических порядков во всех областях общественной жизни. Вместе с тем в них выражалось стремление разобраться в характере и становлении того героя-разночинца, который уже являлся центральной фигурой эпохи. Среди революционной разночинной интеллигенции было немало выходцев из среды мелкого сельского духовенства, получившего образование в духовных училищах и семинариях. Интерес к теме бурсы поддерживался также большим вниманием революционно-демократической мысли к вопросам воспитания и образования, как части общего вопроса о формировании гражданского сознания народа, о формировании деятеля, способного отдать с наибольшей пользой свои силы борьбе за интересы народа.

Одной из характерных особенностей произведений о бурсе в шестидесятые годы была их автобиографичность.

---

1 Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 54.

2 ЦГАЛИ, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 51, л. 17.

Мамин-Сибиряк с глубоким уважением относился к общественному движению шестидесятых годов. В автобиографии он писал, что «еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов». Ему были близки боевые традиции литературы революционной демократии, литературы большой жизненной правды Продолжая эту линию, Мамин-Сибиряк в семидесятые годы обращается к теме бурсы. Его очерки, посвященные бурсе, также автобиографичны. Они представляют большой интерес как материалы к жизнеописанию Мамина-Сибиряка. В них раскрываются условия формирования демократического мировоззрения крупного художника-реалиста, открывшего читателям «особый быт Урала».

Вместе с тем очерки Мамина-Сибиряка нельзя считать мемуарами. Это художественные произведения с ярко выраженной общественной установкой, которую автор не скрывает. Он, как и его предшественники, выступает со страстным обличением одной из сторон буржуазно-крепостнического общества. Он поднимает голос в защиту молодой демократической интеллигенции. В заметках к «Запискам семинариста» Мамин-Сибиряк горячо говорит о пятидесяти тысячах учащихся духовных учебных заведений, как о силе, с которой «нужно считаться, мимо которой нельзя проходить, которая создала и создаст в недалеком будущем ядро русской интеллигенции».

Писатель выступает в очерках как сторонник определенной педагогической системы, основанной на понимании тесной связи характера и среды. Однако в отличие от революционных демократов Мамин-Сибиряк не уделяет достаточного места вопросу о противодействии личности среде, об ее исторической активности. Это объясняется не только меньшей зоркостью Мамина-Сибиряка, но и изменившейся общественно-политической ситуацией. «Каждый человек, как каждое растение вырастает и развивается только на известной почве, под давлением системы известных условий»,— говорит Мамин-Сибиряк. Внимание писателя сосредоточено только на разоблачении тех «обстоятельств», которые мешают свободному развитию человека.

Очерки быта духовной школы, написанные Д. Н. Маминым-Сибиряком, очень близки к «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского не только общей демократической направленностью, но и многими деталями, характером освещения типов и картин, самой манерой повествования. Правда, им недостает той исключительной глубины и яркости типизации, которая делает очерки Помяловского одним из выдающихся явлений русской литературы, но все же они не являются простым литературным перепевом известного произведения. Да, в очерках Мамина-Сибиряка мы найдем много мотивов, деталей, положений, совпадающих с теми, которые встречаются у Помяловского. Отношения бурсы и начальства, бурсаков и городских, расправа с ябедником, издевательства над человеком, отдельные черты типов бурсаков, даже некоторые детали, как, например, игра в камешки, рисуются двумя писателями одинаково. Тем не менее нельзя все свести к литературному влиянию. Главное здесь в общности и неизменности косного и враждебного подлинной человечности быта, описываемого тем и другим писателем, в общности типа бурсака, вырабатывавшегося условиями и системой не только педагогической, но и социальной. Сам Мамин-Сибиряк не только не ощущал

влияния Помяловского, но полемизировал с ним. В набросках к заключительной главе «Записок семинариста», о которых мы говорили выше, Мамин-Сибиряк писал: «По очеркам бурсы Помяловского, по разным другим произведениям этого рода о семинаристе составилось совершенно ложное понятие с физической, нравственной и умственной стороны. Вся ошибка в пристрастном взгляде на предмет, от которого не могли избавиться люди самые серьезные, несомненно, талантливые и горячо желавшие обратить внимание общества на погибающих»[1]. Писатель считает, что «Очерки бурсы» способствовали созданию в уме читателей искаженного облика бурсака, заставляли обратить внимание на такие стороны его характера, которые не составляют истинной его сути. Бурсак воспринимался как «нечто неуклюжее, неловкое, но здоровое, умное, с железной, специально семинарской закалкой характера и железным организмом, закаленным в горниле alma mater — бурсы». Мамину-Сибиряку кажется, что «это печальное заблуждение» разделяют сами семинаристы, считающие себя «героями по преимуществу». Один из таких семинаристов выведен писателем в очерке «Худородные». Это отец Николай, впервые познакомивший автора с бурсой и с восторгом читавший «Очерки бурсы» Помяловского. «Особенно мастерски читал о. Николай очерки бурсы Помяловского,— пишет Мамин-Сибиряк,— причем взрывы неудержимого хохота надрывали все существо о. Николая, и он долго и дико хохотал, закинув назад голову и придерживая руками живот». Плебейская гордость Помяловского и его бесстрашие в изображении быта могли восприниматься некоторыми читательскими кругами как утверждение «особого склада» бурсаков, людей железной натуры. В самом деле, и образ Аксютки-вора, и Гороблагодатского, и Карася, объявившего «навеки нуль», свидетельствовали не только и не столько об извращающей человека силе крепостнической школы, сколько о нежелании молодой демократии подчиняться обстоятельствам, оставаться в плену нивелирующей, сковывающей мысль схоластической науки, уживаться с воспитателями, представляющими полицейское государство.

Мамин-Сибиряк в своих очерках о бурсе все внимание уделяет тем пережиткам крепостничества в педагогике, которые мешают умственному и нравственному развитию интеллигентных представителей народа.

«Плебейская гордость» демократов шестидесятых годов в конце семидесятых годов, когда демократы-разночинцы уже вытеснили дворянскую интеллигенцию, воспринималась Маминым-Сибиряком как малоуместная, ослабляющая критику тех общественных институтов, которые мешали развитию человеческой личности, уродовали ее. В очерках о бурсе он не ставил перед собой задачу показать формирование характера вопреки полицейски-крепостнической системе воспитания и образования и в противодействии ей, как это делал Помяловский. Он лишь показывал, как эта система уродует человека.

В «Семье и школе» и в «Сорочьей Похлебке» автор нарочито скрупулезно повествует о быте бурсы. Такая детальность и кажущаяся безыскусственность повествования являются здесь художественно оправданным приемом. Жизнь бурсы ужасна именно тем, что все здесь незначительно и ничтожно, окутано тиной удручающих ме-

---

[1] «Урал», Сборник «Зауральского края». Екатеринбург, 1913.

лочей, из «отчаяния скуки» рождается озорство, заканчивающееся трагически.

Писатель рисует физические страдания бурсаков, вечно голодных, истязаемых и мучимых. Бурсацкий голод дает возможность «безбедного» существования инспектору училища, который обкрадывает несчастных детей, отданных на его попечение. Но не это главное. У Мамина-Сибиряка и эти обстоятельства и вечная борьба бурсы с ненавистным ей начальством раскрываются как отражение системы общегосударственной. «Начальство» выступает в качестве полицейской силы, не способной проникнуть во внутреннюю жизнь бурсы, не ставящей цели подлинного воспитания человека. Интриги, стремление к спокойному, сытому существованию, ложь и фальшь, соблюдение формы, слепое следование традициям характеризуют все поведение Сорочьей Похлебки. Этот «пастырь божий» и воспитатель детей, сводя счеты с смотрителем училища, ставит под удар несчастного мальчика, принятого бурсой за ябедника. Бессердечие и лицемерие Сорочьей Похлебки раскрыты в очерке глубоко и выразительно.

Внутренняя жизнь бурсы, как показывает Мамин-Сибиряк, подчинена общему закону буржуазно-крепостнического общества, где господствует угнетение и порабощение. В «Семье и школе» быт квартирных воспроизводит эти отношения господства силы и произвола. Унижаемые и оскорбляемые проходят школу жестокости и становятся сами унижающими и оскорбляющими. И дело не в природе человека, а в тех отношениях, которые складываются и низводят человека до степени самого страшного животного. Безнаказанное издевательство над слабыми ведет к полной нечувствительности к чужим страданиям, к чужому горю. Разгульная сила одних подавляет других до полной приниженности, до идиотизма, безнаказанность ведет к уголовному преступлению, к убийству. Писатель подчеркивает, что дело не в этих из ряда вон выходящих событиях — они лишь иллюстрация общего положения, а в постоянной, каждодневной, отупляющей системе. Он говорит: «Эта зараженная атмосфера действует на человека не силой, а продолжительностью действия, она незаметно, день за днем втягивает в себя, пригибает к земле, прививая попавшим в нее весь тот яд, которым сама она переполнена до краев. Самая крепкая, самая железная организация не выдерживает этой атмосферы. Под таким давлением живые силы приходят в апатию, хорошие задатки глохнут, характер искажается. И вот перед вами человек, который потерял все хорошее, чем его наделила природа».

Бессмысленное зазубривание схоластических учебных дисциплин, не связанных с жизнью, «до последней степени вредно действует на детский ум, заглушает самостоятельность мысли или придает ей такие формы, что лучше бы ей совсем и не родиться на свет, а задохнуться до рождения»,— пишет Мамин-Сибиряк. Ряд картин, очень ярко нарисованных, подтверждает это положение писателя.

Они, эти будущие «духовные наставники», «пастыри божии», показаны как не имеющие никаких убеждений, цинически относящиеся к религии, истязатели, развратники и пьяницы. Приговор был сильным и непримиримым тем более, что читателям была ясна связь порядков, царящих в школе, с системой общественных отношений и политических институтов. В конспекте «Главы итогов», завершающей план «Записок семинариста», Мамин-Сибиряк прямо ставит

бурсу в один ряд с такими институтами. Он пишет: «Время бурсы миновало, ее историческая роль миновала, и ее пора так же сдать в архив, как сданы крепостное право, старые суды».

В «Семье и школе» заключительная сцена с гражданином Затыкиным, очевидно, была нужна Мамину-Сибиряку также для того, чтобы связать воедино бурсацкие нравы с общей «нормой» быта обывателей Российской империи.

Мамин-Сибиряк страстно выступает в защиту человека. Личный тон, глубокая взволнованность подчеркнуты в прямых публицистических отступлениях, где автор поднимается до лирической прозы. Так, он пишет: «И долго еще не поймут люди, что есть преступления, хотя и не пролито тут крови, что есть преступники, которым мало места в каторге, хотя они во всю свою жизнь не пролили, может быть, ни одной капли крови, не отрезали ни одной головы. И доживают эти люди тихо и спокойно свой век, доходят они до больших чинов и почестей, и отдают и будут еще долго отдавать им отцы и матери своих детей, тех детей, для которых они не пожалеют своей жизни, для которых сами живут, в которых все их богатство, счастье, будущность, которые для них все в здешней жизни... Встаньте же, отцы и матери, подымите ваши головы, подайте голос и потребуйте отчет за своих детей. Вы имеете право на такой отчет, потому что вы отдали этим людям самую дорогую часть самих себя».

Мамин-Сибиряк понимает, что «никакие преобразования, никакие стремления благодетельного начальства и хороших учителей, ничто не в силах уничтожить тот букет, который выращивался в бурсе чуть не веками». Он, как и революционные демократы, противопоставлял казенной полицейской школе домашнее воспитание, воспитание, связанное с жизнью, ее интересами и задачами. Взволнованно говорит он: «Только жизнь, настоящая жизнь, жизнь с ее горем и радостями, надеждами и интересами, с ее смехом, слезами могла пробудить в бурсаке, изуродованном, придавленном — человека. Только на этот сильный зов могло еще ответить и отозваться в гибнущих людях то, что осталось в них человеческого». Он с большой любовью говорит о семье, как пристанище измученных и забитых бурсаков.

В последующем духовная школа претерпела мало изменений. В литературе девятисотых годов тема бурсы снова занимает значительное место.

И Мамин-Сибиряк в самом конце девяностых годов вновь возвратился к воспоминаниям о детстве и в главе «Отрезанный ломоть» книги «Из далекого прошлого» (1902 г.) рассказал о духовном училище, где он воспитывался два года.

Общественные позиции, на которых стоял Мамин-Сибиряк, к этому времени очень сильно изменились, и это сказалось на освещении бурсы. Теперь Мамин-Сибиряк пишет мемуары, и на всей книге лежит отсвет элегических переживаний. Многие характеристики оказались ослабленными, многое совершенно исчезло. Следует заметить, что Мамин-Сибиряк не перерабатывал старых рукописей. Они остались в Екатеринбурге после отъезда писателя в Петербург в 1891 году. И тем не менее в этих очерках много совпадений с мемуарами «Из далекого прошлого». Эти совпадения, очевидно, объясняются единством освещаемого материала. В основе повествования теперь лежала мысль о возможности все перенести, все преодолеть, вера в

добрые качества бурсаков. Характерно, что фигура Сорочьей Похлебки — инспектора такая яркая в одноименном очерке начала восьмидесятых годов, теперь рисуется в примирительных тонах, деятельность его на воспитательном поприще почти совсем реабилитируется. Мамин-Сибиряк пишет: «Учителя и училищное начальство были людьми гуманными и просвещенными».

В очерках конца семидесятых годов писатель говорил о чудовищных избиениях бурсаков во время занятий, о жестоких наказаниях розгами, которым подвергались бурсаки. Теперь же он говорит, что за два года училищной жизни ему только раз пришлось слышать крики наказываемых бурсаков.

Сохраняя в общем прежнюю характеристику казеннокоштных воспитанников, как собственно настоящих бурсаков, он находит оправдание бурсачеству в том, что здесь «требовали выхода» «известное молодечество, удаль и молодой задор». Он сравнивает бурсу с Запорожской сечью, где вырабатывалось своего рода казачество».

Значительно мягче краски на картинах быта. Сняты упоминания о зверских издевательствах бурсаков над товарищами, которые иногда завершались убийством, о кощунстве, пьянстве и разврате. В новых мемуарах все выступило в значительной мере смягченным, облагороженным. Думается, что в этом сказалось и изменение идеологии писателя, эволюционировавшего вправо, и в еще большей степени изменение адреса очерков: раньше они были обращены к отцам и матерям, а теперь к детям. Естественно, что не учитывать педагогических требований писатель тоже не мог.

Эти обстоятельства заставляют рассматривать очерки о бурсе как самостоятельные произведения, а не как начальные редакции мемуаров конца девяностых — начала девятисотых годов. Если мы публикуем близкие по сюжету и материалу произведения, как «В камнях», «Бойцы» и «На реке Чусовой», в значительной мере повторяющие друг друга, то еще больше есть оснований публиковать «Сорочью Похлебку» и очерк «Семья и школа». Написанные в момент обостренных поисков, идейных и литературных, они выражают стремление писателя к «трезвой правде» и тому бесстрашию в постановке социальных вопросов, которым характеризуется русская литература. В неоднократно цитировавшихся материалах к «Запискам семинариста» Мамин-Сибиряк писал: «Я понимаю, что слишком смело касаюсь исторической язвы нашей русской жизни... В подкрепление своих выводов и заключений я не придумываю фактов, не насилую свою фантазию и не ввожу в заблуждение читателей, а только почерпываю из моей памяти все то, что испытал сам, видел и слышал». Нет оснований брать под сомнение искренность этого высказывания писателя. Следовательно, смягчение тона повествования в мемуарах «Из далекого прошлого» есть в то же время некоторое отступление от истинного и глубокого раскрытия одной из сторон действительности. Более поздние мемуары Мамина-Сибиряка, нет никаких сомнений, произведение, свидетельствующее, о мастерстве большого художника. В этом отношении и «Сорочья Похлебка» и в особенности «Семья и школа» представляют лишь начальные шаги писателя, несомненно, талантливого, способного дать яркую деталь или бегло очертить запоминающийся характер, но не обладающего мастерством завершенной и строгой композиции.

Последний из публикуемых очерков — «Худородные» — посвящен быту семинарии, в которой Мамин-Сибиряк учился в 1868—1872

годах. Написанный ранее других очерков о бурсе, он не обладает достоинствами большого художественного произведения. В нем отразилось лишь становление писательского мастерства Мамина. В очерке есть колоритные сцены, яркие характеристики, но композиционно он не слажен. Автор еще не справлялся с идейно-целеустремленной организацией материала, далеко не всегда был способен соблюсти художественные пропорции эпизода и целого. Тем не менее очерк «Худородные» представляет большой интерес как свидетельство писателя-демократа, в почерке которого чувствуется будущий незаурядный художник, об одной из сторон жизни духовной школы. В очерке раскрываются существенные и важные обстоятельства, в которых формировалось мировоззрение Мамина-Сибиряка и других видных деятелей русской культуры. Ведь из стен этой школы вышли изобретатель радио А. С. Попов, географ, путешественник и писатель К. Д. Носилов, известный профессор-химик Яковкин, гигиенист Хлопин и др.

Очерк имеет два своеобразных введения. В первом введении автор, рассказывая о начальном знакомстве своем с семинарией по книгам Гоголя и Помяловского и по воспоминаниям бывших бурсаков, знакомит читателя с историей учебного заведения, о котором пойдет речь. Следует заметить, что присущий зрелому художнику Мамину-Сибиряку историзм в подходе к явлениям и их оценке уже намечается в «Худородных». Здесь он очень широко и исторически точно говорит об основных периодах в развитии семинарии. В двадцатые-тридцатые годы бурсаки-семинаристы, писавшие сочинения на латинском языке, вместе с тем составляли тот «героический» элемент, который будоражил сонную жизнь провинциального города и держал в страхе семинарское начальство. Официальный историк семинарии, ее ректор Лаговский, приводит факты, когда в разбойном поведении уличались будущие священнослужители, воспитанники семинарии. Естественно, что И. Лаговский говорит об этом конфузливо, сокрушаясь по поводу столь «прискорбных в летописи семинарии» явлений. Мамин-Сибиряк видит в этом одно из проявлений протеста против крепостнической действительности. Так он рассматривает и разбойничество в жизни крепостного Урала.

Второй период — это конец пятидесятых и начало шестидесятых годов. Он говорит об этом времени с тихой и светлой грустью, с глубоким сочувствием. По сравнению с первым периодом изменились и формы протеста. Выступили на сцену как идеологическая сила революционеры-разночинцы. Влияние их очень глубоко проникло в семинарию. Он пишет: «Это было то время, когда умственное движение разом охватило всю семинарию, когда семинарские профессора подали руку семинаристам, когда семинаристы зараз выставили целый ряд светлых голов, свою гордость и славу». Здесь писатель говорит о действительных событиях в жизни Пермской семинарии 1858 — 1862 годов.

В это время в семинарии были близкие к революционно-демократическим кругам преподаватели, среди которых видное место занимал Алексей Моригеровский. Он был организатором революционно-демократического кружка семинаристов, связанного с существовавшей в городе группой революционеров-просветителей, руководимой бывшими профессорами семинарии А. И. Иконниковым, и А. Г. Воскресенским. Воскресенский был уволен из семинарии «за вольнодумство». Городская группа вела активную практическую

работу, привлекая семинарский кружок к распространению прокламаций. В середине мая 1861 года кружок был раскрыт, его руководитель А. Моригеровский выслан в Тотьму, многие семинаристы исключены из учебного заведения и за ними был установлен полицейский надзор. Ряд преподавателей семинарии продолжал работу в составе кружка Иконникова и Воскресенского, пока этот кружок тоже не подвергся разгрому при попытке отпечатать нелегально прокламацию «Что нужно народу»? — программу революционно-демократической организации шестидесятых годов «Земля и Воля». Александр Иконников и ряд бывших семинаристов, участников кружка, были административно высланы «в отдаленные города». Учителя семинарии Емельянов, Лавров, Парадизов-Мельтов, отданы под надзор полиции, а затем уволены из семинарии [1].

Мамин-Сибиряк вступил в семинарию в 1868 году, и по его показанию в то время еще «от этого движения остался широкий след в истории семинарии, рассказы и воспоминания, от которых у честных и умных людей болезненно билось сердце об умных и честных людях, попавших под колесо, раздавившее их». Реакция, наступившая в стране во второй половине шестидесятых годов, производит на писателя гнетущее впечатление и вызывает его протест. Он говорит: «За этим наступило темное и грустное время для семинарии. Беспощадный террор надолго и с большой силой сжал ее, даже самый воздух, заключенный в семинарских стенах, проникся, кажется, неудержимым стремлением давить и глушить малейшие проблески зарождавшейся мысли». Но и в условиях тяжелого гнета, как рисует Мамин-Сибиряк, семена, брошенные в землю революционерами-разночинцами, не пропали даром, не заглохли совершенно, хотя и не имели благоприятной почвы для развития.

Второе введение в очерк — это картина семинарского литературного вечера. Писатель не говорит, когда был вечер, сцена выпадает из общего тона бытописания, она предваряет другие картины, рисующие преимущественно иные стороны семинарской жизни. Очевидно, в этой сцене Мамин-Сибиряк хотел показать единство сохранившихся передовых стремлений и того печального положения, при котором молодые силы, скованные в своих стремлениях, находят выход в «поголовном пьянстве». Сцена литературного вечера на первый взгляд не имеет большого значения. Писатель рассказывает, как выступают семинаристы с чтением двух стихотворений, второй из них — пьян. Но произведения, о которых идет речь, очень примечательны. Первое стихотворение «Работай, работай, работай» принадлежит Томасу Гуду и переведено М. Л. Михайловым. Как рефрен повторяются в стихотворении слова, приведенные писателем. В стихотворении говорится о тяжелой доле трудящихся, отдающих работе жизнь и получающих в обмен нищету и безотрадную жизнь. Переводчик «Песни о рубашке» М. Л. Михайлов, видный революционер-демократ, один из друзей Н. Г. Чернышевского, был загублен царским правительством на каторге в 1865 году. Чтение стихотворения в защиту трудящихся, переведенного «государственным преступником», память о котором была еще свежа в сознании разночинной демократии, свидетельство того, что семинария в период обучения в ней Мамина-Сибиряка сохранила память о героической

[1] См. Ф. С. Горовой. Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в 60-х годах XIX века. Пермь, 1952.

эпохе начала шестидесятых годов. Второе же стихотворение, из которого писатель приводит последнюю строчку,— это стихотворение Н. А. Некрасова, поэта революционной демократии. Оно по содержанию гармонировало настроению разночинцев, стремлению, к защите интересов народа и сознанию невозможности активного действия, горькой оценки этого бездействия. Вместе с тем оно раскрывает причины того пьянства семинаристов, которое будет описано Маминым-Сибиряком на ряде страниц очерка. Строки поэзии Некрасова служат в очерке раскрытию одной из центральных идей «худородных» и показывают связь настроений, владевших семинаристами в бытность писателя в семинарии, с революционно-демократической линией русской общественной мысли. Последующая реакция слушателей — и профессора, и семинариста, одинаково в тот же вечер напившихся, говорит о глубокой тоске и неудовлетворенности, ведущих к падению, равнодушию и гибели.

В ряде дальнейших эпизодов Мамин-Сибиряк показывает развитие передовой мысли под влиянием прочитанных книг. Он называет Писарева. Под впечатлением его статьи «Наша университетская наука» происходит освобождение автора очерка от уважения к той мертвечине, которую «выкапывают святые отцы». Писарев помог сформулировать то, что уже жило в сознании, но не могло найти четкого выражения. Революционно-демократическая мысль способствовала также изжитию остатков религиозности. Мамин-Сибиряк пишет: «Я маленьким был очень религиозен, в училище эта религиозность не покидала меня. Теперь никак не могу припомнить тот момент, когда совершился переворот в моих религиозных убеждениях. Помню только, что сойдясь с Рязановым, я вел себя уже как атеист».

Рисует писатель и формирование буржуазно-прогрессистских взглядов среди некоторой части семинаристов. Он горячо выступает против своего приятеля, который увлекается Смайльсом, английским буржуазным публицистом, проповедовавшим, что социальное неравенство в современном ему обществе лишь результат неравенства ума, энергии, настойчивости и организованности. В конспекте «Записок семинариста» он также с горечью говорит о появлении в среде разночинной интеллигенции благополучных и сытых буржуазных обывателей.

Следует знать, что упоминаемые Маминым-Сибиряком книги были совершенно запретными для семинаристов, и они могли знакомиться с ними только благодаря нелегальной библиотеке, сохранившейся у семинаристов с начала шестидесятых годов. Писатель ничего не говорит о библиотеке, но упоминая о таких книгах, как сочинения Писарева, он дает знать, что никакие преграды и препоны не могли помешать проникновению передовой демократической мысли в семинарию.

Однако писатель не забывает о другой стороне быта семинарии в эпоху реакции. В очерке он пишет: «Странное время, странные люди. Очертя голову бросались они в бездну разгула, безжалостно превращая в пепел свои лучшие силы. Они возвели пьянство и разгул в какой-то культ, они были артистами и поэтами пьянства... Да, это были люди, сильные и честные люди; они день за днем отравляли себя, отнимая по каплям здоровье и разум, пока не сравнивались с остальной мелочью и не заживали ее мышиной жизнью, с микроскопическими интересами, с телячьими радостями, огорчениями и

надеждами. Но мало было таких, большинство испило до дна, не останавливаясь на полдороге, и полегло костьми в безвременных могилах, оставив окружающих в большом недоумении, что их столкнуло туда».

В основных главах очерка писатель останавливается главным образом на мелком, гнетущем быте, на сценах пьянства. Легко заметить, что в частных картинах отсутствует та большая мысль о глубоких социально-политических причинах жестоких запоев, которая была высказана в введении. В этом тоже сказались недостатки писательского мастерства Мамина-Сибиряка, пытавшегося разработать тему в конце семидесятых годов. Местами автор так увлекается описанием деталей, что это мешает ему объективно оценить значение события, эпизода. Тем не менее в очерке есть много бытовых сцен, нарисованных красочно и выразительно, дающих хорошее представление о том, какую тяжелую школу пришлось пройти писателю.

Большой интерес представляют также портреты преподавателей семинарии, учителей Мамина-Сибиряка. Почти все наставники, даже те, которые по показаниям некоторых свидетелей сыграли роль в становлении Мамина-Сибиряка как писателя, в очерке изображены иронически, они рисуются как люди, совершенно чуждые учащимся. Общая мысль о разобщении интеллигенции, придавленной реакцией, рисуется в образах учителя словесности и инспектора семинарии Игнисова. В характере последнего намечена эволюция некоторых разночинцев, когда-то близких к революционно-демократическим кругам, в направлении к либерализму и обывательщине.

В очерке, где правильно были оценены отдельные этапы в жизни школы, подготовлявшей разночинную интеллигенцию, Мамин-Сибиряк не смог также отчетливо определить ведущую тенденцию периода, к которому относятся события, описываемые в очерке. И следование традициям революционной демократии, и бытовой нигилизм, и падение в пьянстве — все это сосуществует, не определяя целого характера, с которым писатель еще не мог справиться. Отсюда и та композиционная нечеткость, о которой мы говорили. Тем не менее очерк — интересный литературный документ эпохи.

Написанные в начале активного творческого пути писателя «Очерки старой бурсы» не являются высоким художественным достижением Мамина-Сибиряка, талант которого, по определению А. М. Горького, «всюду крупен и ярок», но в них чувствуется будущий незаурядный художник.

Книга очерков расширяет наше представление о творчестве талантливого демократического писателя, поднимающего взволнованный голос художника против такой системы человеческих отношений, которая превращает человека в «самое страшное животное», той системы, которая еще живет в мире капитализма. Интересный и жизненно достоверный документ, она раскрывает новые стороны сложного процесса формирования личности писателя, высоко оцененного дооктябрьской «Правдой» и отмеченного В. И. Лениным как одного из глубоких реалистов.

И. Дергачев.

СОРОЧЬЯ ПОХЛЕБКА

Очерк

Публикуется по рукописи, хранящейся в Государственном архиве Свердловской области (ф. 136, оп. 1, д. 80) с исправлением ошибок переписчика по автографу, хранящемуся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 21). Пунктуация приведена к современной норме.

Рукопись, хранящаяся в Государственном архиве Свердловской области, представляет беловую копию с незначительной авторской правкой. Очерк здесь называется «Фунтик». На первом листе в надзаголовке надпись-автограф: «Дмитрий Наркисович Мамин. Офицерская улица, д. Черепанова в Екатеринбурге». Подпись Д. Сибиряк. Эпиграф также написан рукой Мамина-Сибиряка.

В авторской рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, заглавие «Сорочья Похлебка» и подзаголовок «Очерк современной бурсы» зачеркнуты, сверху надписано: «Мученики науки». Очерки переходного времени бурсы.

Этот очерк под названием «Сорочья Похлебка» был послан писателем в журнал «Вестник Европы» 28 июня 1882 года одновременно с рассказом «В худых душах», о чем Мамин-Сибиряк пишет редактору журнала М. М. Стасюлевичу[1]. Рассказ «В худых душах» напечатан в декабрьском номере журнала за 1882 год. «Сорочья Похлебка» не была принята редакцией.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранились еще две рукописи, представляющие варианты начала очерка. Они имеют заглавие «Сорочья Похлебка» и подзаголовок «Из последних дней сибирской бурсы». На одной из рукописей в подзаголовке указан адрес: «Дм. Нарк. Мамин. Москва. Тверской бульвар, д. Ланской». В доме Ланской Мамин-Сибиряк жил во время вторичного пребывания в Москве с августа 1885 по май 1886 года. Таким образом, Мамин-Сибиряк продолжал работу над очерком в 1885—1886 годах. Очевидно, мысль увидеть очерк в печати не оставляла его.

Среди творческих записей и набросков к произведениям «Гор-

[1] Д. Н. Мамин-Сибиряк, Собрание сочинений в восьми томах, Гослитиздат, т. 8 М., 1955, стр. 626.

ное гнездо», «Жилка» [1] находится и план интересующего нас очерка. Приводим его полностью:

I. Мать привозит сына «на выучку».
II. Первый день в бурсе.
III. Жизнь бурсы. Порша, Малинник.
IV. Учение Феди до рождества.
V. Рождество: бурса забавляется.
VI. Война с Сорочьей Похлебкой. Весна.
VII. Ябедник.
VIII. Наказание ябедника.
IX. Исключенные в кабаке у Порши.
X. Мать.

Судя по месту плана среди других заметок писателя, он относится к 1883—1884 годам. Одна из рукописей 1885 года представляет попытку развить очерк по этому плану. Здесь подробно описывается, как мать привозит сына в духовное училище, набросан образ вдовы, живущей лишь надеждой на хорошее будущее сына. План, за исключением I и X глав, почти полностью соответствует внутреннему плану очерка, публикуемого нами. Во втором варианте 1885 года Мамин-Сибиряк хотел более широко развить характер инспектора — Сорочьей Похлебки. В материалах, о которых говорилось выше, имеется список действующих лиц очерка. В этом списке бурсаки имеют те же прозвища, что и в публикуемых произведениях. Сорочья Похлебка в списке — о. Евтихий Пирамидов. Вместо смотрителя отца Мелетия — о. Пармен. Автор вероятно, предполагал шире осветить деятельность учителей: кроме Сорочьей Похлебки, указаны еще учителя Омега, Семитка-пас, Детраго. Шире должен был быть изображен внеучилищный фон. В списке есть и отец героя Гриши Соболева и его мать Васса Егоровна, хозяин постоялого двора Митрич, Аркашка-кабатчик, Никифор Максимович Поршнев и ряд других.

По каким-то причинам дальнейшая работа над очерком была прекращена. Однако все это показывает, какое внимание уделял Мамин-Сибиряк очерку «Сорочья Похлебка», как настойчиво пытался довести его до печати.

Мы сохраняем заглавие «Сорочья Похлебка», как последнее авторское заглавие. Следует считаться и с тем, что очерк был представлен автором в журнал «Вестник Европы» также под этим заглавием.

Очерк «Сорочья Похлебка», не мог быть напечатан в эпоху реакции восьмидесятых годов не только по цензурным условиям. Редакция «Вестника Европы» в 1882 году уже отказалась печатать рассказ Мамина-Сибиряка «Нимфа» [1], написанный «в новейшем вкусе» Золя. «Сорочья Похлебка» могла быть не принята редакцией по этим же соображениям: элементы натурализма в ней есть, что, правда, не делает очерк натуралистическим. Были вместе с тем и более глубокие причины. Журнал был органом либерализма, и его редакция не могла разделять взглядов Мамина-Сибиряка на степень актуальности вопроса о бурсе, ей, несомненно, претил тот плебейский пафос, ненависти, который звучал в очерке. Не могла

[1] Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 51.

редакция либерального органа печати согласиться и с отношением писателя к консервативным и либеральным воззрениям и действиям, как одинаково вредным, что нашло выражение в образах смотрителя училища и инспектора — Сорочьей Похлебки.

Стр. 7. Бюффон, Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории» в 36 томах, вышедшей в 1749 — 1788 годах.

Стр. 11. Он был известен в бурсе под именем Сорочьей Похлебки...

Как указывает сам писатель в воспоминаниях «Из далекого прошлого», такое прозвище было дано инспектору, так как он уверял бурсаков, что знает все. По народному же поверью, для того чтобы знать все, надо есть сорочьи яйца.

Стр. 15. ...сигналик гласа седьмого... Образец церковного напева, тональность которых разделялась на восемь разных звукопорядков.

Стр. 19. ...пришипилась,— притаилась, присмирела.

Стр. 31. Любимой пьесой был известный «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольфий»... Так называемая народная драма, широко распространенная и известная во многих записях. Уральский вариант см. в кн.: В. Бирюков «Урал в его живом слове», Свердловск, 1954, и в его же сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердловск, 1936. По указанию П. Н. Беркова («Русская народная драма XVIII — XX веков», изд. Искусство, 1953) «организаторами и хранителями российских комедий» типа «Царя Максимилиана» были учащиеся духовных учебных заведений. Попадая в народную среду, эти драмы наполнялись новыми сатирическими мотивами. В духовном училище семидесятых годов она могла существовать и в силу внутренней традиции учебного заведения и, скорее, в связи с тем, что заводские и сельские поповичи, хорошо знакомые с народным бытом, привозили с собой в училище фольклорные произведения. Факт постановки такой народной драмы в духовном училище в XIX веке указан только у Мамина-Сибиряка в данном очерке.

Стр. 32. ...к другой пьесе «Разбойники» неизвестного автора... По всей вероятности, народная драма «Шайка разбойников», известная в записях на Урале. См., например К. С. Копысова. Уральские песни и сказания. Свердловск. 1947.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Печатается по рукописи, хранящейся в Государственном архиве Свердловской области (ф. 136, оп. 1, д. 85), с названием «Отрезанный ломоть». Сверена также с рукописью-автографом «Семья и школа»... (ф. 136, оп. 1, д. 84). В рукописи «Отрезанный ломоть» первая часть соответствует пунктам 1 и 2 третьей части плана «Записок семинариста»[1], вторая же представляет отредактированный и переписанный набело законченный раздел рукописи «Семья и школа», посвященный годам пребывания автора в бурсе. Две эти части соединены в одной тетради чисто механически и, по-видимому, случайно.

Заглавие этой объединенной рукописи «Отрезанный ломоть» написано по наклеенной сверху бумажке. Под ней читается заглавие

---

1 См. послесловие.

«Худородные», несомненно, относящееся только к первой части рукописи. Новый заголовок «Отрезанный ломоть», по всей вероятности, должен был заменить лишь заглавие первой рукописи и не относился ко второй, сброшюрованной вместе с первой. В связи с этим мы считаем возможным оставить заглавие, данное в первоначальной рукописи-автографе, предупредив читателя, что окончательной авторской обработке подверглась только та часть рукописи, которая посвящена жизни бурсы, главы же, где рисуется раннее детство, не доработаны. Вместе с тем при переписке и редактировании второй части рукописи «Семья и школа» писатель перенес ряд эпизодов, картин, характеристик из первых глав в обрабатываемые, как своеобразные отступления.

Наиболее интересные в биографическом плане отдельные места текста первых глав рукописи мы приводим здесь.

В рукописи «Семья и школа» после ряда незначительных эпизодов, сохранившихся в памяти от самого раннего детства, идут тепло нарисованные портреты отца и матери писателя:

«Мой отец был высокий, статный мужчина, с окладистой бородой, с густыми волосами, рассыпавшимися по плечам. У него были небольшие серые глаза, которые так спокойно всегда смотрели из-под густых бровей. Мой отец был самый спокойный человек, какого мне приходилось встретить. Это спокойствие не было вынужденным, от него не веяло холодом, нет, это была какая-то сила, она чувствовалась окружающими, особенно влияние ее отражалось на женщинах и детях. Мой отец не пил вина, не курил, не играл в карты, и вообще не допускал в своей жизни ничего, что носило на его языке название «прихотей». Отец кончил курс в семинарии в сороковых годах. О времени его ученья я ничего не знаю, кроме того, что отдали его учиться, когда ему было еще только восемь лет, и отдали прямо в бурсу. По окончании курса семинарии мой отец тотчас же должен был жениться, так как неженатых не посвящают в священники. Соображения, которыми руководился отец при выборе себе подруги жизни, заключались главным образом в том, чтобы не делать неровной партии. Товарищи отца гонялись за богатыми невестами, за влиятельными родственниками, мой отец был сын дьякона и взял дочь дьякона, сироту, рано потерявшую мать. Я не думаю, чтобы та или другая сторона могла быть недовольна заключенным союзом. Тихо и мирно жили эти люди, добросовестно несли свои обязанности, и я всегда с удовольствием вспоминаю об этой жизни, и думаю, что недаром сказано об уменьи распорядиться хорошо тем малым, что выпадает на долю человека.

Моя мать по характеру походила на отца. У ней были большие карие глаза, которые и я получил по наследству. Ее выпуклый лоб оттенялся густыми каштановыми волосами, всегда гладко причесанными. Эти волосы были так густы, что мать не раз отрезывала целые косы в видах экономии времени, уходившего на нас и на хозяйство. Мать никогда не ласкала нас с братом. Я не слыхал от нее более нежного названия, кроме обыкновенного Мити, ни в минуты радости, ни в минуты гнева.

Моя мать рано очутилась сиротой. На ее руках лежало небольшое хозяйство сельского дьякона с восьми лет. Эта постоянная трудовая жизнь рано столкнула ее с людьми и выработала тот характер, для которого немыслима жизнь без работы. Ее образование в

родительском доме ограничивалось уменьем читать, писать, первыми правилами арифметики и чтением душеполезных книг. Я всего этого, конечно, не помню и застал свою мать с газетой в руках, с развернутой книгой на коленях. Это чтение производилось обыкновенно за чаем, когда мать отдыхала от трудов по хозяйству, или же в постели. Мать любила пить чай, она подолгу просиживала перед самоваром, глядя к книгу, раскинутую на коленях или на столе. Мать редко улыбалась, она мало говорила.

Я не слышал, чтобы она применяла в своем разговоре вычитанные мысли и фразы, но она много думала над прочитанным, и ее глаза, оторвавшись от книги, подолгу останавливались на одной какой-нибудь точке. Налитая чашка стыла, мать не слыхала, что творилось около нее, и на нашу долю с братом выпадало выводить ее из этого состояния, что исполнялось нами самым блистательным образом, так как недостатка для ссор и всевозможных печальных недоразумений у нас не чувствовалось.

Стр. 66. Дело в том..., что наш дедушка не соглашается с нами и не советует отдавать нас в гимназию...

Главным препятствием к поступлению в гимназию Д. Н. Мамина и его брата Николая было то, что для этого надо было выйти из духовного сословия. В случае смерти отца это означало отсутствие права на получение хотя бы нищенской пенсии и на казанное содержание в духовном училище. Такие правила были введены церковниками, чтобы хоть сколько-нибудь удержать в духовном звании молодежь, стремившуюся в гимназии и презиравшую «службу» духовного сословия.

Стр. 66. Отец дьякон, родитель Тимофеича...

Николай Тимофеевич Архангельский, сын Висимского дьякона, учился в духовном училище вместе с старшим братом писателя. В очерках он везде носит имя Тимофеич.

Стр. 67. ...то из философского класса можно будет выйти и поступить в университет...

Как известно, Мамин-Сибиряк, действительно, вышел из семинарии, не пройдя последних двух классов, которые объединялись до реформы семинарии в 1869 году в один, носивший название «философский». В этом классе изучались предметы, почти исключительно связанные с религиозным культом. Первые четыре года шло изучение общеобразовательных предметов.

Стр. 67. ...так как наш дед с материнской стороны...

Семен Степанович Степанов, священник в селе Горный Щит, в 16 верстах от Екатеринбурга.

Стр. 69. Скоро промелькнули два года в кругу родных...

Мамин-Сибиряк выдержал экзамен в старший класс духовного училища (класс был двухлетним) в 1864 году, но так как ему было только 12 лет, а духовное училище нормально кончали в 16 лет, то отец взял его домой, где он и прожил до 1868 года. Этот период хорошо освещен в рукописи «Семья и школа». Приводим отрывок из текста второй главы рукописи.

— Что, братец, видно, убоялся бездны премудрости и возвратился вспять, — смеялся надо мной о. дьякон, но я соображал, что мне очень выгодно убояться на время этой бездны и пожить дома.

Итак, я был снова дома и мог предаваться на свободе мирным занятиям. Свободного времени у меня было около двадцати четы-

рех часов в сутки, так как я был принят в училище и мне приходилось только повторять старое. Я пользовался теперь неограниченной свободой сравнительно с прежним и мог делать, что душе моей угодно. У меня был маленький братишка Володя, ему было года два, и он был отдан на мои руки, когда маме было некогда. Я с ним гулял, учил его говорить, многому другому, что было необходимо для первого раза.

Была осень, поэтому было много заботы в огороде. С какой радостью я копал картофель и сносил его в небольшой решетке в амбар. Физический труд на свежем воздухе после ученья мне казался таким приятным, что целый день проходил за ним незаметно. А какая сила чувствовалась после такого дня, какой аппетит появлялся, какая свежесть разливалась по всем членам. Отцу было некогда большей частью, так что все работы по хозяйству лежали на моей матери, и я помогал ей из всех сил. Я давал сено корове, носил воду и дрова, убирал во дворе, везде чистил и приводил в порядок, словом, сделался образцовым хозяином. Мать была довольна моей работой, а также и отец, а я всех более.

Свободное время проводилось на улице, где деревянный шарик целые вечера катался под ударами наших палок. Но на улицу ходить было не всегда удобно, начали перепадать дожди, сделалась грязь, и пришлось сидеть больше дома. Старшего брата не было, Володя был мал для меня, и я от нечего делать принялся за чтение книг Сказки и детские книги были прочитаны мной раньше, а потому я начал пользоваться всеми книгами, какие нашел в маленькой библиотеке отца.

Кроме того, у нашего управителя завода был большой выбор книг и при том он еще выписывал много журналов, отец брал у него книги и журналы. Периодические журналы меня мало интересовали, еще меньше газеты, иллюстрированные издания я любил только перелистывать и потом бросал. Но меня интересовали такие книги, как «Детские годы Багрова внука», и я просиживал над ними целые дни. Мать иногда заставляла меня читать вслух, но я любил читать про себя в своей комнате. Я пристрастился к чтению, и через мои руки прошли Гоголь, Тургенев, Помяловский, Загоскин и многие другие. По вечерам мать читала вслух «Фрегат Палладу» Гончарова, а я с отцом слушал, или читал отец, а я с мамой слушал. Мои научные занятия шли хорошо, только однажды я потерпел полное поражение на Деворе и Аароне. Семь раз шел я на приступ и семь раз был отброшен. Не знаю, что сделалось с моей головой, но Девора с Аароном никак не хотели занять в ней надлежащее место.

Время шло, и зима незаметными шагами подошла и засыпала все кругом мягким пушистым снегом. На окнах явились самые замысловатые фантастические узоры; в нашем саду деревья покрылись белым блестящим налетом. Захрустел снег под ногами, завизжал под полозьями саней, и потянуло из комнаты на улицу. Книги отодвинулись пока на задний план.

Была зима. Около нашего дома были навалены большие сугробы снега, так что из-за них выглядывала только одна крыша. Надев шубу, теплую шапку и рукавицы, я с салазками вышел на улицу. Товарищей никого не было, от нечего делать, я забрался на один из сугробов, сел на самый верх и поглядывал по сторонам. Сверху

густыми мягкими хлопьями тихо валился снег, и я смотрел, как он мало-помалу закрывал все белой блестящей пеленой.

— Ты что тут сидишь, — закричал мне подкравшийся тихонько товарищ — сосед.

— Да так,— отвечаю я, а у самого так и повеселело на душе, что нашелся-таки один живой человек, с которым можно поиграть.

— А знаешь к нам приехал новый?

— Нет.

— У него есть сыновья, с одним я познакомился уже, славный парень. Вон он идет, хочешь, познакомлю?

— Давай, зови его сюда.

Незнакомец приближался к нам. Это был мальчик лет одиннадцати, небольшого роста, с бледным личиком, с зеленоватыми глазами. На голове надета зимняя котиковая шапка с бархатным верхом.

— Вот Костя, а это Митя, — рекомендовал нас товарищ.

Мы, как водится в этих случаях, осматривали друг друга с ног до головы, а потом подали руки и перешли к более мирным занятиям. К вечеру мы перезнакомились совсем крепко и держали себя как старые знакомые.

Снег перестал идти, над Уралом стояла чудная зимняя ночь. Синее небо, усеянное мириадами звезд, необъятным куполом поднималось над нашими головами. Мы втроем бегали с салазками во всю прыть наших ног. Вольно было дышать грудью, бойко переливалась кровь по жилам, и мы веселились, сколько хватало наших сил. Поздно вернулись мы все домой, крепко всем нам досталось за просроченное время, но мы мало обращали внимания на такие пустяки и были довольны своими подвигами. Так началось мое знакомство с неразлучным другом моего детства — Костей. Много радостей, много бед делили мы пополам, но не одни чувства работали в нас, работал и ум, работал характер. На все мы с Костей были искусники, состроить ли печь, пароход, самострел, змей, стоит обратиться к нам, и все готово. В предприимчивости тоже недостатка не было. Заберемся бывало на крышу, привяжем пистолет куданибудь к доске, обложим ватой и подожжем. Грянет выстрел, выйдет отец, по дыму откроет место действия и заставит нас уйти с крыши. Снова откуда-нибудь из-за дома раздается выстрел, снова является отец, мы снова кладем оружие до приискания более удобного места. Крепко нам доставалось за подобные проделки, но мы обращали внимание только на первую половину дела, а вторую скоро забывали.

С утра до ночи проводили мы зимний день на улице, домой являлись только есть и спать. Дела у нас был полон рот, потому что на нашей непременной обязанности лежала выделка избушек в снегу, где разводился огонь, галерей и ловушек. В такую ловушку мы однажды поймали отца дьякона, но мы отперлись, что знать ничего не знаем, ведать ничего не ведаем. Снежки, катанье на салазках или на льду сменялись одно за другим. Но самое лучшее, самое дорогое для нас удовольствие было катанье с горы. С быстротой ветра мчатся салазки вниз, бьет снегом в лицо, ветром прохватывает насквозь.

— Што, Костя, хорошо?

— Славно.

Но салазки покачнулись на полном ходу, и мы с Костей кубарем раскатились в разные стороны.

— Што, хорошо? — спрашиваю я Костю, а у самого снег попал за рубашку, тает там и холодной струйкой бежит по спине.

— Хорошо, — отвечает Костя, отскребая снег от физиономии и от одного уха.

— То-то ты, гусь, не шел давеча кататься.

— Сам ты гусь, — огрызался Костя.

Опять салазки наверху, опять мы вихрем летим вниз, опять небо кажется нам с овчинку. Спускается ночь. Шуба мокрая, руки покраснели, как у гуся, пальцы не сгибаются совсем, значит, довольно сегодня, пора по домам.

— Прощай, Костя.

— Прощай.

Тихонько отворяешь дверь в кухню, незаметно пробираешься на печку, снимаешь мокрые доспехи и начинаешь сам помаленьку оттаивать. В соседней комнате подан самовар, слышно, как побрякивают чашки и ложки. В комнате так тепло и уютно, самовар так добродушно ворчит на столе. Выберешь удобную минуту, проберешься незаметным образом и подсядешь к столу. Мать обернется и удивится явившемуся детищу, а детище сидит и так стремительно поглядывает кругом.

— Ты это откуда явился? — спросит мать,— мы думали с папой, что ты уж совсем у нас потерялся.

— Мы с Костей, мама, играли.

— Видно, что играли, шубу и сапоги хоть выжми.

Я молчу, потому что мне больше всякого другого известно то отчаянное состояние, в котором находятся в настоящую минуту некоторые принадлежности моего туалета. Я побаиваюсь, чтобы мне не досталось чего за излишнее усердие, но мать смотрит ласково, и я успокаиваюсь. Чай разлит, я беру свою чашку и наливаю самых густых сливок. Как хорошо пьется чай, как он согревает продрогшую душу. С третьей чашки делаешься другим человеком, как будто обновляешься. Одна за другой исчезают со стола беленькие булочки, родители смотрят по временам, как их детище уписывает за обе щеки, и любо родительскому сердцу. Долго бывало мать смотрит на меня, а потом задумчиво скажет:

— Где-то теперь наш Коля живет, поди, холодом и голодом.

Я молчу, ибо сытый голодного не разумеет. Приходит вечер, кое-как добираешься до своей кровати и засыпаешь сном праведника.

Время шло и подошло к святкам. Брат с Тимофеичем приехали домой на праздник. Я ждал их с нетерпением, хотя мне при брате приходилось вставать на заднее место, потому что он был гость, а я свой человек, и притом убоявшийся бездны премудрости. Тимофеич освоился отлично на новой почве и смотрел настоящим бурсаком. Он был ниже травы, тише воды при незнакомых или чужих, а в своем кругу ходил на голове. Брат оставался все таким же, он прекрасно умел копировать людей, и мы много хохотали над его рассказами об училище.

Святки на носу, мы с Костей в больших хлопотах, потому нужно все сделать, везде поспеть, а время бежит так скоро-скоро. Но вот и двадцать четвертое декабря на дворе, завтра рождество. Плохо спится ночь, малейший шум причиняет тревожный сон, потому что

боишься проспать заутреню. В углу пред иконой теплится лампадка, кругом тихо, в комнате царствует таинственный полумрак. Долго можешь заснуть, долго ворочаешься под одеялом, пока уст не нагонит крепкий, спокойный сон на замечтавшуюся голо ко спится, в голове бродят самые радужные мысли. Но во в большой колокол к заутрене, кругом тебя ходят л уже прошел в беличьей праздничной рясе с хвоста бобровой шапке, точно какой боярин, а ты спишь и шишь, спишь самым невинным образом.

— Митя, пора вставать,— будит тихонько мать.

— Открываешь глаза, в комнате светло, в окна смс зимняя ночь, с улицы врывается радостный звон пра кола. Сидишь на кровати и не мо перед тобой все, как во сне баюющийся праздничн в груди, по-праздни рее!! Нужно умы вода в умыв брр... холодн щает после башка надета, сшитые к праз подходишь к зеркал ей-богу, хорошо сиди выглядывает из-под ж

— Митя, скоро ли т

— Готов, мама, совсе дости.

Вот и брат тоже готов, иде се на лисьем меху. Приятно отд руками глажу мягкий мех.

— Ну, идем, — говорит нам мама

Церковь полна народу, и служба пробираемся на клирос. Там Костя уж Костя! Какой ты сегодня прилизанный, а?!. сюртук.—«Да».—«Славный сюртук — ничего мы с Костей поем от всего сердца. Ярко горят образами, волнами ходит кадильный дым по церкв ся праздничное пение, трепетом охватывает оно душ так разодеты, все высматривают так умильно. Но конча ня, церковь пустеет, мы с братом бежим домой. Там уже цела па школьников славит Христа перед иконой в кухне. Приходит отец из церкви, мы с братом поем «Христос рождается» пред иконой в угловой комнате, получаем подарки и деньги. Звонят к обедне. Светает. После обедни прямо домой. На столе в чайной стоит большой самовар, блестя вычищенными к празднику боками. На столе и чай, и сдобный хлеб, и сливки, не знаешь, за что взяться сначала. А вон Володька в новой рубашке выходит к нам. «Здравствуй, братец, что, видно, и ты захотел разговляться? Экой ты плут, братец, ты бы спал себе, а мы без тебя разговелись». Смеется Володька, его не проведешь, садится он вместе с большими за стол и начинает добираться помаленьку до самой сути праздника.

Первый и второй день проходят тихо и мирно. С третьего дня

ачинается настоящее веселье начинаются посиделки и вечеринки.
: Костей, как рыба в воде.
ого-нибудь из знакомых устраивается вечеринка. Мама тер-
жет этих вечеринок и старается удержать меня дома, но
ного рассудительного мальчика превращаюсь по этому
ого непокорного и строптивого сына и ни за что не
и во что бы то ни стало попаду на вечеринку. Семь
молодежь в сборе. Барышни в новеньких платьицах
ут между собой, по комнате гуляют парочки, поются
сни. Несколько сальных свеч освещают комнату и соб-
омпанию. Кавалеры изо всех сил стараются рассмешить
ают, при смехе закрываются беленькими платоч-
ывает орехи. Время идет дальше, воль-
развертываться молодое по-
бьется иное неопытное
жо поднимается бе-
ядом и что-то го-
аются влагой
о раскинув-
од пестрым
сменяются
держивает ды-
грок с завязан-
, не дышит. Но отво-
женных. Медведь вы-
ом, побрякивая цепью.
ан. Проснулись под жи-
, жалуются они, поют и
утся из-под смычка, рыдают
скрипач плотнее к скрипке се-
уки крепнут, разрастаются, пере-
масса поджигающих звуков вырва-
жилась, хлынула волной, опахнула
ой, — это наша русская «барыня» по-
е шире разливаются звуки, вольней они
е существо, и отозвалось на них русское
, запросилось куда-то... С гиком и свистом
исядку, с силой поднимается он и опускается,
дрявой головой и тихо-тихо семенит и перебирает
ногами.

Ои, не весь голову, не печаль хозяина, — вскрикивает он.

Но смолкла скрипка, улетели отчаянные звуки, утирается Медведь мохнатой лапой. Разливается, разгорается молодая кровь, кипит и бьет ключом к горячему сердцу, туманит глаза и разум и несет за собой много радости и горьких слез, горьких слез и радости. Мешается все пополам, рвут люди розы, колются о шипы, радуются и плачут и смеются. Так было две тысячи лет назад, так будет две тысячи лет вперед, потому что плоды древа познания добра и зла росли на одном дереве.

Веселое время — святки, и как скоро они проходили. Мы с Костей всегда удивлялись этой скорости, ведь две недели поста ползут-ползут, ровно им и конца нет и никогда не будет, а тут промелькнут, и не увидишь. Вот уж и крещенье подошло. Брат с Тимо-

феичем отправились в город двигать науку, а мы
к более мирным занятиям.

Стр. 99. «Английский милорд» — «Повесть о ...
лицкого милорда Георга, сочинение Матвея Комарова

«Кабардинцы» — Зряхов «Битва русских с каб...
Прекрасная магометанка, умирающая на гробе сво...

Стр. 111. Купила «Лесного бродягу»... Книга ...
бродяга», 1852.

Стр. 113. Бурса часто удирала от классов, чтобы
будут наказывать плетьми на базарной площади.

Детские впечатления от «казни» на площади Ма...
описал в очерке «Похороненная жестокость...
1891, № 163, 19 июня).

Стр. 119 Сподобы — ...
ряду».

Очерк
ном архиве
беловая. Время
хранящихся в
и искусства (ф. 31
броски»).

«Худородные» —
хотя фамилии подлинн...
В очерке изображается ...
шестидесятых годов.

Стр. 151. о. Николай — свя...
симе, на родине писателя. О ...
«Из далекого прошлого».

Маминым-Сибиряком он рису...
несший из стен бурсы не только
жестоких наказаний, но и своеобразн...
системой воспитания.

Стр. 155. Ряд неточных цитат из «Очер...
ловского. См. Н. Г. Помяловский. Сочи...
М. 1949. Стр. 229, 249, 232.

Стр. 161. «Работай, работай, работай»... стих. ...
«Песня о рубашке» в переводе М. Л. Михайлова (1829—...
Перевод был напечатан в «Современнике», 1860, № 9. Даже в 18...
ду это стихотворение было изъято из нового издания стихотворений М. Л. Михайлова, так как, по мнению цензора, «...в этом стихотворении преподается ядовитый укор богатым за безучастное отношение к беднякам». М. Л. Михайлов был одним из авторов прокламации «К молодому поколению», погиб на каторге в Кадае в 1865 году.

Стр. 161. «Одна дорога к кабаку»... Очевидно, стих. Н. А. Некрасова «Пьяница», впервые опубликованное в «Петербургском сборнике» в 1846 году и перепечатывавшееся во всех собраниях стихотворений поэта. У Некрасова последние строки стихотворения читаются так:

Покинув путь губительный
Нашел бы путь иной
И в труд иной — свежительный —
Поник бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку...
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.

…расов. Полное собрание сочинений. Т. 1, стр. 15—16.
…урных вечерах, проводимых в семинарии, Мамин-
…щает родным в письме от 28 декабря 1870 г.
…шо известна была эта торная дорога и семина-

… на каникулы из семинарии
…ный диалог:
…вовал отец.

…, которого ни-
…ывая об учите-
…ак о погибших от

СОДЕРЖАНИЕ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
ХУДОРОДНЫЕ

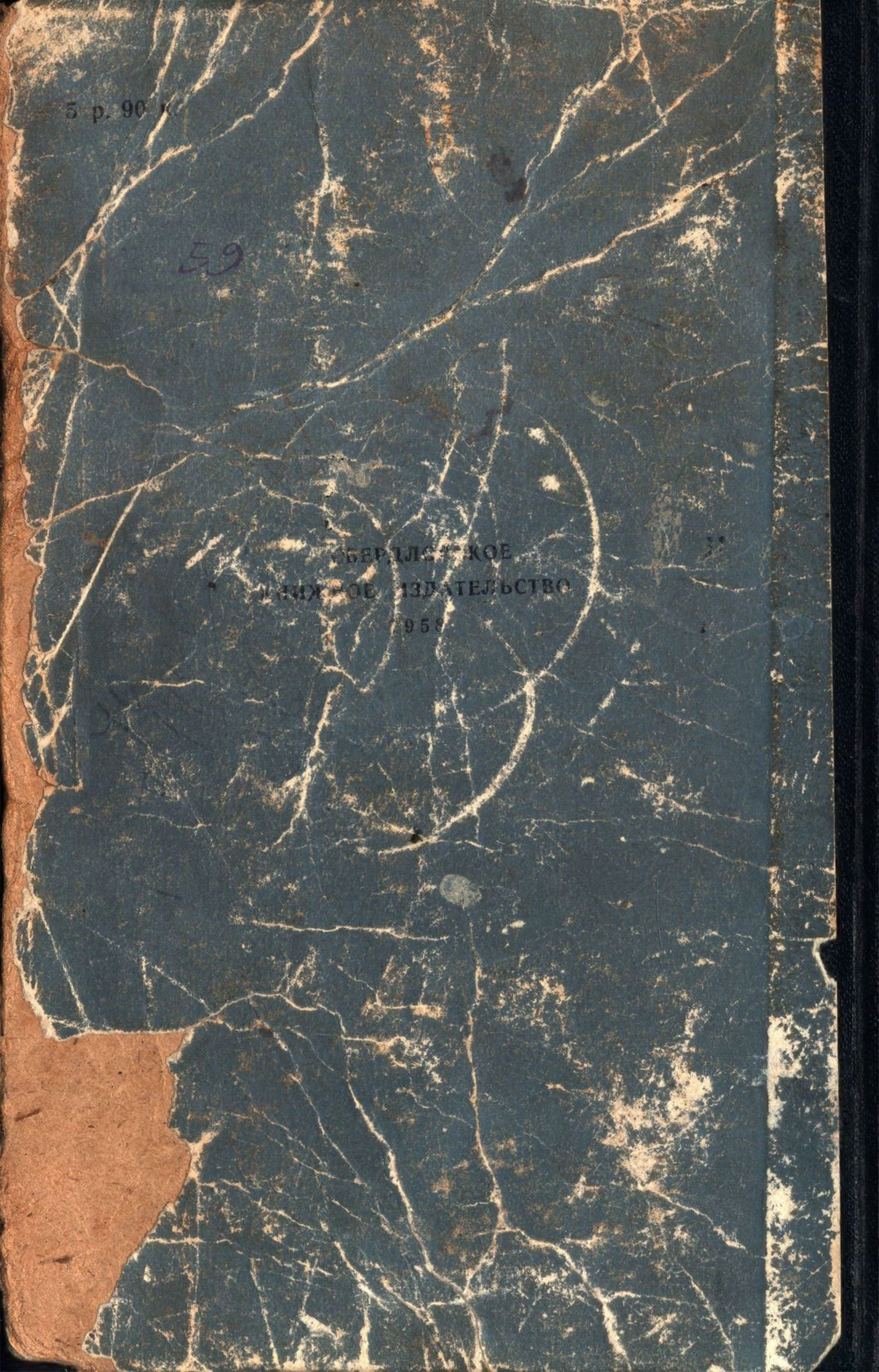
Редактор *Т. Раздьяконова*
Художник *М. Заводчиков*
Художественно-технический редактор *Ю. Сакнынь*
Корректоры *Н. Лузина* и *М. Казанцева*

*

Подписано к печати 7/XII 1958 г.
Уч.-изд. л. 14,6. Бумага $54 \times 84^{1}/_{16}$=8,125 бумажного—13,33 печатного листа.
НС 45615. Тираж 15000. Заказ 366. Цена 5 р. 90 к.

*

Типография издательства «Уральский рабочий»
Свердловск, ул. имени Ленина, 49.



5 р. 90 к.
59
СВЕРДЛОВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1958